Министерство образования и науки Российской Федерации

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В художественном мире харбинских писателей

АРСЕНИЙ НЕСМЕЛОВ

•

материалы
к творческой
биографии

•

в 3-х томах

Том 1 · Часть 1

Благовещенск
Издательство АмГУ
2015

Печатается по решению
ученого совета Амурского государственного университета

Рецензенты:
Федотов О.И., докт. филол. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник МИОО (г. Москва);
Ли Иннань, профессор Университета Иностранных языков (г. Пекин, КНР)

В художественном мире харбинских писателей. Арсений Несмелов: Материалы к творческой биографии: Научное издание: В 3-х томах. Т. 1. Проза: В 2-х частях. Ч. 1 / Сост. и комментарии А.А. Забияко, В.А. Резвого, Г.В. Эфендиевой; подгот. текстов Е.Е. Бибик, И.А. Дябкина, А.А. Забияко, К.А. Землянской, В.А. Резвого, Г.В. Эфендиевой. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – 350 с.

Первый том трехтомного издания, посвященного творчеству Арсения Несмелова (1889–1945), состоит из двух частей и включает научно обработанные архивные материалы из прозаического наследия писателя (1913–1945 гг.). Собранные по отечественным и зарубежным архивам, частным коллекциям, тексты прошли источниковедческую и текстологическую обработку; сопровождены научными (лингвистическими, источниковедческими, историческими) комментариями.

Их композиция в книге отражает и проясняет факты творческой биографии Несмелова-прозаика: довоенные публикации в столичных журналах, рассказы, напечатанные фронтовиком Митропольским в 1913–1917 гг., затем – прозаические произведения омского, владивостокского и, наконец – харбинского периодов. Структурное целое книги реконструирует этапы формирования художественного и этнокультурного сознания русского писателя-эмигранта Арсения Ивановича Несмелова, историю культуры дальневосточного зарубежья, жизнь русского Харбина.

Издание книги приурочено к Году литературы и станет настоящим литературным событием.

Книга адресована широкому кругу читателей: специалистам-филологам, историкам, студентам гуманитарных факультетов вузов, учителям, учащимся школ, лицеев и всем тем, кто интересуется отечественной историей, историей отечественной литературы XX в., культурой русского зарубежья, исследует проблемы художественного наследия писателей русского Китая.

Подготовка издания осуществлялась при финансовой поддержке гранта РНФ
«Этнические миграции как фактор цивилизационных взаимодействий и социокультурных трансформаций в Восточной Азии (история и современность)»

ББК 83.3 (2 Рос=2 Рус) 6
В 11

ISBN 978-5-93493-231-3
ISBN 978-5-93493-232-0 (Т. 1)
ISBN 978-5-93493-234-4 (Т. 1; Ч. 1)

© А.А. Забияко, В.А. Резвый, Г.В. Эфендиева, состав., коммент., 2015
© Амурский государственный университет, 2015

ПРОЗАИЧЕСКАЯ АРСЕНИАНА[1]: ЗАБЫТЫЙ АРХИВ РУССКОЙ ЖИЗНИ

«Это еще не конец "Арсениады"…»
(Из предисловия Эм. Штейна к сб. А. Несмелова «Без России». 1990 г.).

«…Отчего-то у меня ощущение, что "арсениана" со временем еще изрядно вырастет».
(Из письма Е.В. Витковского В.Ф. Перелешину от 7 апреля 1989 г.).

«Итак, Арсениана идет к концу. Я посылаю Вам последнее из моей коллекции, чего, может быть, нет у Вас. Впрочем, я не теряю надежды еще кое-что найти в СССР».
(Из письма Е.В. Витковского В.Ф. Перелешину).

Судьба архива Арсения Ивановича Несмелова (1889-1945) так же печальна, как судьба самого писателя. Многое из его текстов и личных документов было утрачено, уничтожено, изъято – к сожалению, с концами. По большому счету, литературного архива у поэта никогда и не было. Беспокойная военная, а затем бесприютная эмигрантская жизнь мало способствовали собиранию и хранению журналов и газет, где он печатался, автографов и черновиков, деловых бумаг, писем и других материалов творческой биографии.

Мы не знаем точно, как вернувшийся в Москву с фронта Первой мировой войны поручик Митропольский попал в Омск. Не имеем свидетельств того, как добирался во Владивосток. Из России в Китай в конце мая 1924 г. Несмелов отправился с одним свертком в руке: кое-какая провизия и полсотни тоненьких книжечек – «Уступов», вышедших накануне во Владивостоке[2]. Тяжелое, почти нищенское существование в Харбине, неудачи в семейной жизни, бытовая неустроенность – такова была его «четверть века беженской судьбы». А затем – арест смершевцами в августе 1945 г., принудительная депортация в СССР и скоропостижная смерть на тюремном полу. Где уж тут говорить о сохранении личного архива поэта…

---

[1] *Арсениана (арсениада)* – совокупность произведений А. Несмелова; термин был предложен поэтом В. Перелешиным.

[2] Об этом см.: *Несмелов А*. Наш тигр // *Несмелов А.И.* Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. Владивосток, 2006. С.680.

А надо подчеркнуть: поэтическое, прозаическое, журналистское наследие А. Несмелова достаточно велико – особенно по меркам дальневосточной эмигрантской литературы. Писатель регулярно и много печатался – как под своим главным и основным псевдонимом «А. Несмелов», так и под другими именами[1]. Он сотрудничал со многими газетами и журналами – в том числе, некоторыми советскими, западноевропейскими, американскими, публикуя свои стихи и поэмы, очерки и рассказы, статьи и рецензии, заметки и фельетоны. За годы творческой деятельности А. Несмелов издал шесть поэтических книг[2] (первые две во Владивостоке, остальные в Харбине): «Стихи» (1921), «Уступы» (1924), «Кровавый отблеск» (1928), «Без России» (1931), «Полустанок» (1938), «Белая флотилия» (1942); три поэмы: «Тихвин» (1922), «Через океан» (1934), «Протопопица» (1939).

Намного скромнее дело обстояло с прозой: вышло всего два издания – «Военные странички» (книга стихов и рассказов; М., 1915) и «Рассказы о войне» (Шанхай, 1936; сюда вошло только 7 новелл)[3]. В отличие от Несмелова-поэта, Несмелов-прозаик был мало известен харбинскому читателю, практически не знаком западному зарубежью. Не удивительно, что возвращение Несмелова-писателя в Россию состоялось, прежде всего, его стихами, а не прозой.

И это при том, что, в общей сложности, А. Несмелов написал и опубликовал в разных периодических изданиях не менее двухсот рассказов, пусть и неравнозначных по качеству. Но вопрос художественной ценности здесь уходит на второй план: для создания полной картины творческой эволюции любого автора необходимо

---

[1] В своем творчестве А. Несмелов (наст. фам. Митропольский) использовал около 30 различных подписей (псевдонимов, гетеронимов, криптонимов). Основными были следующие: «Арс. М-ский», «Арс», «А. Арсеньев», «Николай Дозоров», «Н. Рахманов», «Гри», «Анастигмат».

[2] Подробнее о поэзии А. Несмелова см.: *Забияко А.А.* «Сердце жаждет поединка»: Арсений Несмелов // *Забияко А.А., Эфендиева Г.В.* «Четверть века беженской судьбы…» Художественный мир лирики русского Харбина: Монография. Благовещенск: АмГУ, 2008. С. 217–254.

[3] Подробнее о военной прозе А.Несмелова см.: *Агеносов В.В., Дябкин И.А.* Генезис военной прозы А.И. Несмелова: от «военных страничек» к «окопной правде» // Русский Харбин, запечатленный в прозе. Вып. 6. К 70-летию профессора В.В. Агеносова: Сборник научных работ / Под ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой. Благовещенск: АмГУ, 2012. С. 148–166.

изучение всего корпуса написанного. Однако полный объем творческого (особенно – прозаического, публицистического, эпистолярного) наследия Арсения Несмелова еще не установлен окончательно. Ведь солидная часть этого наследия представлена исключительно газетными и журнальными публикациями (рукописей, корректур не сохранилось).

Первым после смерти А. Несмелова изданием его рассказов стала «Избранная проза» (Нью-Йорк, 1987), подготовленная американским славистом Э. Штейном. В книгу избранных произведений Несмелова составитель поместил всего **6 рассказов**: «Короткий удар», «Второй московский», «Тяжелый наряд», «Богоискатель», «Ленка рыжая» и «Le sourire».

Следом вышел московский сборник, составленный Е. Витковским и А. Ревоненко, – «Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. Рассказы» (1990). Основу поэтической части этой книги составило собрание В. Перелешина (проживавшего тогда в Бразилии), который на протяжении нескольких лет состоял в переписке с Е. Витковским и пересылал ему стихи своего харбинского собрата по перу. Кроме того, в книгу вошли материалы (автографы стихов, газетные вырезки) из личного архива Л. Хаиндровой и некоторых других харбинцев, вернувшихся в СССР.

В раздел прозы вошло **10 рассказов**: половина – те, что были опубликованы Э. Штейном, и пять новых – «Полковник Афонин», «Страшная ночь Андрея Петровича», «За рекой», «По следам любви», «Маршал Свистунов». На тот момент в распоряжении составителей были и другие рассказы Несмелова (всего около 20). По разным причинам (прежде всего, объем издания, его «московская» тематика и др.) эти рассказы не вошли в указанный сборник.

Наиболее полная коллекция изданной прозы Несмелова представлена на сегодняшний день в двухтомном «Собрании сочинений» (Владивосток, 2006), подготовленном Е. Витковским, В. Колесовым, Ли Мэн и В. Резвым. В нем опубликовано **54 прозаических текста** писателя, включая 10 рассказов из предыдущего труда Е. Витковского и А. Ревоненко. За 16 лет поисковой работы (1990–2006) коллективом исследователей было найдено и подготовлено к публикации более 40 новых текстов.

Итак, как бы ни было рассеяно архивное (в том числе прозаическое) наследие Арсения Ивановича Несмелова, источники, характеризующие жизнь и творчество писателя, продолжают выявляться.

Настоящее издание – яркий тому пример.

Перед читателем – новые, впервые публикуемые в России прозаические тексты Несмелова[1] – **98 произведений** – итог архивных разысканий нашего коллектива последних десяти лет.

***

Книга, которую вы держите в руках, – это 1-й том 3-х томного труда, посвященного творчеству русского писателя А.И. Несмелова (2-й том – «Поэзия. Публицистика. Критика. Письма. Воспоминания»; 3-й – «Исследования»). Том состоит из двух частей: в первую часть вошли повести и рассказы, написанные в 1913–1935 гг., во вторую – произведения 1936–1945 гг. Источниковой базой проекта являются, в первую очередь, московские, владивостокские и харбинские газеты и журналы, авторские сборники А. Несмелова и коллективные альманахи, единичные экземпляры которых рассеяны по самым разным архивохранилищам страны.

Собирание Арсенианы и ее научная подготовка сопряжено с целым рядом источниковедческих и текстологических проблем, касающихся, например, атрибуции текстов, авторской воли, датировки и хронологии творческого процесса. Так, о факте существования того или иного произведения[2], авторской воле публикации текста порой можно узнать лишь из короткой фразы в мемуарах, письмах, газетной рецензии или объявления[3]. Особую трудность для выявления и собирания творческого наследия Арсения Несмелова создают его псевдонимные тексты, учитывая, что нам известны

---

[1] Отдельные произведения публиковались составителями в след. изданиях: Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х т. Т. 1. Проза: В 3-х ч. Ч. 2 (Л–П) / Сост., общ. ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой. Благовещенск, 2013. 428 с.; *Несмелов А*. Зоркие мгновения: Из неопубликованного. Стихотворения и рассказы /Публ. В. Резвого // Сибирские огни. 2009. № 1.

[2] См.:, например, о поэме А. Несмелова «Опустошенная душа»: <*Б.п.*> Салон поэтов // Владиво-Ниппо. 1922. 12 октября. С. 3.

[3] См., например: *Несмелов А*. Письмо в редакцию // Владиво-Ниппо. 1921. 27 ноября. С. 3.

далеко не все имена и подписи, которые использовал писатель[1]. Кроме того, постоянно обнаруживаются примеры того, когда А. Несмелов передавал собственные произведения другим авторам (о причинах можно только догадываться)[2].

Все тексты печатаются по нормам современной орфографии, с исправлением явных опечаток, довольно частых в эмигрантских изданиях. Кроме того, известно, что многие тексты отдавались писателем в издание буквально «из-под пера» – суровые условия жизни, постоянное безденежье не оставляли времени для тщательной редактуры. Составители взяли на себя смелость исправить явные издательские огрехи.

Для удобства читателей примечания и комментарии (историко-биографические, историко-топографические, лингвистические и др.) к публикуемым произведениям помещены не отдельным блоком, а внизу каждой страницы. Издание адресовано широкой читательской аудитории и потому включает в себя комментариии разного уровня сложности – от имен мифологических персонажей, устаревших понятий военной лексики до имен писателей и политических деятелей первой половины XX в. Иногда сами эти имена чреваты отдельными сюжетами. В нашем случае действенным стал принцип набоковского комментирования «Евгения Онегина»: писатель обращался к тем реалиям русской жизни, именам исторических деятелей XIX в., событиям, которые, по его мнению, сами по себе являются отдельным текстом. В случае с Несмеловым дело обстоит именно так: даже читатель средних лет вряд ли знает многие термины времен Первой мировой войны, практически стертой из памяти русского человека. «Прошлого не существует» – это принцип советской историографии истребил многие факты

---

[1] Интересная история по «разоблачению» псевдонимов А. Несмелова была обнаружена нами на страницах газеты «Восток» за 1925 г., где он выступал как фельетонист «Гри». Одновременно с этим поэт писал фельетоны для газеты «Эхо», используя псевдоним «Коготь». См.: *Гри*. Грязному ногтю // Восток. 1925. 7 июня; *Коготь*. Но так, чтобы понял идиот // Эхо. 1925. 14 июня. С. 5; *Курбский А*. А при чем тут Коля Шило? // Восток. 1925. 16 июня.

[2] Так, в декабре 1932 г. в однодневной газете «Сибирский казак» был опубликован рассказ «Красивый жест» (вскоре перепечатанный в № 97 военного журнала «Часовой» за 1933 г.), подписанный эмигрантской поэтессой М. Волковой. Данный рассказ практически дословно совпадает с текстом А. Несмелова, помещенным в ноябре 1941 г. в журнале «Луч Азии» под названием «Как они хоронили свои погоны. Из жизни кадет Омского корпуса в 1918 году», за подписью «А. Арсеньев».

культурной и литературной жизни дореволюционных лет. Что уж говорить о реалиях беженской жизни в Китае – эта часть русской истории знакома только самим эмигрантам и узкому кругу исследователей.

Принципиальным в данном издании стал хронологический принцип размещения рассказов и повестей. Шаг за шагом, страница за страницей наш читатель (и будущий исследователь, надеемся) сможет проследить историю в ее взаимосвязанных измерениях.

Во-первых, личную историю Арсения Несмелова: от автора дореволюционного «Семафора» – к военному корреспонденту «Столичной молвы» и «Нашей родины»; затем новый период – «Дальневосточное обозрение», «Дальневосточная трибуна», «Русский голос» – Несмелов уже во Владивостоке. Вот из Харбина он посылает рассказ в «Советскую Сибирь» – границы еще открыты, есть возможность сообщения с друзьями по цеху, с читателем метрополии. И, наконец, харбинские «Рупор», «Рубеж», «Заря», шанхайские издания. Несмелов простился с Родиной – как думал он, безвозвратно.

Это история писателя А. Несмелова: от продолжателя чеховской линии – к военному философу в духе Ремарка, затем – к созданию собственной системы художественных координат под условным названием «динамический реализм», в которой есть место и Джеку Лондону, и Толстому, и Андрееву, и Достоевскому. Несмелов пишет много, берется за разные темы и жанры, адресуется к разной аудитории: от харбинской кумушки-домохозяйки до читателя, разбирающегося в античной истории. И все это пропитано эмигрантско-харбинской иронией.

Это – история русского офицера и дворянина Арсения Ивановича Митропольского: вначале московского кадета, студента, затем поручика, прошедшего пол-Европы и вдруг узнавшего, что его доблесть и победы его товарищей на фронтах ничего не значат, что они теперь – враги своего народа, изгои. И путь их теперь – к чужим берегам, через границу и дебри уссурийской и маньчжурской тайги - туда, где шумят гаоляновые поля.

Но это – и история целой части русского мира, что оказалась насильно оторвана от своего отечества и выброшена в чужие пределы. Читатель может проследить, как меняется сознание русского человека – от патриархально-провинциального благодушия к дра-

матическим ощущениям первых поражений на фронтах Первой мировой; «теплой волны патриотизма», дарованной победами русского оружия в 1915–1916 гг., надежды на окончательную победу и растерянности предреволюционных настроений. Весьма характерны здесь этнокультурные заметки дворянина-великоросса Митрополького о народах и этносах, встреченных на дорогах войны: австрийцах, немцах, поляках, евреях, украинцах, чехах…

А далее – постепенное одичание послереволюционных лет, Гражданской войны. Одичания повсеместного – и в красном, и в белом лагере. Одичания – вплоть до братоубийства и людоедства. Само солнце отворачивается от этого нового лика русского человека («Ледяная гибель»). На том фоне Первая мировая война и ее события предстают как этический анахронизм, когда русский офицер мог оставить своего раненного бойца в суматохе на поле боя, сказав ему: «Не бойся, немцы подберут…» («Под прикрытием»). А австрийские солдаты вполне понятны со своими воздушными шарами и шуточными посылками русским бойцам в виде лаптей, – равно как и закономерно их уважение к русской Пасхе – ведь русские-то их Пасху уважили («Лет 20 тому назад. Одна из Пасх, которую вспомнил Арсений Несмелов).

После кровавых лет гражданской, драматических событий преодоления границы – тоска и усталость эмигрантской жизни (почти каждый рассказ эмигранта у Несмелова заканчивается этим безразличием, равнодушными скороговорками о том, что было *после*…). Трезвый анализ того, что стало причиной русской трагедии и русского исхода: либеральные предреволюционные брожения, слабость императорской власти, небрежение патриархальными основами русской жизни. Поиск эмигрантами новых духовных и этических основ: отсюда и мальчик, погибающий от руки хунхуза – в поиске героической идеи; «спасительные» для русских, отбивающихся от хунхузов, японские танки; воспевание героизма японского юноши-камикадзе; уход в античную историю времен первых христианских подвижников. «Заглядывание» через кордоны и границы в тот, недавно еще свой мир: как они там, чем живут, о чем думают, что читают.

Логика художественного целого настоящего издания открывает глубину и насыщенность исторического, социокультурного, этнопсихологического и собственно литературного содержания несмеловской прозы.

Все это – в двух книгах, существенно дополняющих корпус отечественной Арсенианы.

***

Осуществление данного издания было бы невозможно без помощи многих организаций и учреждений. Выражаем особую благодарность Государственному архиву РФ (и лично сотруднику научной библиотеки ГАРФ Алексею Анатольевичу Федюхину), Российской государственной библиотеке (и лично заведующей отделом литературы Русского зарубежья Наталье Васильевне Рыжак), Дому русского зарубежья им. А.И. Солженицына (и лично заместителю директора по библиотечной работе Татьяне Александровне Корольковой), Институту мировой литературы им. А.М. Горького (и лично старшему научному сотруднику отдела рукописей Ольге Феликсовне Кузнецовой), Российскому государственному историческому архиву Дальнего Востока (и лично главному специалисту читального зала Елене Михайловне Гончаровой), Хабаровскому краевому краеведческому музею им. Н.И. Гродекова (и лично старшему научному сотруднику сектора истории культуры и искусства Наталье Петровне Гребенюковой), Государственному архиву Хабаровского края и его сотрудникам, а также всем, кто в той или иной мере помогал нам.

Считаем своим приятным долгом поблагодарить всех своих коллег, студентов, магистрантов (участников научных семинаров и архивных/источниковедческих практик), кто с искренним интересом помогал нам в подготовке текстов к публикации.

Выражаем сердечную признательность уважаемым рецензентам: Олегу Ивановичу Федотову, доктору филол. наук, профессору, ведущему научному сотруднику Московского института открытого образования (г. Москва, Россия) и Ли Иннань, профессору Университета Иностранных языков, россиеведу и глубокому знатоку русской культуры (г. Пекин, КНР).

Отдельная благодарность Российскому научному фонду за оказанную финансовую поддержку в подготовке и издании этой книги.

А. Забияко, Г. Эфендиева

«Я люблю только точно писать жизнь…»

Повести и рассказы
(1913–1945)

МАЛЕНЬКАЯ СТАНЦИЯ

Умер председатель правления …ской железной дороги, известный миллионер, проживший интересную, полную приключений и неожиданностей жизнь. Из бедняка он неожиданно сделался русским железнодорожным королем, затем снова спустился до полной, самой гнусной нищеты, а умер, оставив своим любовницам сотни тысяч рублей и сказочные по своей роскоши дворцы.

Он умер холостяком. Всю жизнь он славился самым разнузданным, анекдотическим развратом, но после смерти оригинального богача в его бумагах были найдены странные записки, заставившие немало посмеяться его приятелей, а особенно приятельниц.

Вот что писал в них этот странный человек…

II

Ах, эта маленькая станция, словно отторгнутая от всего мира!.. Прошло так много лет, а я еще не могу забыть ее синих северных сумерек.

Я был тогда робким мечтательным телеграфистом — должность без всяких перспектив, печальная профессия… Зимой маленький железнодорожный городок был совершенно погребен в снегу. Скучно было его обитателям и как-то по-особенному одиноко.

Скучал и я, но судьба послала мне нечаянную радость — девушку с большими серыми глазами и тяжелой русой косой. Звали ее — Лидуся; она была дочь какого-то станционного служащего… Кого именно, уже не помню.

Все это старо, конечно, и смешно, как смешна сентиментальная любовь маркизов XVIII века, но… ведь мне было тогда только двадцать лет!

А на маленькой станции ночи были такие длинные, такие темные и одинокие…

Я с первого взгляда, с первого слова почувствовал странную, почти рабскую подчиненность этой девушке. Когда на лыжах я шел за ней по серебряной просеке певучего северного леса, мне казалось, что сердце мое не выдержит переполнившего его счастья и раздробится на тысячи кусков. И казалось, что эти осколки будут блестеть так же, как блестят ледяные сталактиты, свешивающиеся с оснеженных ветвей столетних лиственниц.

Больше, чем жизнь, больше, чем Бога, любил я эту девушку.

И однажды она пришла ко мне.

В своем коричневом платьице гимназистки, с русой косой, перекинутой через плечо, — как очаровательна была она!.. Бесконечно желанная и светлая, где ты теперь? Что было?.. Разве я помню… Недавно, сидя на концерте модного композитора-декадента, я слушал «Поэму экстаза»[1]. Разве бы он так написал свою музыку, если б пережил мое нечеловеческое счастье!

Да, это было — счастье, конечно, счастье, как ни смешно мне, развратнику, изведавшему самую грешную женскую любовь, вспоминать это слово.

Помню я, как темнели огромные серые глаза милой девушки и как безвольно раскрывались под моими поцелуями ее губы. О, если бы все пережить вновь.

Синие северные сумерки!.. Маленькая девочка с наивными ласковыми глазками стоит посредине белой снежной поляны и надевает на меня упавшую форменную фуражку с желтыми кантами. Ведь в то время я еще был телеграфистом…

— Любишь? — шепчут милые губы, и на сверкающие алмазы дробится мое изнемогшее от счастья сердце… Но наступили дни головокружительных перемен. Мой двоюродный брат был назначен министром. Всегда высокомерный, родственник вдруг вспомнил обо мне, и через неделю я был уже в Петербурге.

Новая жизнь, новые люди… Деньги, деньги, деньги… Лидуся, солнце мое незакатное, почему я не ответил на твои письма…

III

— Вот и все! — сказал читавший рукопись один из членов правления …ской железной дороги, лысый толстяк, страдавший одышкой. — Не правда ли, странно, господа… Владимир Николаевич — и вдруг такая лирика. Прямо изумительно…

— Н-да, — согласились другие железнодорожные заправилы и переглянулись. — Старым он уж умер, а под старость-то все прошлое вспоминается… Но занятная рукопись, со слезой, так сказать…

Наступило неловкое молчание.

---

[1] *«Поэма экстаза»* — симфоническая поэма А.Н. Скрябина (1907).

Если бы после смерти председателя в его бумагах нашли неприличные фотографии, это было бы просто и понятно. Старички посмеялись бы и разошлись, каждый к своим делам. Но не было неприличных фотографий, а была странная тетрадка…

Подп.: Армит.
Опубл. и печ. по: Семафор[1]. 1913. № 8 (18 февр.). С. 2.

ТАИНСТВЕННАЯ НЕЗНАКОМКА

Новогодняя быль

Кондукторская бригада пассажирского поезда № 38 Новый год встречала на перегоне Ильково — Шожма. По этой причине выпили еще в Илькове, да и в вагон с собою захватили порядочное количество «горячительного».

Поезд шел почти пустой; «начальства», конечно, никакого не было, и ничто, казалось, не должно было бы помешать самой приятной встрече праздника. И вот, под председательством «главного», кондукторская бригада удобно расположилась в служебном отделении и ждала двенадцати часов. Главный со старинными серебряными часами в руках наблюдал за ходом минутной стрелки и, когда она остановилась на нужной цифре, — дал сигнал.

Все встали, пожелав друг другу всяческих благополучий, чокнулись и сделали «опрокидон». Затем выпили по второй, повторили, повеселели и стали опрокидывать уж без очереди. Наступивший год рисовался всем в самых радужных красках, богатый и прибавками, и наградами, и благодарностями начальства. Словом, все ликовали.

Лишь «главный», старый опытный служака Иван Захарович Еремин, не чувствовал себя спокойным. Ему казалось, что теперь не мешало бы обойти поезд… Пассажиров почти нет, правда, но те, которые есть, почти все пьяны, и в мозгу старого железнодорожника сверлила знакомая мысль:

---

[1] Редактором-издателем железнодорожной газеты «Семафор» был старший брат Арсения, Иван Иванович Митропольский (1872—после 1917). Первая публикация А. Митропольского в этой газете — заметка «Общество с тухлятинкой» (1912. 22 марта. С. 3; подп.: Армит) — является самой ранней его публикацией из обнаруженных на сегодняшний день.

— Ах, кабы чего не случилось!

Улучив момент между двумя «опрокидонами», Еремин вышел из служебного отделения. Первый вагон был пуст, во втором пьяный ремонтный рабочий горланил что-то, а его товарищ спал ничком на скамейке. Дойдя до дамского отделения, «главный» подумал, что и здесь никого нет, как вдруг увидал притаившуюся, как-то странно сжавшуюся в полутемном уголке маленькую женскую фигурку, закутанную до самого носа в теплую серую шаль.

Еремин хотел уж пройти дальше, но разогретое возлияниями холостяцкое сердце не выдержало, да и жалко как-то стало эту одиноко скучающую в вагоне барышню. И Еремин поздравил ее с Новым годом.

На него глянули из-под шали робкие женские глаза, и женщина тихим голосом поблагодарила Еремина. Эта робость совсем растрогала кондуктора, и он сел на скамейку рядом с незнакомкой.

— Скучаете, барышня? — любезно осведомился он.

— Нет, — прошептала девица. — Я ведь в Шожму еду, к папаше… Сейчас слезаю.

Разговорились. Незнакомка объявила, что она служит в городе у господ и что они отпустили ее на праздник к отцу встречать Новый год, да вот она замешкалась и запоздала.

А Еремин уж совсем растаял. Он попытался было пододвинуться поближе к девице, но та отодвинулась, а когда старый ловелас сделал еще одну попытку сесть рядом, то она поспешно и сердито пересела на соседнюю лавочку.

При этом ее шаль немного распахнулась, и не будь Еремин так пьян, он бы увидел на верхней губе незнакомки маленькие черные усики. Но Еремин ничего не видел: он «таял».

— Так-с!.. значит, к папаше! — грустно промычал он, поняв, что и новая его попытка — безрезультатна.

— К папаше, да, — усмехнулась незнакомка.

Еремин вздохнул.

— Отодвигаетесь все, — угрюмо сказал он. — А я, так сказать, к вам со всей душой. Вот, — он вынул из кармана полбутылку красного вина, — даже винцом сладеньким угостить могу…

При этих словах глаза незнакомки радостно блеснули. И опять распахнувшийся платок открыл подозрительные усики…

— Выпьете? — предложил Еремин. — Только уж извините, стакана нет… Из горлышка придется.

Незнакомка не отказалась, и даже напротив, ибо когда Еремин второй раз потянулся к бутылке — она была уже пуста. Да ему и не надо, собственно, было: винные пары и так совершенно отуманили его голову.

А поезд уж громыхал на стрелках.

Незнакомка спешила. На площадке кондуктор улучил удобный момент и попытался ее обнять. К его радости, незнакомка не сопротивлялась. Даже напротив… Он почувствовал ее губы на своей щеке.

И «растаял» окончательно.

— Едем с нами дальше, — лепетал заплетающимся языком. — Чего там, право… Успеешь еще к папаше.

— Ну уж нет! — захохотала незнакомка. — Лучше не надо. Благодари Бога, что дешево отделался…

Шаль совсем распахнулась, и к ужасу своему Еремин увидал, что на него глядит смеющееся мужское лицо. Сначала кондуктор подумал, что перед ним диавол, и даже хотел перекрестить его, но неизвестный так толкнул его в грудь, что у бедняги дух заняло. А когда Еремин пришел в себя, «сатаны» уже не было. И след простыл.

Едва же поезд остановился, как на площадку вагона, где был ничего не понимающий «главный», вскочил станционный жандарм. И все объяснилось: в поезде ехал переодетый женщиной известный вор Сашка Жихарев, прозванный «барышней». Он только что бежал из тюрьмы.

Осмотрели поезд. Ругался жандарм:

— Ни днем ни ночью покоя нет. В самый праздник ищи тут каких-то барышней, когда их и нет вовсе. Пустяки одни…

Еремин же угрюмо молчал. Но когда он хотел взглянуть на свои серебряные часы — их в кармане не оказалось. Так же как и кошелька… Только теперь понял бедняга, что значили воровские слова:

— Радуйся, что дешево отделался!

И решил Еремин никогда больше не ухаживать за пассажирками. Свое слово он сдержал.

Подп.: Арсений М-ий.
Опубл. и печ. по: Семафор. 1914. № 1 (6 янв.). С. 3.

КОНДУКТОР ФЕДЧУК

Тип

Был он маленький, невзрачный и неуклюжий… И почему-то обстоятельства складывались всегда так, что во всем, что бы ни случилось с бригадой, — виноватым оказывался он.

Такова уж была, видно, его судьба.

Попав в переделку, он не оправдывался, не выворачивался, а молчаливо и покорно подставлял свою шею под карающую начальническую десницу. И, выпучив испуганные глаза, по-военному «ел глазами» начальство…

А виноватым Федчук оказывался во всем, что бы в поезде ни случилось…

Расшумелся, например, пьяный купчик в поезде… Высаживают его кондукторы на станции, а купец-то, оказывается, хорошо знаком с начальником станции и с жандармом.

На приятеля, с которым знакомство водишь, протокол составить неудобно, нехорошо. «Начальство» подумало, подумало да и решило составить протокол… на кондукторов:

— Невежливо с купчиком обошлись, мол.

Началось следствие. Кондукторов отстранили от службы, а вместе со всеми и Федчука, бывшего в багажном вагоне и происшествия даже не видавшего…

Вызывает «провинившихся» к себе начальник… Нескладный и жалкий Федчук — человек несуразный. Нет того, чтобы спрятаться за другими, — торчит себе впереди…

На него-то и обрушивается «начальник»…

— Ах ты, мымра такая-сякая, мурло египетское! В чем душа держится, а туда же — к купцам пристаешь… Да я тебя в двадцать четыре часа со службы долой!

Стоит Федчук, молчит. Глаза вытаращены, рот раскрыт, как у рыбы, весь красный… Понимает, что напраслину терпит, а объяснить боится:

— Сгноит… С лица земли сотрет.

Одно слово — не кондуктор, а мымра.

Только что окончилось дело с купцом, и Федчук, потеряв немало поверстных, снова поехал с бригадой — глядь, опять попал в переделку.

Приехали на станцию, где поезд стоит всего три минуты, стали грузить багаж. Дежурный торопит сторожей, кричит:

— Вали вовсю!

Ну, те и валят почем зря.

А на следующей станции оказалось, что затерялся чемодан одного пассажира — офицера.

Уж и досталось же от него Федчуку. При публике так изругал беднягу, что потом в глаза товарищам стыдно было смотреть. Хорошо хоть бить постеснялся…

Заарестовали Федчука за кражу чемодана и посадили. Плачет кондуктор, и семья его плачет, но, к счастью, чемодан, в спешке засунутый куда-то, скоро нашелся, и «вора» освободили…

— Хорошо хоть поверстных[1] немного потерял, — обрадовался Федчук и снова поехал. Но на следующие сутки лопнул в одном из задних вагонов бандаж. Всю бригаду волокут на следствие, кто недосмотрел. А при чем тут багажный кондуктор, ехавший впереди поезда, — начальство не спрашивает.

И опять бедняга отдувается поверстными. И плачет вместе с голодающей семьей…

Лишь только «дело о лопнувшем бандаже» окончилось, как случилось крушение. Багажный вагон, в котором ехал Федчук, совсем сплющило. Железнодорожная администрация спасает пассажиров, а о кондукторе и забыла совсем. Вдруг слышат, кто-то стонет под багажным вагоном…

— Ах! да ведь там Федчук.

Бросились к нему, попробовали вытащить… Не тут-то было. Сжали кондуктора обломки.

Разломали стенку вагона, вынули беднягу. Видят — чуть жив.

— Ну, ничего, отлежится! — говорит начальство. — Такой выживет.

Но не выжил Федчук, умер.

И перед смертью говорил рыдавшей жене:

---

[1] *Поверстные* – поверстная плата, плата за количество верст для служащих железной дороги до революции.

— Оно, конечно, поверстных у меня теперь не будет… Зато говорят, от начальства способие тебе дадут.

И, полный веры в это «способие», багажный кондуктор Федчук спокойно умер…

Подп.: Арс. М-ий.
Опубл. и печ. по: Семафор. 1914. № 6 (10 февр.). С. 2.

ПОЧЕМУ ЭТОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

— Так вот, — сказал мне дядя, — Мухтарский пишет, что в пятницу он вместе с начальником дороги будет на станции. Там они обедают, и у него, следовательно, найдется время с тобой познакомиться… И, конечно, если ты сумеешь показаться ему дельным человеком, а не шалопаем, кем, — многозначительно вставил дядя, — ты есть на самом деле, — он поможет тебе устроиться на железной дороге… Понимаешь?

— Понимаю, — кротко ответил я и поклонился. — Вы так много сделали для меня, дядюшка, что мне, право, совестно…

— Хорошо, хорошо! — строго оборвал дядя начало моего лирического излияния. — Хорошо-с! Делал я для тебя, конечно, больше, чем ты этого заслуживал, и ухмыляться тут нечего, но помни — это в последний раз. Лучше быть помощником начальника станции, чем…

Я уже предугадывал, что он скажет: оболтусом, но дядя этого слова не сказал. Он уставился на лацкан моего пиджака и строго спросил:

— Это что?

— Цветик, — пожал я плечами. — Гвоздичка, как видите…

— И вы, кажется, надушились? — переходя на «вы», что означало высшую степень презрения ко мне, заметил дядя. Я молчал. Что же мне можно было сказать? Ведь он отлично знал запах «цикламен»… Не напрасно же дядя вот уж полгода ухаживал за Верой Кублицкой — своей соседкой по имению, и ухаживал безрезультатно…

II

В пятницу на дядиных лошадях я прикатил в уездный городок, где на станции должна была решиться моя судьба. На одной из улиц я встретил своего приятеля — телеграфиста Рыкова, забубенную голову и весельчака, который приветствовал меня вопросом:

— Куда таким франтом? Или с дядюшкой поругались и опять в Питер?

— Хуже! — грустно махнул я рукой. — Не в Питер, а на станцию… Должен знакомиться с каким-то Мухтарским.

Услышав эту фамилию, Рыков от изумления чуть не сел на землю и захохотал на весь городок.

— Каким-то! — вопил он, хватаясь за бока. — И этот какой-то — Мухтарский, — помирал он со смеху. — Да знаете ли вы, наивная голова, что Мухтарский — не кто иной, как начальник движения нашей дороги… Начальник движения!

Он воображал, что этот титул произведет на меня потрясающее впечатление, но я, к стыду своему, остался совершенно равнодушен, ибо до сих пор не знаю, да и знать, по правде сказать, не хочу — кто на железной дороге считается выше: начальник движения, начальник станции или надсмотрщик телеграфа.

Все это окончательно растрогало чувствительного Рыкова, и он, так как до служебного поезда времени оставалось еще много, пригласил меня к себе, где угостил завтраком и пивом, по его словам, «холодным, как сама смерть».

III

К нужному часу я, веселый и беззаботный, явился на вокзал. Здесь же собралась целая толпа перепуганных, нервничающих железнодорожников и, вместе с ними человек пятнадцать «именитых» горожан — почетных гостей.

После того как пришел поезд начальника дороги, вся эта толпа устремилась к обеденному столу, — ко мне подскочил какой-то рыженький господин с кокардой и, вероятно, приняв за представителя города, потащил туда же… В конце концов, я ничего не имел против этого обеда, прекрасную сервировку которого я уже достаточно рассмотрел, и потому не особенно упирался.

Но, должно быть, прав все-таки был дядя, когда говорил, что я лишен чувства меры. В данном случае этот недостаток сказался в том, что я не оставил без внимания ни одной бутылки на столе и, в конце концов, впал в довольно-таки бурно-веселое настроение.

Напротив меня сидел худой, как щепка, непомерно важного вида инженер, с которым все присутствующие обращались почти с таким же уважением, как и с начальником дороги. Мне же он не понравился своим надутым обликом, и я, сам не зная для чего, пристал к нему с самой неотвязчивой предупредительностью. Я все время навязывал ему вина и закуски, угощал его с бесконечной предупредительностью и вообще вел себя по отношению к нему так, словно он был гостем, а я хозяином.

Важный инженер был окончательно шокирован. Он долго крепился, стараясь «отбросить» меня холодным взглядом своих стеклянных глаз, но, видя, что я становлюсь все невозможнее, не выдержал и, обращаясь к соседу, спросил довольно громко:

— Скажите, пожалуйста, что это за идиот сидит напротив меня?

Мне этого и нужно было.

— Вы обо мне спрашиваете? — с бесконечной любезностью обратился я к своему визави. — Позвольте, я представлюсь… Моя фамилия…

И я назвался именем одного молодого местного помещика, у которого, как я знал, брат занимает высокий пост в министерстве путей сообщения.

Произошло нечто странное.

И без того длинная физиономия инженера — стала вытягиваться все более и более, и весь он обратился в какое-то сплошное олицетворение изумления. В его глазах боролось недоумение, недоверие и — ей-Богу — самый настоящий страх. Затем вытянутое туловище инженера согнулось, сгорбилось и начало льстиво извиваться по-змеиному.

Я никогда не думал, что это сухое петербургское лицо может быть таким сплошным воплощением любезности, и вначале даже растерялся от неожиданности… Но вскоре освоился и с невозмутимым хладнокровием предоставил инженеру ухаживать за мной и наполнять мою рюмку…

В конце концов он мне ужасно надоел.

IV

Обед кончился.

В ожидании того, пока подадут паровоз к служебному поезду, инженер взял меня под руку и предложил прогуляться по перрону.

Мне было все равно. От избытка выпитого вина я впал в меланхолию и окончательно забыл о цели моего приезда на станцию. Правда, на один миг в моем сознании зашевелилось минутное воспоминание о чем-то, но сейчас же и погасло.

Мне все стало безразлично.

Прогуливаясь по перрону, мой инженер вдруг спохватился.

— Ах, черт возьми! — сказал он. — Совсем забыл, что надо повидаться кое с кем…

— С кем именно? — безразлично спросил я.

— Да видите ли, — предупредительно объяснил мой спутник, — просит один здешний помещик за своего племянника… На железную дорогу хочет пристроить шалопая… Так вот этот самый шалопай должен меня здесь встретить, да, наверно, испугался и сидит где-нибудь в углу…

Что-то больно заныло внутри меня…

Я высвободил свою руку из-под локтя инженера и тихо спросил:

— А как фамилия его?..

Инженер потер себе лоб и неуверенно ответил:

— Не помню, дорогой, точно… Не то Ивков, не то Ивковский…

Я шагнул вперед, остановился перед инженером и покорно сказал:

— Если Ивков — так это я.

Помню, что лицо его вытянулось еще более, чем за обедом. Затем он круто повернулся и, ни слова не сказав, быстро-быстро пошел к станции.

— Так, значит, вы и есть Мухтарский, — грустно сказал я ему вослед, а затем вздохнул и пошел тоже.

V

Когда Рыков кончил хохотать, уж не просил больше повторять рассказ об обиде — его лицо вдруг сделалось серьезным, и он веско сказал:

— А знаете — все это к лучшему. Не ко двору вы у нас и ни до чего бы не дослужились… До хорошего, во всяком случае, — многозначительно прибавил он.

Затем мы выпили еще холодного «как смерть» пива, и я уехал к дяде.

— Ну, что? — спросил он меня, едва я вылез из коляски.

—Все хорошо, дядюшка, — почтительно ответил я. — Мухтарский вам кланяется… Я ему понравился, и он обещал меня устроить.

— Поздравляю! — довольно прибавил дядя. — Пора уж перестать быть повесой и только и делать, что волочиться за соседками.

Я тоже думал, что пора перестать волочиться; в тот же вечер я сделал предложение Кублицкой, и оно было принято…

Так и не пришлось мне сделаться железнодорожником, но об этом я, по правде сказать, жалею не очень…

Подп.: Арсений М-ий.
Опубл. и печ. по: Семафор. 1914. № 15 (21 апр.). С. 3.

НАД ВИСЛОЙ

I

Я сижу на кровле моей землянки и наблюдаю за жизнью врага.

Вот из домика с красной черепичной крышей вышел австриец в расстегнутом мундире и смотрит в мою сторону, почесывая спину. По улице спускающейся к реке деревни бежит другой солдат и тащит гуся… За ним гонится баба…

Вот догнала, вцепилась… Мне даже слышно, как она кричит…

…Они следят за дорогой, по которой ходят в город за хлебом и табаком наши «земляки»…

Вчера по этой дороге шел офицер. По нему сделали около тридцати выстрелов, и последний был удачный… Пуля попала в засунутую в карман руку, пробила кисть и засела в ноге.

Но солдаты ходят по дороге, не обращая внимания на подкарауливающих их стрелков. Идут нагруженные «буханками» хлеба и свертками со всякой всячиной… Привыкли.

На гребне холмистого австрийского берега проскакали два всадника в касках, за ними медленно протащился взвод пехоты, и снова — пусто.

Попрятались?..

Но странно: четыре часа дня, а к нам не послано ни одной шрапнели. Солдаты разошлись в ближайшие халупы кипятить чай и варить картошку.

Остальные вылезли из окопов и, покуривая, расположились около них. Многие сняли рубашки и копаются в белье. Спины и груди расчесаны…

— Которая? — спрашивает хмурый бородач-запасной у деловито работающего большим пальцем «земляка».

— Двадцать третья… махонькая, — отвечает тот, лишая «махонькую» жизни. — Махонькие злей.

Бородач зевает и философски говорит:

— Бей не бей — все равно *ее* не искоренишь… Одно беспокойство… Грязь ее родит.

— Двадцать четвертая! — считает увлеченный «охотой» солдат.

Пушечные выстрелы слышны вправо. Они далеко, но вчера австрийцы стреляли в нас на семь верст из тяжелых орудий, и я после каждого выстрела жду знакомого жужжания летящего снаряда…

Но их нет.

Темнеет… Значит, сегодня бомбардировки не будет.

— Что это сегодня гостинцев австрияки не шлют? Праздник у них, что ли? — удивляются солдаты. — У немцев, говорят, Рождество-то осенью приходится… Так и празднуют.

— Тьфу, сволота! — с отвращением сплевывает бородач и с тоской думает вслух. — И чего они сюда полезли… Сидели бы у себя…

Пять часов… Начинает темнеть.

— Ваше благородие! — окликает меня вестовой. — Приказание от командира батальона.

Читаю… Надо выслать разведчиков: сегодня поручик Х переправляется на ту сторону Вислы.

II

За моим участком, на склоне холма, увенчанного развалинами крепости-замка какого-то польского короля, белеет хорошенькая вилла местного сахарозаводчика. В свободное время я прихожу сюда, пью здесь чай, пишу письма, а ночью укладываюсь спать на диване в охотничьей комнате, увешанной ружьями, патронташами и чучелами.

В домике только я, мой денщик и Бронка, хорошенькое, вертлявое созданье — экономка владельца виллы.

В комнате уютно и тепло, несмотря на то, что стекла в окнах разбиты.

В этом виноват мой предшественник, занимавший те окопы, в которых теперь лежит моя рота, и так же квартировавший в белом домике. Он, засветив огонь, не завесил окна, и вилла подверглась артиллерийскому обстрелу.

— Ну, а ты где была в это время, Бронка? — спрашиваю я у хорошенькой польки.

— А я, прошу пана, утекла до певницы (спряталась в погреб), — отвечает она.

— Испугалась?

— Не барзо[1].

— Ну, ну!..

Бронка готова болтать целую ночь.

Она, действительно, смелая.

Почему бы и не уйти отсюда, ибо не завтра-сегодня в дом, стены которого и так испещрены пулями, ухнет восьмидюймовый «гостинец», и от веселой польки ничего не останется. Но ей здесь весело. Я знаю, в нее влюблена вся моя рота, и солдаты целый день толкаются в кухне.

Около двенадцати часов обхожу часовых.

— Кто идет?

Вспоминаю, что сегодня наши переправляются на ту сторону, и отбрасываю мысль о стрельбе. Не стоит тревожить. Черт с ним. Пусть шляются, недолго им осталось там гулять.

---

[1] Не очень (*польск.*).

— Правда, ваше благородие, пора бы на ту сторону, — говорит солдат и вкрадчиво спрашивает: — А верно ли, слышали мы, что немцев разбили?

— Верно.

— Слава тебе, Господи, — крестится солдат, сняв фуражку.

III

Этой ночью надо ждать всего, и я засыпаю, не снимая снаряжения. На рассвете меня будит солдат.

Над Вислой редкий золотистый туман, и вода под ним голубая и спокойная. Около того берега вертятся, попав на мель, две, битком набитые нашими солдатами, понтонные лодки. А правее их, из крайнего австрийского окопа, вылетают облачки бледного дыма и несется частая трескотня ружейных выстрелов.

Через минуту весь наш берег оглашается ружейной трескотней, и австрийцы замолкают. Вскоре разведчики благополучно переправляются и сообщают, что противник ушел, оставив лишь маленькую охранную часть, которая теперь бежала.

Городок, возле которого мы стояли, ожил и зашумел. Площадь наполнилась народом, преимущественно евреями, которые за время близкого соседства австрийцев куда-то попрятались.

Веселился городишко. И никто не знал, что утром здесь разыграется дикая вакханалия выстрелов и крови, которая унесет не одну тысячу жертв.

А события нарастали…

Явились саперы. Пришел вестовой и передал приказание, чтобы роты готовились к переправе. Солдатам роздали консервы и сухари: значит, надо было ожидать долгого сидения на позициях без подвоза свежего провианта.

Между тем австрийцы не ушли. Они лишь отошли от берега и ждали наших первых частей, чтобы обрушиться на них с тяжестью всех своих сконцентрированных сил.

И той дивизии, которая первой переправилась на враждебную сторону реки, пришлось жутко и тяжело. Ночь и день отбивали они атаки противника, ночь и день над хлибым, наскоро наведенным понтонным мостом рвались неприятельские снаряды, но уж подходили к городку наши корпуса, и полк за полком вливался в боевую линию.

На второй день австрийцы бежали, бросив несколько батарей. Как всегда, на помощь австрийцам явились немцы, но и они не в силах были удержать стремительный натиск наших войск.

И враги стали спешно отступать, бросая раненых и орудия.

Опубл. и печ. по: Столичная молва[1]. 1914. № 395 (20 окт.). С. 2; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 45 – 48.

АГОНИЯ ОДНОГО ПОЛКА[2]

По рассказам пленного

18-й ландверный полк[3], входящий в состав арьергарда отступающей австрийской армии, целый день лежал в глубоком глинистом овраге, каждую минуту ожидая приказания встать и двинуться к лесу, за которым русские добивали три других ландверных полка. А пока что солдаты, до крайности утомленные длинными переходами и уже давно не видавшие горячей пищи, или спали, или возились с котелками, торопливо грели воду, чтобы успеть напиться пустого кофе, так как сахару и хлеба ни у кого не было. Но, несмотря на это, в овраге было тихо и не похоже на то, что здесь собран целый полк: четыре тысячи человек.

Офицеры, собравшись вместе, лежали на склоне оврага и, закрыв лица кепи, дремали или претворялись, что дремлют. От их молчаливой группы на солдат веяло тоской и безнадежностью…

Время шло к вечеру. В душе почти каждого солдата начинала шевелиться робкая, скрываемая от самого себя, надежда на то, что их часть сегодня не «ввяжется» в бой, и вместе с тем, как надежда эта крепла, полк начинал оживать, шевелиться, расползаться по оврагу и наконец загудел, как огромный проснувшийся улей.

---

[1] Почти все рассказы Митропольского в этой газете печатались под рубрикой «Военные странички» и за подписью «Арс. М-ий»; публикации вне рубрики и за другой подписью отмечены особо.

[2] См. в Приложении к наст. изд. (Ч. 2) позднюю редакцию рассказа.

[3] *Ландверный полк* — воинская часть, состоящая из военнообязанных запаса 2-й очереди, второочередные войсковые формирования в Пруссии, Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии в XIX — начале XX вв.

И все это было прервано короткой командой:

— В ружье!

Солдаты выползли из оврага в поле, собрались по батальонам в четыре длинных колонны и поплелись к лесу, пропуская в интервалы громыхающую батарею и пулеметный обоз.

Через несколько минут полк вливался в узкую улицу деревни, стоящей между лесом и оврагом, и солдаты устремились к колодцам, зная по опыту, что значит в бою глоток хотя бы разболтанной в баклажке и невкусной воды. У середины деревни, на крыльцо одной из халуп вышел старенький толстый генерал и, притворяясь веселым и лихим, крикнул быстро идущим серо-синим рядам ландверного полка:

— Покажите себя, молодцы! — и еще что-то, чего солдаты не расслышали и чем не интересовались, досадливо хмуря сосредоточенные, загорелые лица.

Деревня была пройдена, но, выйдя из нее, полк пошел не к лесу, а повернул вправо, вдоль его зубчатой темной стены, над которой изредка с звонким треском появлялись и медленно таяли серебристо-белые облачка русских шрапнелей.

Солдаты косились на них и ускоряли шаг.

Через полчаса полк уперся в высокий крутогрудый склон холма и пополз на него, как <будто> живая, ярко освещенная заходящим солнцем, змея волочила упирающиеся орудия и пулеметные повозки. Вершина горы была покрыта лесом, и всем до боли хотелось поскорее добраться до него и исчезнуть за его завесой. Пехота, помогавшая артиллеристам, остро ненавидела тяжелые неповоротливые пушки, тупо усевшиеся на низких осях и тащившие уцепившихся за колеса людей вниз под гору.

Казалось, никогда не кончится подъем.

С середины холма верст на семь было видно поле, уже подернутое вечерним туманом; у дальнего его конца на околице крошечной деревеньки то и дело рождались круглые желтые вспышки огня и глухо рокотали пушечные выстрелы.

Когда последние солдаты вошли в узкую лесную дорогу, тяжелое напряжение, сковывающее всех, разом упало; полк остановился без команды, разом ожил, зашумел и весь расцветился красными огоньками солдатских папирос.

А вечер глухой и темный уже наступал.

Через несколько минут солдаты снова были в пути и, миновав лес, тащились по направлению дыма, какого-то пожара.

И так они шли с короткими привалами семь часов.

При каждой самой короткой остановке солдаты ложились и тотчас же засыпали. С каждым часом все большего труда стоило их поднять. Вставая, они шли, как слепые, всхрапывая на ходу и тыкаясь в спины впереди идущих.

В голове одной из колонн, на маленькой, спотыкающейся лошадке, ехал командир батальона и угрюмо, по-стариковски, ворчал на командира ближайшей роты, требуя равнения в отделениях. Капитан резко отвечал ему, и полковник бранился, грозя офицеру судом, хотя сам отлично понимал, что обычный порядок невозможен при ночном утомительном марше.

Никто не знал, куда идет полк и с какой стороны можно ожидать противника.

Дым пожара исчез; на месте его всплыло трепещущее багровое зарево, рокочущее глухими пушечными выстрелами. Солдаты уже не чувствовали холода: усталость и непреодолимое желание спать заглушило все ощущения. Даже мысли, близок ли противник, наступает ли он, отступает, занимавшие каждого днем, теперь исчезли. Люди спали на ходу, и если бы не окрики и пинки офицеров, то наступил бы момент, когда бы они повалились и заснули сном, каким могут спать только солдаты, измученные походом.

Но вскоре люди вышли из повиновения. Полк шел, оставляя по сторонам дороги уснувших солдат, и было похоже, что это не спящие, а трупы: в таких странных позах засыпали солдаты.

Офицеры толкали их ногами в спины, солдаты ворчали, сжимались, как трусливые, голодные собаки, и оставались лежать.

Теперь полк шел по открытому полю. Командир не делал привалов, зная, что, остановив солдат, он уже никакими силами не заставит их идти вновь.

Почему не слышно было обычного ропота и крика из задних рядов? Вероятно, сегодня люди устали настолько, что неспособны были даже на это…

— Скажите, лейтенант, что там белеет? — спросил старший офицер у субалтерна. — Это, кажется, собака?

Длинный и худой, как жердь, лейтенант долго всматривался в указанную сторону и наконец спокойно ответил:

— Там ничего нет, вы просто галлюцинируете от усталости.

Глубокой ночью пришли к большому покинутому фольварку[1] и здесь остановились на ночлег. Солдаты сейчас же разбрелись по закоулкам, и роты, несмотря на все меры, принимаемые офицерами, разместились вразброд. Когда все заснули, прискакавший улан сообщил, что с востока наступают русские. Офицеры побежали к своим ротам, но найти их не было возможности.

Командир одной из них, той, которая должна была остаться в арьергарде и прикрывать собой отступление полка, пока он не изготовится к бою, с револьвером в руке бегал по сараям и закоулкам имения, отыскивая своих людей, но пока он собирал один взвод, другой, уже собранный, исчезал, растворяясь в массе непробудно спящих повсюду, измученных людей.

И полк бежал, не собрав и половины своего состава, оставив остальных спящими в фольварке и без сопротивления взятыми в плен на рассвете.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1914. № 396 (27 окт.). С. 3; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 28 – 32.

ШПИОН

Платье на нем простое, крестьянское, и не подходит оно к его интеллигентному «тонкому» лицу. Штиблеты в грязи; видимо, не одну версту пришлось шагать по размытой проселочной дороге.

Большое красное солнце низко висит над горизонтом, и холмистая равнина залита розовато-золотым светом. На перекрестке, возле крошечной «каплицы», часовеньки со статуей Божьей Матери, сидит наш патруль…

— Стой, пан, ты откуда? — спрашивает прохожего рыженький унтер-офицер.

Прохожий останавливается.

— Я не розумем, цо пан муви[2], — отвечает он, спокойно глядя на подходящих солдат.

---

[1] *Фольварк* — небольшая усадьба, поместье.

[2] Я не понимаю, что вы говорите (*польск.*).

— Мы спрашиваем, откуда ты идешь? — повторяет по-польски солдат-еврей, и незнакомец словоохотливо отвечает солдату:

— Я здешний, из Ржевиц, работал там у пана на цеглярни (на кирпичном заводе), но работы больше нема, и вот я иду к себе в Томашов…

На лицах солдат появляется выражение скуки и равнодушия.

— Отпустить, что ли? — обращается один из них к унтер-офицеру, но черненький еврейчик нацелился взглядом на руку хлопа и ядовито спрашивает:

— И на цеглярни пан заробил-таки персценек[1]?

Прохожий резко рванул руку, на которой красовалось золотое с красным камнем кольцо, и вдруг совершенно неожиданно побледнел.

Солдаты сжались тесней и угрюмо засопели.

— Обыщи-ка его, Хейфиц, — приказал еврею унтер-офицер, но едва тот двинулся, как незнакомец опустил руку в карман и блеснул на солдат никелированной сталью тяжелого браунинга. Но люди мотнулись вперед, и человек упал, протяжно и жалобно застонав.

Через полчаса офицер головного отряда, удостоверившись, что среди бумаг, взятых у незнакомца, поставленного сейчас между двух солдат у дверей темной и грязной хаты, были кроки местности, строго спросил:

— Ты шпион?

Арестованный пожал плечами.

— Разведчик, если позволите, — ответил он по-русски. — Я лейтенант австрийской армии.

— Садитесь, — мягче сказал офицер и прибавил: — Через час вы будете отправлены в город, где вас…

— Повесят, вероятно? — довольно спокойно попытался догадаться лейтенант и попросил папиросу.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1914. № 397 (3 нояб.). С. 2; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 3 – 4.

[1] Так это на кирпичном заводе вы заработали колечко? (*суржик, южно-русск. говор*).

ДЕТИ

Он вышел на крыльцо своей халупы и, засунув в рот грязный палец, с интересом наблюдал за белыми облачками, которые, треща и визжа, с утра метались над их деревней. Мальчик удивлялся, почему у солдат, проходивших улицей, такие суровые, строгие лица…

Владек к ним очень расположен. Он знает, что это русские, которые пришли сюда бить «пруссов», еще вчера владевших деревенькой.

Поэтому он чувствовал себя оскорбленным совершенно несправедливо, когда из серых солдатских рядов ему то и дело кричат непонятные слова:

— Эй, ты, шибзик[1], марш в избу! — и прочее.

Владек не знает, что значит странное слово «шибзик», но понимает, что это, во всяком случае, не похоже на приветствие.

И вдруг…

Из строя выбежал маленький пожилой офицер, взял мальчика под мышку и понес в хату. А солдаты в это время громко, громко засмеялись…

В хате офицер посадил Владека на лавку и строго спросил:

— Где твоя матка?

— Або я вем[2]? — имел мужество ответить мальчик и объяснил офицеру, что мать ушла еще вчера утром и больше не возвращалась.

Офицер рассердился, запретил Владеку выходить на улицу и сейчас же убежал. Но в хате, такой пустой, без мамки, было скучно, и, посидев в ней с полчаса, мальчик снова вышел на улицу.

Белые облачка над крышами домов появлялись еще чаще, чем раньше, а вправо слышалась непрерывная беспорядочная трескотня.

Солдат на улице не было. Изредка лишь они проходили в обратную сторону с забинтованными руками и повязками на голове.

Владеку стало одиноко и грустно. Он решил уже вернуться в хату, как вдруг впереди что-то зажужжало и загудело.

---

[1] *Шибзик* (руг.) – маленький, мелочь.

[2] Откуда я знаю? (*польск.*)

— Неужели у пана молотилка стала работать? — подумал мальчик и удивился. Но жужжание разом оборвалось, и что-то похожее на черный столб выросло в двух шагах и подняло ребенка…

А потом все исчезло…

Скоро выстрелы стихли, через деревню повели солдат в серо-синих шинелях и низеньких касках. Они отворачивались от ямы, вырытой снарядом, на краю которой лежало что-то маленькое, кровавое и наполовину засыпанное землей.

Два бородатых уральских казака, проезжая мимо, сурово нахмурились, пришпорили лошадей и пронеслись в ту сторону, где над лесом странно-неподвижно повисло красное заходящее солнце.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1914. № 397 (3 нояб.). С. 2; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 4 – 5.

«НОМЕР ВТОРОЙ»

Видите эту пушку, обыкновенное трехдюймовое полевое орудие, которое в батарее называют «номером вторым»? Теперь оно на передке и вид имеет добродушный и тупой… Тяжело повиснув на низкой оси, пушка сейчас даже напоминает (простите за выражение) замоскворецкую купчиху, которая, сытно покушав, свесила голову на локти и мирно дремлет.

И действительно, эта пушка сытно «покушала». И вот как это случилось.

Вчера она вместе со своим товарищем, «номером первым», была в сторожевом отряде, который, выдвинутый в сторону противника, охранял бивак наших главных сил.

Ночь была темная, ветреная и холодная. Около полуночи австрийцы стали наступать, засыпая нашу пехоту ружейным и пулеметным огнем, благодаря темноте совершенно безрезультатным, ввиду чего мы, не отвечая на выстрелы, перешли прямо в атаку и прогнали врага, взяв десяток пленных и одну «веркмашин» — пулемет.

Остаток ночи прошел спокойно, но на рассвете противник попытался обойти наш фланг, пользуясь удобным для этого лесом.

Но едва только первая колонна австрийцев показалась на опушке, как проснулось орудие «номер второй». И случилось то, о чем я хочу рассказать.

Теперь, снятая с передка и низко висящая над землей, пушка не казалась уже добродушной и тупой, а была похожа на серое чудовище, широко расставившее высокие лапы и готовое к прыжку. Вот она рванула, выбросила круг бледно-желтого пламени, металлически взвизгнула метнувшимся из пасти снарядом, и там, где над густыми рядами наступающих врагов вздулось белое облачко, — образовался длинный коридор.

Тотчас же, поддерживая товарища, бухнул «номер первый», и австрийская колонна расползлась по полю, утекая «до лясу».

Так разбегается кучка муравьев, когда на них плеснут водой…

И сколько ни появлялось неприятельских колонн, всех их постигала участь первой.

«Номер второй» делала чудеса: даже наводчик, даже артиллерийский офицер удивлялись и с уважением смотрели на работающее орудие.

Казалось, не пушка это была, а человек, существо с общей душой, давшее обет не выпустить австрийцев из леса, пока пехота не перестроится в нужный порядок и не встретит врага с честью. И вид у пушки был особенный: острый, ненавидящий и жадный; она бросала снаряды с убийственной меткостью, и их низкие разрывы причиняли противнику огромный урон.

Наши солдаты, рассыпаясь в цепи напротив леса, чувствовали демоническую силу «номера второго» и весело говорили друг другу, слушая металлические взвизги пролетающих над головами шрапнелей:

— Ишь, ведь как старается! Ловко жарит!

А в это время наполненный австрийцами лес уже с трех сторон окружали наши главные силы, и участь противника была решена.

Через несколько часов бой затих. «Номер второй» подняли на передок, и оно, усталое и снова такое добродушное на вид, покатилось, мерно громыхая, к своей батарее, провожаемое благодарными взглядами отдыхающей пехоты.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1914. № 397 (3 нояб.). С. 2; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 18 – 19.

ДЕНЩИКИ

Их трое: Терентий — московский монтер, Кузьма — трамвайный кондуктор и Гришка — вятский мужик. Монтер сутул, мал ростом и ядовит. С Кузьмой, хитрым парнем, он во вражде и за хохлацкое происхождение называет его «малороссийским салом».

Гришка — дитя природы.

Все они денщики и сейчас догоняют полк, следуя за фурманкой, нагруженной офицерским скарбом. Садиться им на повозку «строго воспрещается», ибо рыжая кляча давно уже собралась помереть и только ждет для этого удобного случая…

Но полк далеко, господа не увидят, а посему солдаты сидят на возке и, кутаясь в шинелишки, переругиваются.

— Разве я променяю ром на колбасу? — с презрением говорит Терентий, бережно поддерживая болтающуюся на боку австрийскую фляжку, в которую он налил купленное для барина вино. — Мой-то узнает, со свету сживет… Нужна ему колбаса!

— Был уговор — все пополам, так и дели пополам, — азартно орет Кузьма. — И ром, и колбасу.

— Так это было когда, уговор-то твой? — насмешливо фырчит монтер.

— А, забыл, — возмущается хохол, — а третьего-сь в пятницу что порешили… Забыл?

— Ну, вот в пятницу и поделюсь, — спокойно решает монтер, поворачиваясь спиной к недругу и показывая тем, что разговаривать больше не о чем.

Кузьма злобно смолкает.

Начинает накрапывать дождь. Грязная проселочная дорога, изрытая колесами, криво тянется по холмистому полю и исчезает в мутно-чернеющем перелеске.

Где-то далеко, верстах в тридцати, вяло погромыхивают пушки. На всем белесая сырая мгла.

Повозка минует наполовину сожженную деревню и останавливается на перекрестке двух дорог.

На перекрестке у покосившегося черного креста стоит «пан» и, посасывая трубку, спокойно смотрит на не решающихся выбрать дорогу денщиков.

— Эй, пан, — кричит ему Гришка, правящий лошадью. — Не видал ли, по какой дороге пошел наш полк?

— Цо? — переспрашивает его мужик.

— Полк, полка куды ушел? — переставляя ударения на предпоследние слоги в надежде, что его поймут, орет Григорий, тыкая пальцем вправо и влево.

Мужик ответил длинной фразой, почти сплошь составленной из «пши» и «бржи». Денщики покатились со смеху.

— Чисто змея прошипела, — радостно обернулся к товарищам Гришка. — Ну и народ! Однако куда же править? Надо бы дорогу выбрать.

Но ничто не склоняло приятелей в пользу какой-либо из расходящихся отсюда дорог… Выручила лошадь. Неизвестно почему, она без всякого поощрения со стороны кнута захрипела, замотала хвостом и выбрала дорогу.

— Ишь, животная, — удивились солдаты, — чувствует, должно быть, где свои, — и, совершенно успокоившись насчет пути, устроились поудобнее в повозке и стали дремать.

Прошел час, может быть — два… Все было вполне благополучно, как вдруг на опушке леса показались всадники.

— В красных штанах! — удивился Григорий. — Уж не австрийцы ли?

— Н-ну, — фыркнул Терентий. — Откуда?

— Откуда! Из лесу. И даже нет ничего удивительного, — оборвал его хохол, всматриваясь в разъезд. — Они!

Фурманка остановилась. Денщики продолжали сидеть, рассматривая медленно приближающихся австрийцев и все еще не веря, что случай их так неожиданно столкнул с противником.

И вдруг заспанные, немытые денщичьи лица разом преобразились, стали суровыми и решительными, как у бывалых боевых солдат. Денщики нагнулись к чемоданам и закопошились в вещах, вытаскивая винтовки…

Разъезд из семи улан шагом приближался к возку, вероятно, в наступивших сумерках приняв его за обывательскую повозку…

Но когда он увидел ружья в руках солдат, он понял свою ошибку и с криком бросился в атаку.

Денщикам не было времени соскочить на землю, и они стали палить в налетевших врагов. Лошаденка, испугавшись выстрелов, рванулась вперед и из последних сил понеслась по дороге. Этим было выиграно несколько секунд, и десяток беспорядочных выстрелов сделал свое дело.

Часть лошадей австрийцев взвилась на дыбы и упала, придавив всадников, другие повернули обратно, и лишь одна с расфранченным уланом упорно неслась за телегой, но, нагнав ее, лошадь метнулась в сторону, и солдат, как деревянный, скользнул вниз: денщиков догонял мертвец.

Трофеями победителей были две лошади и один легко раненный в ногу австриец. Но теперь денщики не решались уже двигаться наугад и вернулись в деревню, где решили заночевать.

— А ведь правда, что наша кобыла своих чуяла, — заявил Гришка, когда приятели пришли в себя от неожиданности. — Это когда дорогу-то выбирала.

Товарищи хотели выругать его «за глупость», но денщик напомнил им, что их кляча была взята из отбитого австрийского обоза, и они решили, что и Гришка бывает остроумен. Согласились они и с другим его предположением, а именно, что ром, после треволнений неожиданной битвы, «вещь весьма невредная».

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1914. № 399 (17 нояб.). С. 2; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 15 – 17.

ПОДПОРУЧИК МАРАТОВ

Ему девятнадцать лет, он строен, очень силен, но в его лице есть что-то, заставляющее женщин говорить:

— Боже мой, как молод!.. Совсем мальчик.

Подпоручик Маратов хмурится. Эти слова он слышит часто, они ему ужасно надоели, но что поделаешь, не запретишь ведь людям высказывать свое мнение.

Маратов человек одинокий.

Отец его умер, когда ему было пять лет, а мать, маленькая провинциальная актриса, пристроила сына в корпус и забыла о его существовании.

Он даже не знает, жива ли она.

Маратов — юноша исполнительный, всегда спокойный и несколько суховатый.

Случилось так, что, когда полк стоял около маленького фольварка, в подпоручика влюбилась дочь помещика. Это было очень неприятно.

Несмотря на короткий срок стоянки, экспансивная панна не могла скрыть своей благосклонности к молодому офицеру, и товарищи стали над ним подтрунивать.

Подпоручик старался быть с барышней бесконечно любезным, вежливым и… сухим.

Девица попыталась отплатить ему тем же, стала кокетничать с другими, но не выдержала и однажды, метнув Маратову сердитый взгляд, расплакалась самым жалким образом.

Это неудивительно, потому что панне было всего-навсего семнадцать лет.

А на другой день полк выступил в поход, и все было бы кончено, если бы недели через три случайно не пришлось снова проходить через знакомые места.

Был темный вечер.

Шел дождь, и промокшие люди, сделав огромный переход и получив здесь отдых на несколько часов, разбрелись по хатам.

Подпоручик, пробираясь через загромоздивший дорогу обоз, услышал, что его кто-то окликнул.

Это был сын помещика — гимназист.

— Пойдемте к нам, — звал он. — Что вы все отказываетесь. Грязные?.. Чепуха. Разве можно быть чистым, пройдя по этой дороге сорок верст?

Собственно, Маратов должен был отказаться, и почему предложение гимназиста им было принято, он не знает. Но он пошел.

Вся семья сидела в столовой, и офицера приняли как старого знакомого. Какая-то старушка, кажется, мать хозяина, чистенькая, маленькая и сухенькая, даже поцеловала его в лоб, к чему он совершенно не привык.

— Нам говорили, что вы убиты, — спокойно сказала она, — но мы этому не верили… Катя почему-то уверяла всех, что вы должны здесь быть. Снимите же ваш револьвер и шашку и отдыхайте.

Маратов взглянул на Катю. Она сидела смущенная чем-то, вероятно, словами своей бабушки, вся розовая и веселая.

Он увидел, что глаза ее светятся тепло и радушно, и от этого ли, или от чего другого, усталость, еще недавно томившая тело, разом исчезла, и стало весело и хорошо.

Но через час надо было прощаться и уходить.

Провожая его, все вышли на террасу. Девушка ему крикнула:

— Погодите, я дам вам на дорогу грушу.

Она сбежала с террасы и увлекла его в глубь фруктового сада.

— Вот сюда, сюда, — шептала она, задыхаясь и ведя офицера между деревьями с тяжело повисшими ветками.

И вдруг, повернувшись к нему, обняла его и, пригнув к себе, стала целовать в губы.

— Милый, милый, — торопливо шептала она, — я люблю тебя. Боже мой, как я люблю тебя. Но я знала, — ты придешь… И еще раз придешь.

И убежала.

Маратов долго стоял под мерно падающими с листвы тяжелыми дождевыми каплями…

Через десять дней Маратов лежал на дне тряской крестьянской телеги и глядел, как над головой ползли серые осенние облака. Они дымились, меняли очертания, растягивались, и была какая-то связь между их вялым движением и тупой болью в плече.

Лошадью правил «пан». У него соломенная шляпа с оторванными полями и на плече заплата. Сидит сгорбившись. Кнуты у польских крестьян совсем не такие, как у русских, очень длинная рукоятка.

Но это все равно, все равно. Почему все так тянется, удлиняется — бесконечно как-то. Вероятно, оттого, что повысилась температура. Ли-хо-рад-ка…

— Ваше благородие (это говорил денщик), — тут село, где мы стояли раньше… может быть, к помещику заедете?

— Заедем.

Говорят, что осеннее небо некрасиво… Неправда. Эти тучи похожи на дым. Дым, — огонь — уютное тепло около огня. Самое важное теперь — это согреться. Там, наверно, будет очень хорошо.

Но было ли *это*, или только бред от лихорадки?

— Прохор! было или нет?

— Так точно, — весело отвечает солдат. — Поправитесь…

Слишком медленно движется тряская крестьянская телега.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1914. № 400 (24 нояб.). С. 3; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 8 – 10.

БУДНИ

Черная человеческая масса, расцвеченная красными огоньками «цигарок», вяло копошится посредине грязной деревенской улицы, и тяжелую тишину ненастной ночи то и дело оглашают сердитые крики:

— Квартирьеры[1] девятой роты!.. Эй, квартирьеры девятой роты!..

— Пусти их только до деревни! — ворчат солдаты. — Как добрались, — первое дело картошку варить. Встретят они роту, подожди-дожидайся!..

Уж все село весело гудит голосами всюду рассыпавшихся солдат; кое-где разводят костры… Только незадачливая рота, которую три солдата-квартирьера не встретили на околице, все еще топчется на улице, отыскивая отведенные ей помещения.

— Квартирьеры!.. Черти!..

— Здеся…

---

[1] *Квартирьер* – (нем. Qartiermacher или Quartiermeister, квартирмейстер) — военнослужащий, направляемый вперед по пути следования воинского подразделения с целью обследования предполагаемого района размещения и распределения квартир между военнослужащими. До середины XX в. в обязанности квартирьера также входило изучение санитарного состояния района, отношения к армии местного населения, сбор сведений об источниках воды и топлива, наличии и состоянии дорог. Позднее эти обязанности перешли к рекогносцировочным группам.

Кто-то шлепает через улицу, и, по движению красного огонька сверху вниз, — видимо, предчувствуя «разнос», — прячет свою папиросу в рукав шинели.

— Где пропадал? Иди-ка к ротному… Он тебе покажет, как ворон считать…

Через минуту черная масса роты грузно шевельнулась и, спотыкаясь в грязи, поползла за проводником. Село было большое.

— Скоро ли, чертова голова!

— Тут-от, ваше благородие! Эта халупа для господ офицеров, а та вон, — указывал проводник на черные массивы строений, — для первого взвода…

Солдаты, сделавшие за день огромный переход, разом ожили, и ночь загудела повеселевшими голосами. Усталые и продрогшие, люди спешили в тепло и, сталкиваясь в дверях, сцеплялись штыками, добродушно переругиваясь.

В офицерской хате денщики, пришедшие раньше, уже варили суп из гуся. От ярко пылающего огня — тепло, уютно и весело… Хозяин, чахоточный, захудалый австрийский полячок, привык, видимо, к ежедневным приходам незваных гостей: переночуют и уйдут, дав место другим…

Он равнодушно смотрит на снимающих снаряжение «панов», и только дочка его, семилетний худенький ребенок с глазами козочки, внимательно наблюдает за пришельцами. Денщик протянул ей кусок сахару, но она испугалась и спряталась за отца, который и взял подарок.

Вошла красивая девушка и, предложив молока и меду, стала весело болтать с солдатами, кипятившими воду для чая. Ждать гуся было бы слишком долго, и когда чай был готов, офицеры принялись за него. И по мере того, как они согревались и начинали отходить их ноющие мокрые ноги, прояснялись их лица…

— Ну, как сегодня ехали? Лошадь очень плоха? — спросил ротный командир у денщиков, следовавших вместе с повозкой, на которой возились офицерские чемоданы.

— Плоха-то плоха, — ухмыльнулся жуликоватый Васька. — Да мы новую у казака купили… За рупь.

— Штука! — удивились офицеры. — Настоящую лошадь?

— Так точно… Недели на две хватит для этаких дорог.

За дверью слышится тяжелый топот солдатских сапог, и в растворенную дверь сначала просовывается винтовка, а за нею и сам вестовой.

— Вашему высокоблагородию от его высокоблагородия! — возвещает он. — Приказание.

Капитан вынимает из маленького «полевого» конвертика исписанную бумажку. Младшие офицеры с интересом следят за выражением его лица… Ведь мало ли что может заключать в себе это послание!.. Все — вплоть до приказания вновь собраться и выступить опять в поход.

Нет, не то…

— Прапорщику Чижу вступить на дежурство по биваку, а подпоручику Лохтинскому расставить полевые караулы за западной околицей села…

Через минуту первый уже на улице, и в хату доносится его раскатистый бас…

— Эй, ребята, заборов на костры не ломать, слышите… Кто развел огонь около сарая?.. Погасить сейчас же.

Лохтинский еще в избе, он по карте изучает местность.

— Люди готовы, — докладывает взводный и предупреждает: — плащ возьмите, ваше благородие… Дождь…

Брр!.. какая ночь!

Грязь чавкает под ногами, и холодные струйки забираются за воротник… Грустно… Люди, спотыкаясь, бредут по расползающейся дороге…

В избе один командир роты.

— Напишу письмо, — думает он. — *Там*, наверно, ужасно беспокоятся.

— Василий, все для письма!

Но на крыльце опять стучат чьи-то шаги. Это — фельдфебель. Он докладывает, что у кашеваров вышла вся соль. Осень, распутица, бездорожье… Обозы не поспевают за частью, и потому лицам, ведущим ротное хозяйство, предоставляется право недостающие продукты покупать на местах. Но это задача весьма нелегкая…

— У хозяина нашей халупы, — говорит фельдфебель, — соль есть… Да не продает. Не хочу, мол, и только.

— Может быть, самому мало?

— Какое!.. Ее у него, почитай, пуда три… Каменной соли… Просто, думаю я, не хочет австрияк русским продать.

— Что ж делать, тогда придется реквизировать.

Реквизиция[1] всегда совершается в присутствии офицера, и капитан начинает одеваться. Идут в соседнюю хату. Еще не старый, вертлявый «пан» встречает ротного с предупредительной вежливостью. Но, извиваясь вокруг него, он на все слова отвечает одним: «ниц не разумем»[2].

Но появляется переводчик, и припертый к стене полячок со вздохом говорит, что он продал бы соль, но соль-де в Австрии так дорога, что «ясновельможный» ни за что ее не купит.

— А как все-таки?

Опять вздох и взгляд на образ Богоматери.

— Як пан хце[3] — крона за фунт.

Солдаты ахают, но присутствие офицера удерживает их от «комментарий», которыми бы, несомненно, снабдили заявление «пана». Офицер морщится… Крестьянин, очевидно, врет и сам, сознавая это, трусит, но… черт с ним!

В то время как капитан толкует сразу уразумевшему русский язык «пану», что крона на наши деньги 30 копеек и что за десять фунтов соли ему будет заплачено три рубля, — Лохтинский ищет место, где бы поставить последний караул.

— Вот здесь, ребята, — говорит он, останавливая солдат на хлибком мосту через болотистый ручей. — Тут будет хорошо… Зарядили винтовки?

— Так точно.

Теперь домой… Плащ намок от дождя и стал точно деревянный. Топорщится во все стороны.

Испортился электрический фонарик, и теперь — такая чертовщина! — того гляди ухнешь в яму… Темь!..

Но вот, слава Богу, и околица…

---

[1] *Реквизиция* (военн., устар.) – во время войны требование, предъявляемое военным начальством к местным властям о доставлении всего необходимого войску, в неприятельской стране безвозмездно, в собственной — взамен квитанций, впоследствии оплачиваемых казначейством.

[2] Ничего не понимаю (*польск.*).

[3] Как хотите (*польск.*).

— Эй, кто идет?

— Капитан Ермолов. Это вы, Николай Тихонович?

— Я, голубчик… Где же наша халупа? Никак не найду, — все в темноте, как одна.

— Идемте.

В избе денщики расставили складные кровати, и стало страшно тесно. Суп готов и благоухает на всю хату. Вернулся прапорщик и привез только что полученные им в штабе полка письма и новость: завтра дневка!

Все сделано, остаток вечера всецело в распоряжении офицеров. Но, несмотря на усталость, жаль ложиться спать: хочется подольше протянуть эти свободные часы и, под влиянием вестей из дому, поболтать, вспомнить о Москве…

Узнав о покупке соли, Чиж жалеет, что не было его…

— О, я умею торговаться! — хвастает он. — Вот как я у еврея в Ярославле коньяк покупал. Спрашиваю:

— Сколько?

— Десять рублей.

— Что? — гремит Чиж.

— Ох! семь, пане!..

— Что? — удваивает голос покупатель.

— Ай, пане, пять рублей тридцать копеек…

Прапорщик хотел было демонстрировать, каким вышло у него третье «что», но увидел, что дочь хозяина и так сидит ни жива ни мертва, и осекся.

— За сколько же отдал? — сквозь смех спросил Лохтинский.

— За три рубля! — пожал плечами Чиж. — Еще бы не отдал…

Переходят к воспоминаниям о Москве… Свеча уже погашена, офицеры разделись и лежа говорят о «старине»… Голоса их стали тихими, и в них звучит нежная грусть. Первым засыпает Чиж, который, после воспоминания о московской солянке и «покойной памяти» трехгорном пиве, совершенно расстроился. Долго не спит капитан… Не потому ли, что у него позади остались жена и дети, чем первые два офицера еще не успели обзавестись?..

Тихо в халупе.

Лишь кашляет «пан» да изредка шепчет:

— Цо то бендзе[1]? О, Боже ж, цо то бендзе?

Издалека откуда-то приносит ветер угрюмый глухой рокот: это погромыхивают пушки; где-то идет ночной бой…

Храпят денщики на соломе у печки…

Но ночь не проходит без тревоги…

Один за другим раздаются три ружейных выстрела.

И офицеры просыпаются.

Чиркнула спичка, осветив поднявшиеся над подушками головы, и через минуту все уже спешно и молча одевались, разбирая шашки и револьверы и чутко прислушиваясь, не слышно ли еще выстрелов.

Пришел из караулов солдат. Оказалось, что на один из них наткнулось два всадника. На окрик неизвестные повернули обратно и стали улепетывать. Их и обстреляли… Кто они были, в темноте разглядеть не удалось.

О происшествии надо писать донесение. Лохтинский ушел проверять посты…

Когда он вернулся, — уже светало.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1914. № 402 (8 дек.). С. 2; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 33 – 38.

СТОРОЖЕВКА

I

Поле с далекими перелесками потонуло в белой мути падающего снега; ночь наступала быстро и незаметно.

Укрепленьице для взвода почти готово… Солдаты выравнивают бруствер, похлопывая лопатками по мокрой глине, и снег маскирует его своим белым пушистым покровом.

Кто-то подходит и кричит на солдат, едва различимый в наступающей темноте. Это — офицер; он закутан в башлык, и плечи его белеют от снега.

Солдаты торопятся.

[1] Что же будет? (*польск.*)

Вот притащили солому для ночующих в окопе и гуськом потянулись к деревне. Она — рядом, в ста шагах, но в вихре кружащегося снега не различить ее построек; лишь желтеет слабый огонек в окне ближайшей хаты.

Лениво, дремотно падают снежные хлопья…

Впереди, в полуверсте от линии взводов, полевой караул, — а перед ними бушующая снегом ночь и в ней — наступающий враг. Где он? — близко или далеко — не знает солдат-часовой…

По скользкой, тяжелой дороге тащатся люди в синих намокших шинелях, один ряд, другой, много рядов… Громыхают пушки, скрипит обоз…

Так же, как и у нас…

В такую темь разве увидишь его передовые отрядики! На десять шагов подойти может — не увидишь. Слушать надо, словить каждый звук, каждый шорох!

Чу!.. что такое?

Солдат вздрогнул.

Нет, это собака завыла. Или волк. Есть ли они здесь, он не знает, но в Костромской губернии — их сколько угодно.

…Будто тень промелькнула… Мерещится. Ночью всегда так, если пристально всматриваться в темноту. А как не глядеть! Так и тянет к себе взгляд эта черная шевелящаяся шепчущая ночь. Покурить бы, да нельзя… Как раз на огонек прилетит свинцовая птичка…

Приятно в такую ночь наступать! Покуда на штык не упрешься, не увидишь. Тоже, лезут… Мало их били!

Вздрогнул: сзади шаги.

Смена.

II

В просторной избе, на полу, спят вповалку солдаты; храпят, уткнув головы в солому… Винтовка под боком у каждого.

В соседней каморке, за столом, над которым тускло горит крошечная лампочка, сидит офицер. Он не раздевался — только башлык снял — и не спит, чтобы в случае тревоги каждая секунда была использована вовремя. Но клонит ко сну, борет дрема, и иногда, на мгновения, исчезает храп людей, черное окно напротив и стол с голодным тараканом в углу.

Еще папиросу.

— Так и не купил велосипеда Лене, — думает офицер. — Досадно… Ему очень хотелось.

Но досадное совсем не в этом, а в чем-то другом, — в чем именно — лень разбираться.

Лучше выйти на улицу — сон пройдет.

Снег все идет, и его холодные прикосновения освежают лицо. Но это только вначале. Пронизывающая сырость снова гонит в хату.

Бр! ну и ночка! Не могли, проклятые, выбрать получше! А ведь у них сегодня Рождество…

— Ваше благородие, — вырастает рядом солдат. — С третьего караула…

— Ну?

— Так что шляющийся человек замечен. Мы окликнули, а он убег.

— Выслать дозор.

Скоро пять человек молчаливо проходят мимо офицера и исчезают в темноте. Затихли шаги. Сонно шепчет снег, лениво кружась.

— Ук! — мягко падает где-то одинокий винтовочный выстрел.

Офицер ждет… Как поднял руку вытереть мокрую щеку, так и замер, прислушиваясь. Может быть, часовому почудился еще какой-нибудь «шляющийся» человек, и он выпалил наудачу — не стоит будить людей.

Но вот второй выстрел, третий… еще и еще — по всей линии полевых караулов.

— Вставать! Живо!

Сгибаясь к земле и еще как следует не проснувшись, бегут солдаты к окопу.

Прыгают в ров и, ложась грудью на бруствер, звонко заряжают винтовки. И ждут, все молчаливые, сосредоточенные и готовые к встрече. Караулы, сделав свое дело, отходят к окопу и сливаются с кучкой зорко всматривающихся в темноту людей.

Наступает тишина. И вот в ней, где-то близко-близко — осторожный, зловещий шорох, позвякиванье, отрывок речи, команда…

Еще секунда, другая…

— Взво-д!

И стало страшно тихо, даже снег будто перестал падать…

— Пли!

Тррр… разорвалась ночь режущим звуком залпа, и в ответ ему впереди раздались крики, стоны и отдельные беспорядочные выстрелы.

Бой начат.

Противник залег и стал отвечать огнем…

— А что, ведь его можно отогнать, если сейчас перейти в атаку, — подумал офицер и вылез на бруствер.

— Ура-а! — загремело в темноте.

III

Деревенька в двух верстах за сторожевым охранением спит сном непробудным. Все хаты темны, все набиты солдатами… Изредка скрипнет дверь, выбежит полураздетый воин и, зябко поеживаясь, спешит назад.

В ночной тишине так ясно слышно все приближающееся шлепанье лошадиных копыт по размякшей дороге.

Скачет казак.

Остановился у ближайшей хаты, соскочил с коня и забарабанил, что есть мочи, в окошко.

— Штаб полка. Что надо?

— К командиру, донесение…

В чистенькой комнате, где на широкой деревянной кровати спит красивый старик, вспыхнул свет.

— Что? — спрашивает полковник, разом садясь на кровати.

— Донесение… Неприятель встречен, — отвечает казак, снимая папаху.

И, еще не прочитав записки, командир отдает приказание поднимать людей и через десять минут выстроиться у западной околицы.

Ожила деревушка.

Вспыхнули огоньки в окнах; загудели солдатские голоса.

— Выходи, пятая рота! Равняйсь… Девятая напра-во!.. Смирно!..

Черная масса, тяжело шурша ногами, двинулась по деревенской улице. Прогромыхал пулеметный обоз…

И через несколько минут деревушка опустела.

Стало тихо, и в этой тишине родились странные звуки: будто где-то далеко перекатывали горох. Это долетали непрерывные ружейные выстрелы с линии сторожевого охранения…

Снег все падает; медленный и дремотный, окутывает поля пушистым теплым одеялом.

На порог хаты выходит военный доктор и, слушая нарастающие выстрелы, спокойно думает:

— Будет работа!

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1914. № 404 (22 дек.). С. 2; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 11 – 14.

В ЗЕМЛЕ

У каждой свой звук. Крошечная, случайная разница в весе, и вот одна гудит, как струна контрабаса, а другая визжит. И очень скверно визжит.

Скучно сидеть в земле и слушать эту музыку. День такой бесконечный!

Площадь моей землянки в два раза больше, чем землянки Лыкова, и, следовательно, шансов остаться целым у меня в два раза меньше. А все-таки беднягу разорвало в клочки, а я до… тридцати семи минут третьего жив. Вот тебе и лыковский «закон обратной пропорциональности»!

Пари выиграл я. Поручик сам опроверг свою глубоко правильную теорию. Расплатимся угольками.

Темнеет в шесть.

Поесть хлеба пока что… ух, ловко! Шагах в двадцати. Еще летит. Сюда же…

Ну, ну, ну!..

Дальше? Черт с тобой.

— Ваше благородие, дозвольте попросить бинокль.

— Зачем тебе?

— Австриец за рекой чего-то делает.

— Где?

— Ева-на!.. Левее чуть.

— Чего же особенного? Птицу какую-то чистит. Это и так видно… А бинокля не дам: опять винт свернешь.

Летит… Ух, ловко! На удар.

— Куда это?

— В костел. Вон как смазала… И чего они распалились сегодня?

— Ребята, не броди зря. Марш в окоп!

Винтовочный выстрел.

— Опять начал!

Уж третий день какой-то поганый австриец, спрятавшись в канаве, подкарауливает наших солдат, появляющихся на дороге и у воды.

Солдаты его возненавидели. Что-то подленькое есть в повадках этого одинокого стрелка. Только выйдешь на бережок, закуришь папироску — бум! — и мимо прожужжит пуля.

— Снимите его, братцы.

Трое взялись.

— Эн он! Во-он шапочка над кустиком… Бельма-то, черт, вертай правее.

Щелкнули три выстрела, и шапочка спряталась.

И, словно в ответ, рявкнула пушка с той стороны.

— Землячки, к вам! Хоронися…

Шрапнель визгнула и зашуршала картечью в ветвях деревьев.

Австриец, чистивший птицу, поднял голову и погрозил кулаком в нашу сторону. Это ему не прошло даром. Бедняга бросился бежать в гору, но на половине ее остановился: птицу забыл. Он поднял кверху правую руку, показывая нам, что ранен и, следовательно, надеется на наше великодушие, и вернулся за курицей.

Затем он снял кепи, махнул им и не торопясь пошел к деревне.

Солдаты благодушно провожают его взглядом.

— Рад-радешенек, что ранили, — соображали они, — домой теперь поедет.

Скучно. Половить бы рыбу, да удочек нет.

— Здравствуйте.

— А, доктор! Спасибо, что навестили. Кстати, и дело у меня к вам есть. Понимаете, ноги ломит и ломит. Я ужасно боюсь, не ревматизм ли у меня.

— Немудрено это, голубчик.

У него некрасивое лицо восточного типа, загнутый нос и огромные круглые глаза. Солдаты прозвали его «филином».

— Доктор, у вас папиросы? Откуда?

— Достал. И колбасы. Понимаете, еще горячая… Вкусная до ужаса. И все денщик. Он — гениальная личность.

— Видели Лыкова?

— Видел. Вот смерть! Вернулся в землянку за письмом от жены, едва вошел — трах! Всмятку.

— Н-да! Чего вы?

— Слышите…

— Это далеко… Хотите в преферанс, пойдемте в землянку…

— Ну вас с вашими землянками… Салицилку я вам пришлю.

***

Темно; едва сереет мутным пятном выход из моего логовища. В итоге за день — один убит и четверо ранены. Почему-то я был уверен, что Панацука убьют, и вот не угодно ли — осколок в глаз. Лицо у этого солдатика было весьма любопытное; взглянешь и думаешь: а ведь он от всего отрешился и ждет часа. Товарищи называли его блаженным… Блаженный Панацук.

Пойду-ка к ротному командиру в гости; он устроился очень мило… Никелированный самовар, чистая скатерть, ужин, маленькие барышни (целый день просидевшие в погребе, но все-таки веселые) и величественный пан — их папаша. И чего он здесь торчит! Ехал бы в Варшаву или хоть дочерей бы отправил туда, если боится за целость своего имущества…

Какая ночь! Тихо и тепло — прелесть.

— Живы, поручик?

— Жив, панна. А вы? Не простудились в погребе?

— О! Вы думаете, я очень боюсь этих фы-фы! Ничуть. Хотите, я завтра приду к вам в землянку?

— Хочу, но лучше…

— Что вы, что вы делаете? Нет, нет, нет!

Боже, какая тихая ночь!

— У вас убили офицера? — спрашивает панна.

— Да. Молодой, блондин, красивый.

— Зачем вы говорите это?

— Потому что вы спросили бы.

— И не подумала бы…

От сиденья в погребе не умнеют. Факт. Но ведь это не всякому и нужно. Юная хорошенькая панна вовсе в этом не нуждается.

Через час я возвращаюсь к себе.

Тихо бреду вдоль хранящей канавы-окопа, набитого людьми моей полуроты. Часовые, не узнавая, сердито, вполголоса, окликают меня и отходят. Вольноопределяющийся просит взаймы полтинник. Я роюсь в кармане, нахожу похожую монету и даю ему. Он щупает ее, подносит к глазам и грустно говорит:

— Если я не ошибаюсь, — это три копейки.

— У меня есть еще рубль и двугривенный, — что хотите?

— Дайте двугривенный.

— Почему же?

— Ведь меня завтра могут убить…

Я не сразу понимаю. А, вот в чем дело: умри он, и у меня пропадут целые сто копеек, в пять раз больше…

— Все-таки вы, может быть, возьмете рубль.

Он берет, провожает меня до землянки, и я проваливаюсь в ее черное отверстие.

Какая тишина и какое одиночество!

Не жилище, а могила — прелесть…

В моем кармане второй день лежит непрочитанное письмо… «Не пей сырой воды и старайся не промачивать ноги»… Дорогая мама, вы до сих пор уверены, что мой полк находится за двести верст от боевой линии, в большом селе, где он должен всю войну наблюдать, не пролетит ли над ним неприятельский аэроплан…

Ну и тишина! Ей-Богу, слышно, как скрипят мысли в моей заржавленной голове. Вяло ворочаются, словно сонные мыши… Ах, забыл: у меня есть книжка журнала — старая, разбухшая, толстая. Зажгу свечу и буду читать. Помню, иногда это доставляло удовольствие.

Ну-ка, ну-ка!.. Куда вы, дорогая? Так.

Нет, г. Муйжель[1], австрийцы не желают, чтобы я читал окончание вашего романа: из отверстия моего логовища пробивается наружу свет, и они приветствуют его снарядом. Вероятно, противник обнаружил мое занятие и нашел его предосудительным. Не будем с ним спорить.

Покойной ночи!

— Ваше благородие!

Это — вольноопределяющийся. Неужели он разменял рубль и решил разбудить меня! Вот олух!

— Вас спрашивает… дама…

Сердце сжимается и радостным и страшным предчувствием.

Та же ночь, но свет. Поднимаю голову над отверстием землянки, и где-то близко, близко шорох знакомых шагов. И, еще не видя, вижу лицо, плечи и серенькое пальто.

Как это прекрасно и как безумно, как страшно мне и какая дивная радость в том, что ты здесь. И не снится ли это?

— Бу-бух!.. Жжж…

И снова тихо.

На моей руке быстро и деловито стучат часики.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1914. № 405 (29 дек.). С. 2; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 24 – 28.

В РЕЗЕРВЕ

В поход выступают утром и идут целый день, до сумерек.

……

……

……

Седьмой час утра. Небо хмурое, серое, как неумытая солдатская физиономия, и грязная дорога, извиваясь в перерытых окопами полях, теряется в мокром осеннем тумане. Люди жмутся в мун-

[1] *Муйжель, Виктор Васильевич* (1880–1924) – русский беллетрист. Товарищество «Просвещение» издало в 1911 г. собрание сочинение Муйжеля в 11 томах. В центре многих рассказов, повестей и романа «Год» (1911) — русская деревня. В некоторых литературных произведениях Муйжеля воссозданы картины застойного мещанского быта.

дирах, но не раскатывают шинелей, зная по опыту, что в походе, через какие-нибудь четверть часа, им, нагруженным снаряжением и винтовками, — станет жарко.

Возле сомкнутых колонн, в брезентовых зеленых плащах-балахонах — офицеры.

Одному из них денщик принес кипяток в чайнике, и офицер спешно пьет чай из эмалированной кружки, торопясь успеть покончить с этим делом до команды. Кусок оставшегося от завтрака черного хлеба он прячет в карман, — пригодится в походе.

Другой офицер в это время измеряет на карте — при помощи спички — расстояние до деревушки, где сегодня вечером придется ночевать.

……

……

— Верст тридцать пять наберется! — думает он, свертывая карту и угрюмо прислушиваясь к надоевшему пушечному гулу. За его спиной солдаты говорят о походе, о том, когда раздадут обед и придет ли полк на бивак засветло. Офицеру скучно…

Но вот серо-зеленая людская масса тяжело шевельнулась и, шлепая по грязи, поползла, как лениво извивающаяся змея, пропуская в интервалы батарею и пулеметный обоз.

Какая-нибудь рытвина, треснувший мост — и весь этот человеческий поток внезапно остановится, так что задние ряды натолкнутся на впереди идущие, и люди поползут по полю, ожидая, пока вытащат завязнувшую пушку или отпрягут и тут же бросят выбившуюся из сил лошадь.

А по бокам — кустарник, изрытые поля да наполовину сожженные деревушки с черными остовами печей и закоптелых труб.

Из картошек выскочил заяц и сдуру мчит прямо на колонну… Попал в середину роты и запутался в ногах. Солдаты кидаются на него, падают, стараясь придавить его брюхом, но он выскальзывает, вырывается из схватившей его руки и снова попадает в другую.

— Держи! Лови австрияка! — гогочут солдаты, обрадованные неожиданному случаю повеселиться, но уж заяц визжит высоко в воздухе, пронизанный штыком. Счастливец, белобрысенький ефрейтор, возбужденно и сердито оглядывается на товарищей:

— Чего лезешь? Твой заяц?

И вечером, на биваке, сварит из него суп…

Поручик Ермилов набивает трубочку махоркой, драгоценной махоркой, дорого купленной у проезжавшего еврея. Он чувствует, что слева ему в рот смотрят чьи-то жадные блестящие глаза, но не поворачивает головы и глядит в землю. Когда же трубка начинает сипеть и всхлипывать, поручик, молча и по-прежнему не поворачивая головы, отдает ее солдату.

И сейчас же слышит за своей спиной шепот многих голосов:

— Миронов, оставь покурить… Три дня не курил… Дай хоть затяжечку.

Но вряд ли солдат поделится: самому мало!

— Прямо опьянел, ваше благородие, — говорит он, возвращая выбитую трубку. — Словно вина выпил… Покорнейше благодарю.

В первом часу дня полк приходит в какую-то деревушку и останавливается на короткий привал. Но проходит полчаса, и все нет команды собираться в путь. Солдаты снимают скатки и, кто сидя, кто лежа, располагаются на них. Кое-кто бежит в хаты, в тщетной надежде купить молока или яиц. Но ничего нет, ничего, кроме картофеля.

И вдруг крики:

— Кухни сюда!.. По ротам кухни!.. Подъезжай, кашевары.

От головы колонны, где верхом на вороной кобыле сидит командир полка, эти возгласы живо пробегают всю ее, растянувшуюся на полторы версты, и вот сзади, дребезжа и плескаясь кипящим супом, катят дымящиеся походные кухни.

— Выезжают на позицию!..

Солдаты раскладывают костры: они еще успеют скипятить в котелках воду и напьются чаю, а те, у кого аппетит посолиднее, сварят еще и картошки.

Офицеры обедают тут же.

Вон трое разостлали плащи на сырой земле и едят суп из общего котелка. Вместо обычных порций мяса кашевар положил им язык, сердце и мозги. Так уж установлено… Тут традиция.

Рядом денщики мастерят костер и возятся с чайником, чтобы побаловать их благородия горячим чаем.

К офицерам подходит солдатик:

— Письма, ваше благородие.

Целая кипа. Ротный командир отбирает офицерские и зычно кричит:

— Девятая рота, получать письма!

И все двести человек, с таким вожделением ожидавшие своих порций мяса и супа, бросают их недоеденными и бегут на радостный клич.

Офицера окружают тесным кольцом.

— Егоров! — выкликивает он. — Семенов Иван… Попов…

И каждый раз чей-нибудь возбужденный голос откликается:

— Мне, ваше благородие… Здеся…

И лезет вперед, неучтиво расталкивая товарищей.

Но некоторые письма ротный командир, прочитав адрес, молча кладет в карман. Но раз он ошибся…

— Попачук! — крикнул он, и кто-то тихо ответил:

— Убит.

Проходит час. Все уже напились, наелись, кое-кто даже всхрапнул, а полк все стоит. И вдруг от человека к человеку начинает ползти услышанная кем-то новость. Полк не пойдет в назначенную на сегодняшний бивак деревню, а повернет на восток, в город…, ибо их дивизия поступает в резерв.

Какая сила скрыта в слове: город!

Давно нет табаку, забыли и думать о белом хлебе и прочих вещах, без которых, как раньше казалось, нельзя и дня-то прожить… всего в тридцати верстах, но как далек он был пять минут тому назад, и как невероятно, как удивительно, что вечером уже они будут на его освещенных газом улицах, с домами, не разбитыми снарядами, и с магазинами, где можно купить все, все!

Новости верят не сразу, боясь разочароваться, но слух упорно крепнет, и наконец даже офицеры его подтверждают.

— Скорей бы выступать!

Забыта усталость тяжелых переходов и бессонных ночей, все забыто, лишь бы увидеть город, лишь бы на два, на три дня окунуться в мирную, суетливую жизнь людей, занятых торговлей, покупками, музыкой на бульваре и прочими делами и безделушками.

И ведь они заслужили этот отдых, вполне заслужили!

— Если не поздно придем — сейчас же в баню, — мечтает ротный командир, раздававший письма. — Уж и париться буду! До седьмого пота.

— А завтра пойдемте сниматься, — предлагает прапорщик. — Как есть, в полном боевом виде. Пусть в Москве ахают!

И весело кричит:

— Ребята, прибавь шагу! Только восемнадцать верст осталось.

Только. С каким ужасом думал бы он о них три месяца назад, когда путь от Страстного монастыря на Арбат и то казался ему невероятно длинным…

Темнеет… Гул выстрелов доносится теперь чуть слышно, и на него никто не обращает внимания: ведь можно же дня на три забыть о всех боевых тревогах! Полк идет теперь по шоссе, и ноги не вязнут в грязи. Легко идти.

Но вот вдали, на черном густом небе, — словно бледное зарево, это — отсвет городских фонарей.

Проходит еще час-другой, и голова колонны втягивается в первую узкую и грязную улицу города. И медные звуки музыки приветствуют ее вступление.

Сегодня воскресенье. На улицах много гуляющей публики, и она с восторгом смотрит на загрубелые и такие добродушные лица проходящих солдат. Вот девушка в платочке протянула грушу офицеру. Он взял и улыбнулся, и эта улыбка промелькнувшего человека надолго осталась жить в женской душе…

Налево огромные окна ресторана.

— Зайдем? — спрашивает один офицер у другого, и они, запыленные, но мужественные и изящные в своем походном снаряжении, входят в зал. Лакеи подбегают к ним, ибо никто не платит так щедро, как эти случайные гости.

И, — на два, на три дня, — мир, где гудят и визжат снаряды, где посвистывают пули, и люди, лежа на боку, вырывают себе ямы, чтобы схорониться от них, — стал далек и непонятен.

Пусть же этот короткий отдых пройдет весело и ярко, чтобы потом, в сырой траншее, было что вспоминать и о чем помечтать.

Гремит, гремит военный марш!

Сколько милых, ласковых женских глаз смотрит на проходящих!..

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 406 (5 янв.). С. 2; Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 38 – 43.

АТАКА

Тем, кто в эти часы смотрел на поле простым глазом, оно казалось покрытым темными кочками, какими-то синевато-серыми бугорками, которые при взгляде в бинокль превращались в австрийских солдат — то неподвижных, то шевелившихся. Было видно, как некоторые из них пытались ползти и даже вставали, ковыляя вслед за убежавшими товарищами. Кое-где белели брошенные санитарами носилки, а влево у кустов, высоко подняв к небу жерло, валялось брошенное австрийское орудие с перебитым колесом. Между ранеными и трупами, между носилками и пушками, все поле чернело предметами меньших размеров и самых разнообразных форм: тут были и винтовки, и ранцы, и лопаты, и шинели, а над всем этим, как какой-то белый балаган, возвышалась парусиновая лазаретная линейка с красным крестом на раздувающемся от ветра полотнище.

В линейке были раненые, и возле нее, не обращая внимания на приближающихся неприятельских солдат, хлопотал рыжий австрийский доктор. Солдаты равнодушно взглядывали на него, и, может быть, даже не заметив, проходили мимо, и, миновав поле, заняли фольварк, за которым полчаса назад австрийцы пытались привести в порядок расстроенные батальоны.

Здесь было очень много трупов, особенно у колодца — в жидкой растоптанной грязи. Видимо, томимые жаждой, солдаты скапливались здесь, черпая воду фуражками прямо из желоба, служившего для водопоя лошадей.

Немного подальше, у стены каменного сарая, стояли носилки с двумя ранеными, из которых один уже «отходил» и хрипел, тараща выпученные, невидящие глаза на подошедших врагов. За ним, прислонившись спиной к кирпичам, сидел офицер, прямо вытянув окровавленную ногу, и криво гримасничал, а может быть и улыбался побледневшим лицом.

Когда его взяли под руки, он вдруг весь как-то обвис и заплакал тихими жалобными слезами.

Но ему дали валерьяновых капель, вина и папирос, перевязали ногу, и через час, придя в себя, он рассказал о том, что привело их в бегство.

***

Австрийскому батальону было приказано идти выбивать противника из деревни, которую тот только что атаковал и захватил. Приказание почему-то запоздало, и велено было до соединения с другим батальоном бежать бегом.

Ночь была страшно темная. Атакующей колонны не было видно в десяти шагах, и лишь топот двух тысяч пар ног, тяжелое дыханье усталых людей да позвякиванье снаряжения указывали на то, что во тьме движется что-то огромное, тяжелое…

К деревне подходили с незнакомой другой стороны; близко она или далеко, никто не знал, всем казалось, что идут они очень давно. Вдруг впереди, в отдалении, ночь прорезалась многочисленными, быстро перебегающими огоньками… И в это же время чей-то голос визгливо крикнул:

— В атаку!

Крича и вытягиваясь в ширину, колонна рванулась вперед, не слыша ни выстрелов, ни свиста всюду снующих пуль. Под ногами забулькала вода, но и ее не заметили, и лишь только когда она как-то сразу дошла до пояса, солдаты поняли, что попали в болото, и остановились, все еще крича и топчась на месте… И вдруг так же сразу, как побежали вперед, оба батальона повернули обратно.

Утро открылось ожесточенным артиллерийским боем: русские за ночь обошли оба фланга австрийцев и повели оттуда наступление, окопавшись с фронта.

Начальник австрийского отряда еще ночью получил приказание отступить, но, понадеявшись на данные, добытые собственной разведкой, решил дождаться рассвета и утром «опрокинуть» противника.

Но к семи часам русская артиллерия «сбила» австрийскую и заставила ее замолчать. Была еще возможность отступить «с честью», но генерал, опасаясь нагоняя за промедление, решил теперь рискнуть на последнее и со своей стороны попытался было зайти во фланг обхватывающего его неприятеля.

Но маневр был неудачен.

Австрийская обходная колонна, деморализованная артиллерийским огнем, была наполовину уничтожена русской пехотой, а остатки ее, спасшиеся бегством, принесли сидящим в окопах товарищам страшное слово:

— Обошли!

Приказано было отступить, но было уже поздно.

Русские почти кольцом обложили австрийский отряд и десять верст гнали его по узкому перешейку под перекрестным шрапнельным огнем.

Бросая орудия, пулеметы и обозы, тридцать тысяч человек неслись, как листья, подгоняемые ветром, полубезумные от усталости, жажды и ужаса.

Вот один обессилел и упал, но в небе что-то летит, жужжит, как огромная приближающаяся муха… Все ближе, ближе… Вот будто остановилась и

— Дзяу!..

Мяукнула своими двумя с половиною сотнями пулек, и человек снова вскочил и снова бежит, пока мозг не выдержит, а душа не впадет в полное безразличие.

Опубл. и печ. по: Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 20 – 22.

В ОФИЦЕРСКОЙ ПАЛАТЕ

Торопливые шаги как белое привидение промелькнувшей сестры гулко раздаются в длинном полуосвещенном коридоре. В ее руках шприц с камфарой и ватка, пропитанная эфиром. За сестрой тяжелой шаркающей походкой прошел старший ординатор, и коридор снова погрузился в угрюмую вечернюю дрему. Но в офицерской палате уже знают, что в госпитале тревога, что чье-то сердце перестает биться, хриплым становится дыхание и на посиневшем лице крупными каплями выступает пот.

И потому в комнате тихо. Над столом, заваленным газетами и журналами, ярко горит газовый рожок, и четкие тени упали на белые стены и потянулись вверх, расплываясь к потолку.

Почти все кровати пустуют; сегодня пасхальная ночь, и офицеры, за исключением троих, ушли к заутрене…

Тихо, из угла в угол просторной палаты прохаживается дважды раненный прапорщик Лебедь. Он — маленький, ласковый и немолодой; товарищи, смеясь, называют его «старичком».

Худенькая, сгорбленная фигурка в синем халате. Ручки спрятаны за спиной в рукава… Он из Ярославля, и в нем есть что-то глубоко провинциальное, черноземное.

С ним приятно беседовать.

Подойдет, присядет на кровати, и о чем бы ни заговорил — спокойный и ласковый тенорок напомнит вам узенькие, проросшие травой улицы, маленькие домики и широкую спокойную реку. И видит слушатель, что душа у этого прапорщика такая же — широкая, спокойная и милая.

Спросишь:

— А что вы думаете о смерти?

И «старичок» так расскажет о ней, что исчезнет страшная злая старуха, расплывется угрюмое представление, и все станет ясным и простым…

Направо от меня другой офицер — поручик Лотов.

Стоит мне повернуть голову, и я встречаюсь с неподвижным взглядом его огромных черных глаз. Целые дни он полулежит на высоко поднятой подушке, и от его лица веет какой-то упорной и грустной думой. И моему возбужденному воображению кажется, что он никогда не спит… Ночью, когда я просыпаюсь и меня вдруг начинает угнетать беспричинный страх, я приподнимаюсь на кровати и тихо спрашиваю:

— Сергей Павлович, вы не спите?

И спокойный голос неизменно мне отвечает:

— Нет.

Третий — я.

Днем в клетках моего мозга царит хаос, и только вечером, когда зажигают газ, я успокаиваюсь, и в «субъекте с временно ослабленной деятельностью сердца»[1] (так однажды отрекомендовали меня генералу) пробуждается наблюдатель.

Скрипит дверь.

В сереньком платье и белой косынке входит дежурная сестра. Она направляется к Лотову, с улыбкой поправляет подушку и садится рядом поболтать.

Разговор делается общим.

---

[1] Возможно, речь идет о сердечной недостаточности. Несмелов, как известно, страдал от болей в сердце, инфаркт стал причиной его смерти в Гродековской тюрьме.

Я вспоминаю, что завтра Пасха, что идет весна, что брови старшего ординатора, выслушивающего по утрам мое сердце, уже не хмурятся так, как раньше, и мне становится весело, весело… И я начинаю рассказывать анекдоты, один за другим, и мое оживление передается слушателям.

Смеется сестра и Лебедь, улыбается Лотов.

Потом спохватываются.

— Перестаньте, — говорит сестра. — Скоро запоют Христос Воскресе.

И подходит ко мне.

У нее юные глаза, и взгляд их, взгляд монахини, спокойно встречается с моим. В нем ничего не прочесть, и он так просто и спокойно скользит по лицу. Но пальцы, считающие пульс, горячи, и там, где они касаются моей руки, возникает странное ноющее ощущение. И тогда в ее зрачках зажигается что-то золотое…

Входит дежурный ординатор. У него нервно подергиваются брови, и я не спрашиваю о том, кому вспрыскивали камфару… Только от радостного моего настроения не остается следа.

Скоро двенадцать.

— Христос Воскресе?

В окна вплывает жидкий звон трех местных церквей, и невольно вспоминается Москва с ее могучими перезвонами. «Старичок» устал ходить и прилег. Спать не стоит: скоро придут товарищи от заутрени и наполнят палату веселым говором.

Высокий, тощий Спиро слоняется между кроватями, рассказывая свои впечатления. Его опьяняет весна; он не хочет спать. И тишина воцаряется не скоро.

Гаснет газовый рожок.

В палате сумрак, шорох, дыхание сидящих и сухое покашливание Лотова. Он не спит и, высоко поднятый на подушках, смотрит в темноту.

Над головой, в верхних палатах изредка слышны шаги. Вот прошел хромой с костылем, вот двое несут что-то тяжелое, а вот торопливые, быстрые и мелкие шажки сестры: верно, опять камфара…

Госпиталь не засыпает и ночью.

Протяжно и нудно стонет где-то больной. Унылое: «Ох, батюшки… А-а!..» лениво ползает по коридору. Ух! — хлопает дверь, и звук похож на отдаленный пушечный выстрел.

Моему соседу слева снится бой, он выкрикивает команды и бормочет что-то сердитое.

— Ох… ы-ы!.. а-а… — несется из коридора нескончаемый стон.

— Лотов, вы не спите?

— Нет. Успокойтесь…

Медленно ползут минуты. Скрипит дверь. Это дежурная сестра пришла проведать офицерскую палату.

— Посидите со мной, сестричка… Мне сегодня не заснуть. Опять начинаю задыхаться.

— Закройте глаза, спите… Не надо.

— Но отчего?

— Не надо. Не открывайте глаз. Спите, спите…

Тишина…

Мутно белеют светающие окна. Сестра освобождает руку и тихо встает. И что-то материнское есть в ее фигуре, когда она на цыпочках выходит из палаты…

— Господи! — думает она, проходя гулким и холодным коридором. — Все больные одинаковы и все так похожи на детей.

Она очень устала.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 417 (26 марта). С. 3.

У ПЕРЕПРАВЫ

Пришли под вечер и против плотины, где гудела и дрожала старенькая мельница, вырыли окоп для полуроты, постелили в него соломы и стали ужинать. Догорала заря за речкой, где сидели наши секреты, как огромный багряный веер. В господском доме совсем близко засветились окна, и кто-то шалил, наигрывая на рояли то гаммы, то матчиш, а то и просто какую-то путаницу из мотивов.

Где-то далеко рычали пушки, и солдаты, отрываясь от котелков с похлебкой, поворачивали головы и, прислушиваясь, говорили как о надвигающейся грозе:

— Ишь, гремит… Все ближе.

Два офицера полуроты, подпоручик и прапорщик разбили палатку на дворе халупы и, лежа на раздвижных кроватях, курили, пили чай и разговаривали. Где-то поблизости укладывались спать денщики и посмеивались, ворочаясь на соломе. Надвигалась ночь, душная, теплая и ленивая.

Прапорщик, пожилой бородатый мужчина, устал от похода и был не в духе. Его раздражала безалаберная игра на рояле.

— Жарят в открытое окно, — прямо за реку… Верст на пять слышно, наверно, — угрюмо ворчал он. — Может быть, шпионы… Не люблю я поляков здешних…

— А ведь возможно, — подумал подпоручик и сейчас же, как стальная пружина, соскочил с кровати. Был он плечистый, веселый и добрый мальчик, и его радовало, что он может пойти к богатому важному польскому помещику и приказать прекратить игру на рояле.

— Останьтесь за меня, Михаил Иванович, — сказал он товарищу, — я пойду проверить часовых.

И, пристегнув шашку, он нырнул в выходное отверстие палатки, куда уже давно глядела ночь.

Прапорщик остался один.

Его бородатое лицо обмякло и как-то обвисло. Кряхтя и морщась, он достал бумагу и стал писать письмо.

— Твои причитания и стоны, — писал он, — отчаянно действуют мне на нервы; или пиши по-человечески, или совсем не пиши… А то и без тебя тут…

Прапорщик опомнился, достал другой листок бумаги и, сделав плаксивое лицо, вывел:

— Милая Любочка, напрасно ты беспокоишься, нервничаешь и сама себя мучаешь. У меня все благополучно, и живу я очень хорошо. Деньги я тебе давно перевел и удивляюсь, почему ты их…

— Ваше благородие, из секрета с донесением!

Солдат стоял у входа в палатку, не решаясь в нее войти. Свеча бросала красный отблеск на его усатое лицо, медную бляху пояса и затвор винтовки.

— Ну, что такое?

— Так что австрийцы.

— Что?.. Какие австрийцы?

Офицер вскочил.

Две недели назад, будучи еще в Москве, он столько раз пытался представить себе этот момент, момент, когда ему скажут:

— Близко враг!

И не мог.

Это слово казалось лишенным всякого содержания и ничего не возбуждало в душе. Теперь же оно заставило напрячься ленивые стареющие мускулы, и на лице прапорщика появилось еще никогда не бывалое выражение твердой и холодной строгости.

Радостно принял известие о приближении врага подпоручик. Ему было весело. В фольварке он встретил несколько хорошеньких девиц, и короткая болтовня с ними оживила и наполнила его душу восхитительным чувством.

Выслали еще несколько дозоров за реку, написали донесение начальству и стали ждать.

Глубокой ночью удалось захватить австрийского гусара, белокурого веселого чеха, очень довольного тем, что война для него окончилась так благополучно. Он рассказал, что к переправе идет авангард целого корпуса, ибо именно эту переправу считают особенно важной.

— У нас думают, — тараторил солдат, — что вы сосредоточили здесь большие силы, и везут для вас тяжелые пушки.

Поручик послал еще донесение и получил приказ насколько возможно испортить переправу и, задержав противника до восьми часов утра, отойти к главным силам.

Сейчас же закипела работа.

Солдаты с топорами и мотыгами бросились к плотине, сломали два прорезывающих ее мостика и в несколько часов до неузнаваемости изуродовали ее.

Светало, когда полурота вернулась в окопы.

А на враждебном берегу реки, еще темном и мутном от тумана, уже замечались признаки чуждой жизни. На пролегавшем за рекой шоссе непрерывно глухо рокотали колеса, и казалось, что там ползет что-то огромное и страшно тяжелое. А когда туман исчез у леса, над которым вчера так красиво пылала заря, выросли бугорки австрийских окопов. Маленькие, горбатые от ранцев человечки в синем изредка показывались на опушке, перебегали куда-то и исчезали. Редко потрескивали выстрелы.

— Отвечать не будем, ребята, — сказал поручик, садясь на бруствер и в бинокль рассматривая расположение австрийцев. — Подождем, пока сунутся к переправе.

Прожужжавшие пули, несомненно, предназначались ему. Он это знал, и ему приятно было сознавать, что он может заставить себя не бояться смерти. Но, повернувшись к солдатам, чтоб крикнуть им что-нибудь веселое, он встретился со строгим взглядом какого-то старого солдата, и ему показалось, что он немного бравирует.

— Слезьте, ваше благородие, — спокойно сказал солдат. — Зачем мишенью быть?

В это время по гребню горы, где был вырыт окоп, сгорбившись и раскачиваясь на ходу, торопливо шел отправлявший донесения прапорщик. Уже ясно было видно недовольное выражение его лица, как вдруг в воздухе появился мощный и все нараставший звук, и по мере того, как он превращался в яростный все заглушающий вой, солдаты все ниже и ниже спускались в окоп и, согнувшись, прижавшись головой и грудью к земле, чувствовали, что и она дрожит. И мгновение было непереносимо долгое и тягостное.

И не сразу после взрыва солдаты пришли в себя. Но вот двое и трое из них подняли головы, а за ними и все остальные.

И солдаты увидели, что там, где раньше шел прапорщик, вырыта в земле яма и к этой яме торопливо идет их полуротный. Кто-то поднялся и пошел туда же. Но яма была пуста. Только на дне воронки лежал какой-то странный предмет. Солдат спрыгнул вниз, поднял его и показал офицеру: это был каблук.

А уж в воздухе снова загудело. Но теперь снаряд был послан в фольварк, и в доме, куда он попал, вспыхнуло пламя.

В восьмом часу австрийцы прекратили артиллерийский обстрел, решив, что переправа покинута русскими. И когда они с досками и топорами засуетились на плотине, подпоручик, напряженный, бледный и весь дрожащий от какой-то новой, не испытанной им еще злобы, стал залпами обстреливать мельницу.

— А-а! — завыло и загудело на плотине. Что-то отвратительное было в бестолковой сумятице, поднявшейся среди синих горбачей, и так приятно, словно кнутом, хлестал их толпу короткой и резкой командой: — пли!.. пли!.. пли!..

Через полчаса, широкой цепью, полурота отходила к недалекому лесу, оставив австрийцам изрытый снарядами берег.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 418 (30 марта). С. 3.

НОЧЬЮ

…Вечером австрийская артиллерия зажгла несколько скирд, и огромные костры пылающей соломы осветили поле фантастическим и шатким светом. Было холодно, и ярко-красные, раскаленные груды золы манили к себе солдат уютным золотым теплом, но когда на светлом фоне появлялись их черные, четкие фигурки, — где-то сзади щелкал выстрел, и, приятно посвистывая, летела на огонь свинцовая муха.

И солдаты прятались.

По шоссе, к линии затихшего боя, подходили новые части, останавливались по тихой команде, сворачивали в сторону и ложились в канаву. Офицеры проходили дальше, к маленькой землянке, и здесь быстро разбирали боевые участки, изучали карту при свете электрических фонариков, и ночное угрюмое поле сразу становилось таким же знакомым, как московская Ходынка.

Вот двое попрощались с тихо разговаривающей группой товарищей и короткой командой подняли свою роту из тысячи лежавших во рву солдат.

Тяжелая черная масса шепотом разговаривающих людей быстро выстроилась, выровнялась и поползла в ночь, позвякивая котелками и снаряжением. У какого-то полуразрушенного строения рота вновь остановилась и легла на разбросанной повсюду соломе. Ротный командир ушел выбирать позицию, и сморенные усталостью люди сейчас же стали засыпать.

Где-то далеко, отбивая ночную атаку, трещал пулемет и слышались звуки австрийских рожков. Вот закричали «ура» — это наши встретили врага штыками; и все затихло. А через пять минут, словно швейная машинка, затрещал пулемет в другом месте, ближе…

Слева, где ночь была непроницаемо-черна, вспыхнул мгновенный круг желтого пламени и раскатисто ухнула пушка, отбивавшая часы на нашей батарее.

— Бум! — ответили австрийцы, и, далеко перелетев лежавшую роту, блеснул синий огонек разорвавшейся шрапнели.

Поднялся ветер и взвил над догорающими скирдами высокий сноп золотых искр. Офицер, оставшийся с ротой, встал; его знобило, и он, словно часовой, зашагал около спящих солдат.

Близко зашуршали шаги.

— Кто идет?

— Офицер Н… полка. Часовой?

— Нет… тоже офицер.

Из темноты вынырнул высокий человек в непромокаемом плаще с поднятым капюшоном.

— Здравствуйте, — офицеры пожали руки и замолчали, приглядываясь друг к другу.

— Что новенького? Мы пришли к вам на подмогу… Трудный был день?

— Семнадцать атак отбили! — сонно ответил вновь прибывший. — Семнадцать! Устали, как черти.

Из капюшона, освещенное огоньком папиросы, глядело худое лицо с усталыми, часто мигавшими глазами.

— Я за соломой сюда пришел, — зевая, сказал офицер. — Сыро в окопе.

И, уходя, посоветовал:

— Не ройте окоп канавой… Мы днем очень страдали от флангового огня.

Снова шаги: идут несколько человек, и один слабо постанывает: два наших солдата ведут раненного австрийца.

— Офицер?

— Так точно.

Солдаты остановились, видимо, обрадованные случаю отдохнуть, но раненый, согнувшись и плача, тянет их вперед, придерживая живот обеими руками.

Ушли.

— Ж-ж! — где-то близко жужжит, кувыркаясь, шальная пуля. И снова тихо. Пулеметы замолчали; наступил момент, когда отдых стал необходим и нам, и австрийцам.

— Ребята, вставай! Ну, стройся живо… Поворачивайся!

Это вернулся выбравший позицию ротный командир.

— Влево по линии… в цепь! Шагом… марш. Не разрывайся…

Прошли шагов триста и остановились. Сняв амуницию и положив сбоку винтовки, стали окапываться. Кряк, кряк, вгрызались лопаты в твердую каменистую землю… Трудно поддавалась она, и солдаты ворчали, торопясь поскорей покончить со своею ямой и лечь в нее.

Вот один вырыл себе «могилу» надлежащей глубины, выровнял бруствер и, бросив на дно охапку соломы, прыгает сам.

И сейчас же из окопа раздается храп.

Офицеры укладываются последние. Они ходят вдоль работающих солдат и, встречаясь, перекидываются одной-двумя фразами, и снова идут, торопя и понукая замешкавшихся.

— Поздно? — спрашивает ротный командир.

— Три часа.

— Ужасно устал, — говорит офицер и зевает. — Спать хочу…

Но вот все готово; покончено с окопом, расставлены, где нужно, часовые. Можно на покой.

Офицеры прощаются; их ямки на разных концах участка, а утром, на рассвете, начнется бой. Увидятся ли они еще раз? Может быть, первая же пуля покончит с одним из них… А потому рукопожатие выходит более продолжительным, чем обыкновенно.

Уже из темноты ротный командир кричит своему субалтерну:

— Виктор Иванович, не хотите ли кусочек хлеба? У меня есть.

— Нет, спасибо, — отвечает тот и идет разыскивать свою «могилку», как солдаты прозвали окопы, вырываемые отдельными ямками.

Вот она. На дне есть солома, и лежать будет мягко.

Шинель у офицера широкая, а если расстегнуть еще хлястик и поднять воротник, то в нее можно завернуться, как угодно. И будет тепло.

Теперь надо закурить папиросу, и в «могиле» будет очень уютно…

Боже, как хорошо лежать так, не двигаясь, не думая ни о чем… Даже жаль засыпать, хочется продлить эти минуты блаженного покоя, но сон сам закрывает глаза…

Тишина, тишина, тишина…

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 421 (20 апр.). С. 3.

ВБЛИЗИ

Жизнь в городке протекала так скучно и однообразно, что Вера принялась готовиться к переэкзаменовке по алгебре, хотя был лишь конец июля. Ничего не поделаешь, так скучно жилось в это лето!..

И вдруг все разом изменилось, зашумело, замахало экстренными выпусками местной газеты, и над улицей повисло волнующее и жуткое слово: война… С музыкой, в последний раз, промаршировал к заставе местный полк и ушел к близкой границе. Другие полки потянулись через городок, и жалкие еврейские лавчонки наполнились незнакомыми солдатами, спешно закупающими в дорогу табак и съестное.

Скоро где-то далеко, на западе, глухо зарокотало что-то похожее на гром, и в темные ночи точно зарницы вспыхивали там. И долго никто не мог понять, что это такое, пока кто-то не сказал неуверенно:

— Да ведь это из пушек палят!

И все засуетилось.

Заголосили еврейки, собирая в повозки домашний хлам, забегали купцы, запирая магазины, и весь город стал похож на взбудораженный муравейник. Но прошел день-два, и все снова успокоилось, улеглось; пушки гремели то ближе, то дальше, а на них никто теперь не обращал внимания, продолжая, как в прежние дни, заниматься своим делом…

В городке стало бы скучно, если бы не новые полки', каждый день проходившие через него, если бы не новые люди, наполнившие кривые улицы нервной и веселой жизнью…

Пришел новый полк из столицы и на несколько дней расположился биваком в ближайшей деревушке. Солдаты шли с музыкой, и были все такие рослые, что евреи в восторге хлопали себя по бокам и от удивления приседали.

Из окна своей комнаты смотрела и Вера на проходивший полк. Медные звуки марша, мощно льющиеся с улицы, опьяняли ее так же, как и ее маленького брата. Перегнувшись через подоконник, она смотрела на плавно идущие зеленые ряды и, сдерживая слишком забившееся сердце (отчего как будто строго сдвигались ее брови), вглядывалась в веселые, улыбавшиеся ей солдатские лица.

Вот прошел толстый офицер с седыми усами, вот лихо марширует молоденький солдатик… Он истово машет левой рукой и, видимо, очень доволен собою. Славный солдатик!

А вот перед ротой, может быть, замещая старшего товарища, едет на красивой лошади молодой офицер. На его защитной фуражке, — продетая за кокарду, — яркая роза… Ремни походного снаряжения, стягивая гимнастерку, так красиво обрисовывают сильную выпуклую грудь… Офицер легко сидит на лошади; он очень молод и так же, как лихо марширующий солдатик, рад маршу, рад тому, что на него смотрят, и не может не улыбнуться милому личику девушки в окне. Он даже делает движение, похожее на желание повернуть лошадь, и, проезжая, несколько раз оборачивается на Веру.

Девушка сильнее сдвигает брови и не поворачивает головы. Потом, когда полк проходит, она спрыгивает с окна и забивается в угол дивана. И так она сидит до вечера, пока ее не зовут к чаю.

А после, в первый раз за несколько дней, она надевает шляпку, серое модное пальто и выходит на улицу. Вечер тихий и ясный. По тротуару медленно движется разодетая толпа барышень и местных франтов, и рядом по мостовой, сонно громыхая, ползут лазаретные линейки, и из одной, с откинутым задним полотнищем, смотрят чьи-то бледные лица.

Нарушая правильное, медленное движение гуляющих, неучтиво расталкивая их толпу, торопятся куда-то солдаты-посыльные с сумками и винтовками на ремне, и козыряют на огромные окна «цукерни», за которыми пьют кофе веселые группы офицеров. Среди них, у самого окна, Вера узнает и сегодняшнего всадника.

Без фуражки — он совсем мальчик и смеется, как ее младший братишка…

Офицер узнал ее и поклонился… Но Вера не замечает. Лишь глаза ее делаются темными и глубокими да маленькие яркие губы вздрагивают, словно от укола.

Девушка проходит в сад, но там многолюдно и скучно. Дора рассказывает о каком-то прапорщике; Ян Сломчинский глуп по-прежнему. Вера сердится и уходит домой.

А на другой день утром она на пустынной Бернардинской улице снова встречает вчерашнего офицера. Он издали заулыбался ей, и улыбка сделала его лицо таким смешным и милым, что строгие глаза девушки вдруг засветились насмешливо и тепло.

— Вы так строго смотрели на меня вчера, — сказал офицер, прикладывая руку к козырьку фуражки, — что мне хочется спросить, чем я провинился? Подпоручик Нагродский.

Вера протянула ему руку, и они пошли вместе. Тихая Бернардинская улица привела их в княжеский парк, и они долго бродили по темным аллеям, где шелестел ветер и шуршал золотой опадающий листвой.

Подпоручик рассказал Вере, что произведен он в офицеры только три недели назад, что их полк простоит здесь пять дней и что цыганка, забредшая в вагон воинского поезда, предсказала ему быть убитым в сентябре.

— Жить еще так много! — смеялся Нагродский и, вынимая блестящую новенькую шашку, лихо рубил ею нависшие ветки каштанов. — Целый месяц жизни!..

На горе сели отдохнуть.

Отсюда были видны убегающие к горизонту бесконечные пашни, серебряная извилистая речка и деревушки. Где-то далеко погромыхивали пушки, и, слушая их непрерывный рокот, печальным стало личико девушки.

Она взглянула на офицера, но он, как и раньше, был беспечен и весело встретил ее серьезный взгляд.

— А что если вас убьют через неделю? — строго спросила она.

— Зачем? — наивно удивился Нагродский. — Ведь цыганка сказала, что в сентябре.

И, сконфузившись, замялся, виновато взглянув во внимательные Верины глаза.

— Я не верю, конечно, в предсказания, — начал было он серьезным тоном. — Но я в корпусе еще заметил, что для меня роковой месяц — сентябрь.

И он снова замялся.

Верины глаза засветились, как утром; чей-то голос властно приказал ей придвинуться ближе к подпоручику, обнять его за шею и поцеловать в губы. Она так и сделала.

……

На следующий день они встретились снова. Вера была весела, как подросток; она бегала по аллеям, рубила ветки шашкой поручика, но когда тот умолкал и тянулся к ней, — ее глаза становились строгими и черными, и наступала минута неловкого молчания. А в последний, накануне ухода полка, день приказала Вера Нагродскому быть в парке рано и, сказавши родным, что уходит к подруге, с утра убежала из дому.

Девушка пришла грустной и тихой, и, привыкнув уже подчиняться ей, затих и офицер…

Долго гуляли, а потом молча сидели рядом, иногда встречаясь взглядами, от которых Верино сердце сковывала печаль.

Шуршали золотые падающие листья и нашептывали печальное предсказание:

— Убьют красивого мальчика, скоро убьют… не дожить ему до сентября.

И вместо этих глаз, поблескивающих золотыми искорками, будут черные впадины, в которые набьется земля. И губ этих не будет, и белые кости блеснут ярко.

Вера заплакала.

Слезы вольно, без усилия потекли по ее щекам и упали на траву крошечной лужайки. Офицер обнял девушку, и та вся прильнула к нему, целуя его лицо и гладя.

— О чем, милая? О чем, Веруся? — спрашивал он, заглядывая ей в глаза, и в его голосе звучала нежная ласка. Он не понимал ее слез, а она молчала, робко отвечая на его ласки.

И в сердцах обоих родились огненные струи.

Как и раньше, властный голос приказал девушке: целуй его, люби его. И не было сил бороться с сладким очарованием…

А после прощалась с ним, и плакала навзрыд, и целовала его руки, и обнимала колени… Ибо знала, что расстается навеки. И навеки будет болеть в ее сердце кровоточивая рана.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 422 (27 апр.). С. 3 (вне обычной рубрики).

НА ПЕРЕЕЗДЕ

Горячее солнце накалило рельсы, и над ними дрожат струйки теплого воздуха. Словно стрела, ровная и прямая, лег между холмистых полей железнодорожный путь — протянулся желтой лентой к синеющему на горизонте лесу.

Кругом душная летняя тишина.

За целый день ни одного поезда; последний прошел ночью: он увозил железнодорожных служащих.

В том месте, где по склону невысокого холма к пути подошел березовый перелесок и краснеет крыша переездной сторожки, — копошатся солдаты. В бинокль видно, как они перерывают насыпь, устраивая поперек ее окоп. Другая группа крошечных человечков роет укрепленьице на гребне холма, и я различаю среди них Евгения Ивановича, объясняющего что-то солдатам. Он машет руками, перебегает с места на место и, вероятно, бранится, по обыкновению волнуясь.

Моя полурота с окопом покончила. Бруствер свежей землей чернеет на сером фоне пашни, а сзади, в двухстах шагах, — опушка деревни, чистенькие халупы польских панов, радушно встретивших моих запыленных солдат.

Тепло и тихо… Не верится, что есть действительная необходимость в этом постоянном вглядывании в дымные очертания гребней далеких холмов. А между тем эта ласково синеющая даль таит в себе сильного, подходящего к нам врага.

— Ваше благородие! — подходит солдатик. — Эна, возле мельницы запылило… не разъезд ли?

Смотрю в бинокль, но у мельницы пусто. Это порыв ветра взвил столб пыли и несет его по дороге. Мне интереснее другое:

я давно слышу глухой шум, похожий на тот, который производит далеко идущий поезд.

Так и есть — он.

Паровоз, товарный вагон и платформа, и все это набито всюду прицепившимися солдатами. Они облепили котел паровоза, выглядывают из будки машиниста, висят на тормозах, и даже на крышу вагона взгромоздилось несколько человек.

Поезд остановился у переезда.

К паровозу подходит Евгений Иванович, здоровается с кем-то за руку и что-то говорит, показывая рукой на запад. Счастливец, ему предлагают папирос?.. Там, в крепости, откуда пришел поезд, папиросы не редкость, а у нас — великое лакомство. Не пойти ли и мне к переезду?

Поздно… Там уже засуетились; выскочившие из вагоны солдаты карабкаются обратно, и, без свистка, трогается паровоз. Прощайте…

От деревни движется ко мне сутулая и нелепая фигура денщика. Рожа у него веселая и жуликоватая, а в руках узелок.

— Ну? — спрашиваю я с любопытством. — Чего сияешь?

Денщик лезет в карман шаровар и достает оттуда плоскую, до половины чем-то наполненную бутылку, а из узелка — польскую, еще горячую колбасу.

— Рум! — важно поясняет он. — Купил у пана за шесть гривен.

И, сделав заговорщическое лицо, шепотом советует:

— Выкушайте, ваше благородие, одни… На всех господ офицеров все равно мало будет, только аппетит раздразните…

Собственно, он прав, но у нас «коммуна», и я считаю нечестным нарушать ее традиции: вино, табак и другие редкие вещи принято считать общим достоянием, и они делятся на три части, по числу офицеров роты.

Нашей «штаб-квартирой» выбрана переездная будка. Денщики давно уже обосновались в ней, и еще в сенях я слышу запах чего-то жарящегося и веселый женский смех. У стола, распоясавшись, в благодушной позе, сидит Евгений Иванович и отдыхает. Перед ним глиняная кружка с чаем и хорошо знакомый мне металлический стаканчик от фляги…

На кровати в угрюмой позе сидит старик — переездный сторож.

— Вот, — кивает на него Евгений Иванович, — оставили старика здесь… Все железнодорожное начальство удрало, а о нем забыли. Хорошо, нечего сказать.

Сторож угрюмо вздыхает и отворачивается. Евгений Иванович переводит взгляд на красивую девушку, переворачивающую на огне тагана нашего гуся, и улыбается.

— Хороша дочка у старика, — говорит он. — Красавица… Удивительный здесь народ!

Девушка стреляет в нашу сторону глазами и начинает старательно вертеть шипящую птицу. Старик печально вздыхает.

В открытое окно просовывается черное от загара лицо унтер-офицера Рубленова.

— Ероплан, ваше высокоблагородие! — докладывает он. — Летит от австрийцев.

— Обстрелять! — приказывает Евгений Иванович и, меняя благодушное выражение лица на строго-начальническое, выходит на крыльцо.

Высоко-высоко, блестя на солнце распростертыми крыльями, летит австрийский самолет; к нам несется плавный стук его пропеллера. Солдаты с жадными лицами заряжают винтовки и ждут команды…

— О, Господи, цо то бенди[1]! — слышу я шепот за своей спиной… Это выглянула из сеней побледневшая дочка сторожа, всматриваясь в высоко плывущую птицу. — О, цо то бенди…

— Ничего «не бенди», — смеюсь я. — Ничего, ничего не будет.

Она отступает в сени, медленно пятится в темный угол, и оттуда красиво блестят ее глаза. Они уже улыбаются.

— Высоко, слишком высоко! — слышу я за собой голос Евгения Ивановича. — Не будет стрелять… Разрядить винтовки, ребята!

Вечереет…

Вернулся с разведки прапорщик Ломов. Усталый и злой, написал донесения и лег спать, сказал, чтобы его не будили. Старик стал собирать в узлы свой скарб и потащил его куда-то, сказав:

— Закопаю…

---

[1] Что же будет (*польск.*).

Дочка уныло сидела в темном углу у печки. Тонкая и печальная, совсем сиротка… Евгений Иванович дремал за столом; иногда он вздрагивал и начинал прислушиваться: ему всегда в сторожевках мерещились тревожные свистки с постов.

Я вышел на крыльцо. Ночь была тихая, теплая и безлунная; прямо на траве, около домика спали солдаты, и трудно было между ними пробиться к рельсам.

А рельсы гудели и вздрагивали; без огней и свистков пронесся мимо сторожки давешний поезд, возвращаясь в крепость. С него что-то крикнули, и к моим ногам упала маленькая корзинка. При свете электрического фонарика я увидел, что в ней было несколько пачек махорки и записка.

Когда я возвращался назад, в темных сенях сторожки что-то зашуршало. Я остановился, хотел двинуться на шорох, но раздумал и вошел в комнату. Угол у печки, где сидела давеча дочка сторожа, был пуст.

— Будить людей! — крикнул дежурному в открытое окно Евгений Иванович, прочитав записку.

— Прапорщик Ломов, вставайте!

И мы стали разбирать свои шашки и револьверы, торопливо одеваясь. Рядом засуетились денщики, собирая наши вещи, складывая кровати и вытаскивая их на повозку.

Скрипнула дверь, и на пороге появился сторож.

— Ну, старик, собирай свои манатки, бери дочь и уходи отсюда! — крикнул ему Евгений Иванович и вышел на улицу. — Торопись, пока не поздно…

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 423 (4 мая). С. 2.

КАПИТАН С.

Целые дни — в походах; идешь с утра до вечера и, когда надоест кричать на отстающих солдат, — невольно начинаешь думать. Сначала, если мысль принималась копаться в тех областях, куда раньше и не заглядывала, капитан С. снимал фуражку, тер лоб и морщился от напряжения; но теперь это прошло… Только лицо его в эти минуты становилось наивным и принимало вопросительное выражение, словно спрашивало:

— Неужели я делаюсь философом?

И, прежде всего, офицер понял, что война сделала его совершенно иным, новым… Прежнего капитана С. беспокоил вопрос о новом пальто для дочери-курсистки, волновал отзыв начальства и прочее, – все то, что теперь стало таким безразличным и далеким… Три четверти души словно умерло, а последняя четвертушка образовала новую душу, для которой жизнь началась лишь с того момента, как эшелон был посажен в вагоны воинского поезда и покинул М. Действительностью стали походы, ночевки в польских деревушках и фольварках, тревоги, бои — словом, все, что называлось войной.

На смирной лошадке, таскавшей до своей лошадиной мобилизации извозчичью пролетку, — ехал С. перед ротой и с удовольствием вспоминал вчерашний день. Денщики достали где-то каравай белого хлеба, зажарили свинины, и обед получился прекрасный… Халупа, выбранная для ночевки, оказалась очень чистой, и блохи ночью почти не беспокоили.

Прекрасно слагается и сегодняшний день… Тепло, тихо; солнце греет совсем по-летнему; к четырем часам полк придет на бивак, и весь вечер можно будет отдыхать. Ведь сорок шесть лет все-таки сказываются…

Любит капитан, покушав и отдохнув, поболтать с прапорщиком о чем-нибудь пустяковом и веселом, а потом лечь на складную кровать и дремать, изредка потягивая из трубочки-носогрейки.

Весь день С. пребывал в прекрасном настроении и, вглядываясь прищуренными добродушными глазами в зеленеющие поля, широко раскинувшиеся по обеим сторонам дороги, думал о том, как приятно и мило можно жить на войне, если знаешь, что жить все равно осталось не много, а жена и дочь после его смерти хорошо будут обеспечены пенсией… Ведь для них сделано все, а следовательно, теперь о семье можно и не думать: слишком много было передумано о ней до войны…

***

…Чтобы не расстраиваться, С. даже вышел из хаты, когда прапорщик начал приготовляться к писанию писем и, вздыхая, выложил на стол конверты и бумагу… Рыхлый был прапорщик, баба, не нравился он капитану С.

Но, побродив по деревне, капитан снова вернулся в халупу; не удалось развлечься ни деловой беседой с фельдфебелем, ни легкомысленным разговором с дивчиной у колодца — испортил-таки настроение проклятый прапор.

— Дай открыток! — сердито крикнул капитан своему денщику и стал писать жене сразу три письма. Одно он пометил пятым апреля, другое двенадцатым и девятнадцатым — последнее. Денщик должен был отправлять их соответственно числу, и теперь капитан мог не думать о семье в течение трех недель.

— Смотри, не перепутай, дурень! — весело приказал он солдату и, чтобы опять чем-нибудь не расстроиться, ушел к батальонному командиру играть в преферанс.

Там он выпил несколько рюмок коньяку и окончательно решил, что на войне лучше, чем дома. Взять хотя бы его старую болезнь: как напугал его полковой врач перед самой войной! Постукал по коленке, поделал что-то с глазами и вдруг объявил, что дела плохи… И все оттого, что коленка не дрыгает, что какие-то там рефлексы утрачены…

Ужасно все это было неприятно; болтливый доктор рассказал об этом товарищам, и к капитану стали относиться в полку как-то странно: не то с боязнью, не то с сожалением…

…А жена все советовала «полечиться»… Дочка плакала…

Все это, конечно, глупости, и доктор (недаром называет «касторкой»!), по обыкновению, врет. Разве будешь обращать внимание теперь, во время войны, на чепуховые рефлексы и прочее. Теперь надо быть бодрым и не думать о пустяках… Так-то…

***

Убили капитана С. 19 апреля, как раз в тот самый день, когда денщик отправил в М. очередную открытку с извещением о здравии и благополучии. Смелый человек был капитан, страха не знал и не понимал, чего надо бояться. Балагуря и насмехаясь над занявшими лесную опушку австрийцами, ходил он во весь рост вдоль цепи и получил пулю в грудь. И, раненый, он не упал, не закричал, как делают иногда другие, а тихо отошел в овраг, где находился резерв, и там лег.

— Умираю я, братцы, — спокойно сказал он наклонившимся над ним солдатам и закрыл глаза.

— Прощайте!

И умер.

Огромное тело капитана лежало в овражке до вечера, когда кончился бой. А вечером пришел в овражек священник, собрались офицера́ поклониться праху товарища, и капитана похоронили.

— Не будет у нас такого ротного, нипочем больше не будет, — говорили солдаты, крестясь. — Хороший был человек, царство ему небесное…

И разбрелись по деревне, вспоминая усатое лицо и наивные глаза своего старого капитана.

Подп.: Ар. М-ий.
Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 424 (11 мая). С. 3.

СЛУЧАЙ

Четыре нижних чина под командой поручика Яблоновского пробрались верст на пять вперед за линию нашего сторожевого охранения. На заходе солнца — овражками и перелесками — добрались разведчики до обнесенного проволочной решеткой парка помещичьего дома и засели здесь, в густом орешнике, дожидаясь темноты.

Кругом давно уже рыскали неприятельские разъезды, и приходилось быть очень осторожным.

Поручик, поджав по-турецки ноги и прислонившись к пеньку, курил папиросу и изредка посматривал на вечереющее небо, где, недвижимы в голубой вышине, пылали маленькие красивые тучки.

«Скоро ли стемнеет», — подумал поручик с досадой и, повернув влево голову, потянул воздух.

— Должно, есть там что-нибудь, — сказал, уловив движение офицера, бородатый запасный солдат, мотнув головой по направлению густых зарослей орешника. — Воняет очень… Не посмотреть ли, ваше благородие?..

— Сходи.

Солдат встал и пошел. Через несколько минут, хрустя валежником, он возвращался назад.

Движения солдата были так же ленивы и сонны, и только в лице появилось что-то новое: будто глаза стали глубже и темнее.

— Австриец там, — доложил он. — Должно, раненый заполз в кусты да и помер. Черный весь… Протух совсем.

Поручик ничего не ответил. Два молоденьких солдатика-новобранца испуганно переглянулись и разом, точно по уговору, встав на ноги, направились было в ту сторону, откуда тянул резкий в вечернем свежем воздухе запах разлагающегося тела… Посмотреть захотелось…

Лицо офицера вдруг покраснело.

— Куда? — вполголоса крикнул он. — Кто позволил? На место!

Солдатики покорно сели, и в кустах воцарилась тишина.

— А есть в фольварке австрийцы?

— Как Бог свят — есть, ваше благородие, — обратился к офицеру бородач и вздохнул.

Офицер неопределенно дернул плечом.

— Увидим! — пробурчал он и бросил в траву окурок папиросы, сейчас же подхваченный одним из новобранцев.

Темнело. Ушли куда-то маленькие нарядные тучки, и небо покрылось сероватой, быстро чернеющей мглой. Похолодало, как перед дождем, и кусты зашевелились, зашептали, точно предчувствуя недоброе.

Солдаты штыками проламывали брешь в колючей проволочной загородке. Железо вздрагивало, звенело; люди приостанавливались, прислушивались и снова принимались за работу…

Потом все пятеро юркнули в отверстие и очутились на мутно белеющих в темноте песчаных дорожках сада. Впереди, вынув револьвер, шел поручик… Когда у кого-нибудь из солдат звякало снаряжение, все останавливались, выжидали несколько секунд и шли снова.

Вот впереди, в просвет ветвей, мелькнул свет. Деревья расступились и открыли такую же проволочную решетку, двор за нею и боковую сторону дома, фасадом с красивой террасой выходившего в сад.

На двор из освещенных окон падал свет. У крыльца стояло десятка полтора оседланных, жующих сено лошадей, и возле них,

на бревнах расположились, покуривая трубки, несколько австрийских гусар. Они весело болтали с тремя служанками, которые взвизгивали, когда солдаты обнимали их. Об опасности они не думали…

Выходившая в сад терраса была ярко освещена. Здесь, видимо за ужином, собралось целое общество: старый господин с седыми усами, вероятно, сам хозяин, рядом с ним другой полячок попроще, затем несколько женщин, а напротив их, сияя улыбками, с видом галантных завоевателей — два австрийских офицера.

Услышав шаги по лесенке, ведущей на террасу, все присутствующие повернули к ней лица и окаменели, увидев перед собой двух солдат и русского офицера с револьвером.

— Ну, выходите, прошу пана! — нетерпеливо махнул рукой поручик австрийцам и, видя, что они от изумления не в силах двинуться, крикнул, багровея: — Ну! Живо!

А в это время два молодых солдата, отданных под команду запасного, пристраивали винтовки на проволочной изгороди.

— Баб не зацепи! — шептал им бородач. — Да по лошадям не стреляй, дурачье: лошади нам пригодятся… Цельсь!..

Тревожные ночные шорохи сада пропали в беспорядочном хлопаньи торопливых выстрелов. Кто-то закричал пронзительно, где-то заголосила женщина, заржала лошадь, и над фольварком повис многоголосый беспорядочный гул, вроде того, какой бывает на пожарах. А потом все разом смолкло.

Застигнутые врасплох австрийцы не пытались сопротивляться и разбежались, оставив лошадей и офицеров.

……

Через полчаса разведчики уже верхом возвращались к своим. Солдаты что-то доставали из мешков и жевали, то и дело поворачиваясь назад.

……

……

……

……

С разведчиками ехал взятый в плен австрийский офицер. Ему было жутко, и он попытался заговорить с поручиком.

— Могу я закурить, господин лейтенант? — заискивающим тоном спросил он по-французски; но поручик не знал языка и молчал.

Австриец вздохнул. Его товарищ попробовал сопротивляться и остался на террасе… с простреленной головой. Офицер вспомнил, как в глазах несчастного в последний раз мелькала жизнь — что-то робкое, жалкое! — и затем они стали словно стеклянные.

Горло сдавили истерические спазмы.

«Позор!» — подумал австриец и подавил припадок.

Ночь была темная, темная… Фыркая, пробирались лошади лесной тропинкой.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 425 (18 мая). С. 3.

БЕЗ НОГ

У каждого бывают минуты, когда мир кажется прекрасным и даже то, что час назад угнетало душу и делало ее несчастной, — окрашивается льющимся отовсюду сиянием тихой и печальной красоты. Дмитрий Иванович часто испытывает это ощущение… Он — калека: его правая нога навсегда изуродована австрийской пулей.

По утрам санитары выносят его на крылечко и ставят носилки рядом с оградой, за чугунную узорную решетку которой он берется руками, когда надо переменить положение… Ногой шевелить невозможно больно.

За оградой — тихий переулок, строгие фасады молчаливых особняков и свежая зелень нарядных палисадников. В окне напротив часто появляется чье-то бледное лицо, и когда Дмитрий Иванович прикладывает руку к козырьку фуражки — женщина улыбается и кивает головой. А часов в двенадцать она, в белой шляпе с пышным пером, выходит из подъезда своего дома, садится в красный автомобиль и куда-то уезжает, не забыв ласково улыбнуться, повернув к решетке худое красивое лицо.

А вчера напротив Дмитрия Ивановича остановились два уличных мальчугана и, раскрыв рты, долго на него смотрели. Потом один, постарше, вынул из-за пазухи помятую, должно быть, поднятую на тротуаре веточку сирени и, просунув ее через решетку, сказал:

— Возьми-ка. Здорово пахнет!

И убежал…

Вслед за мальчиками мимо прошли две толстые и важные на вид дамы, и Дмитрий Иванович слышал, как одна из них сказала другой:

— Посмотрите, какой молодой офицер… И уже искалечен… Эта война — прямо ужас!

А потом пришла сестра.

Стройная и веселая, стала рядом и рассказала о том, как хорошо теперь в Петровском-Разумовском и как весело она провела там вечер, катаясь на лодке. От белого халата сестры пахло духами, и вся она, веселая и красивая, дышала здоровьем. На одну секунду офицеру стало завидно и немножко досадно, зачем она рассказывает ему все это. Но усилием воли он подавил в себе нехорошее чувство, и на его бледное лицо легло выражение тихой и мудрой печали.

«Меня никогда не полюбит такая женщина, — думал он. — К чему я ей нужен — здоровой, сильной и красивой… Меня можно любить только из сострадания».

И Дмитрий Иванович улыбнулся, снизу вверх взглянув на девушку.

Должно быть, она прочла его мысли; в ее лице мелькнуло смущение и порозовела нежная кожа на щеках… И глаза стали строгими, словно клялись в чем-то.

Во двор приковылял черномазый болгарин-шарманщик, почмокал губами, увидав раненого, и предложил:

— Хочешь поиграю? Очень весело будет… Денег не надо — задаром, друг, музыку дам.

И долго отказывался от двугривенного, но потом взял и, вскинув на плечи шарманку, сказал, уходя:

— Не горюй, барин, поправишься: ты добрый.

***

Однажды утром, когда Дмитрий Иванович сидел по обыкновению около крылечка, к нему подошла незнакомая девочка и положила на носилки несколько пачек папирос.

— Можно попросить вас передать это раненым? — вежливо спросила она и присела. Девочке было лет четырнадцать, но держалась она как большая, и в ее произношении сквозило что-то иностранное. И в то время, когда она разговаривала с офицером, за калиткой ее дожидалась высокая, томно улыбавшаяся дама.

«Англичане», — подумал Дмитрий Иванович и поблагодарил за папиросы.

Девочка ушла; а на другой день явилась снова, и на этот раз уже с цветами… Теперь подошла она к офицеру не так самоуверенно, как вчера… Во всей ее стройной фигурке сквозило смущение, и было ясно, что девочка — добрый и милый ребенок.

Дамы за калиткой на этот раз не было.

…Скоро они подружились.

Юная мисс ежедневно являлась в госпиталь и — в погожие дни на крыльце, а в ненастные в палате — целыми часами просиживала с Дмитрием Ивановичем. Сначала офицер относился к Агнес как к ребенку, как к маленькой девочке, которой нравится тешить его цветами и конфектами… Но вскоре оказалось, что его восемнадцать лет не очень-то далеко ушли от ее четырнадцати и оба с одинаковым успехом могут и весело болтать друг с другом о пустяках, и рассуждать о самых веселых материях. В конце же концов, узнав, что мисс Агнес успела побывать даже в Индии, Дмитрий Иванович проникся к ней уважением и не прочь был иногда с ней и посоветоваться… Вообще, начал считать ее равной себе…

Так прошел месяц.

Нога все еще болела, но теперь врачи говорили, что ею скоро можно будет двигать и только в колене она не станет гнуться.

Дмитрий Иванович теперь уже не грустил, и все реже к нему возвращалось то состояние, когда мир казался овеянным сиянием тихой и печальной красоты.

Ковыляя на костылях по палате, он весело хохотал по самым ничтожным поводам, и в его голове роились веселые планы о будущем. И странным ему казалось, как это он не так давно мог растрогаться от такого пустяка, как веточка сирени, подаренная уличным мальчиком.

Мисс Агнес по-прежнему его навещала. Однажды, когда она сидела возле его кровати и в палату вошла неожиданно красивая сестра, брови девочки сердито дрогнули и красивое личико стало высокомерным и недоступным.

«Настоящая, самая настоящая англичанка! — весело подумал Дмитрий Иванович. — Помнится, в "Ниве" я даже видел похожую на нее принцессу…»

И спросил, улыбаясь:

— Что с вами, миледи? Почему вам не нравится сестра?

Девочка вспыхнула и гневно ответила:

— Однажды она не пустила меня к вам… Сказал, что вы спите, а… вы и не думали спать… и ждали меня.

— Да что вы! — удивился офицер. — Для чего же она так сделала?

Девочка пожала плечиками и ничего не ответила. А Дмитрию Ивановичу показалось, что действительно с сестрой уж давно что-то произошло: будто она на него сердится. Но чем девушка недовольна, он понять не мог.

На другой день мисс Агнес пришла с матерью, с той самой высокой дамой, которую офицер видел у калитки. Она, коверкая русские слова, предложила ему комнату в своем доме, выразив надежду, что «господину офицеру будет там удобнее и покойнее». А затем ушла, протянув для поцелуя костлявую желтую руку…

В этот день Агнес была неразговорчивой, словно немножко конфузилась чего-то, и глаза у нее были вопросительные и робкие.

И Дмитрию Ивановичу показалось, что между ним и девочкой произошло что-то, заставляющее их слегка робеть друг перед другом и пытливо взглядывать в глаза.

***

Перед отъездом Дмитрию Ивановичу стало грустно. Жаль было своей грусти, своей печали, творящей красивые сказки из таких ничтожных вещей, как смятая веточка сирени или черномазый шарманщик…

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 426 (25 мая). С. 3.

НА НОЧЕВКЕ

Во втором часу ночи прапорщик Игнатьев понял, что не заснет.

— Ну, ну! — вздохнул он и сел на кровати.

В халупе, несмотря на открытые окна, было нестерпимо душно и пахло какой-то кислятиной. На дворе светила луна, и через окошки на пол легли три неправильных четырехугольника голубого света.

От толстой, неимоверно жаркой перины тело облепила липкая испарина. Оставаться в хате дольше было немыслимо. Прапорщик оделся и тихо вышел на крыльцо.

Маленький фруктовый садик спал тихо и невинно, весь, точно в инее, в сиянии полного месяца. Листва едва шелестела, и было похоже на то, будто яблони рассказывают друг другу свои сновидения. У ограды, за кустами крыжовника слышались тихие осторожные голоса.

— Как ушел, так и не пишет. Я уж и не жду! — говорил нежный женский голос и печально замолкал, словно сдерживая волнения. — Убили, наверно…

— Многих убивают, — подтвердил шепотом мужчина, и прапорщик по голосу узнал в нем своего денщика. — Хотя есть которые и в плен попадают…

— Эх! — вздохнула женщина. — В плен… В плену кушать не дают, языки отрезают… Пусть уж лучше убит.

Замолчали… Пошевелил ветер листвой и улетел, бросив на луну золотое облако. Потемнело.

— Ох, не надо! — тихо и робко прошептала женщина. — Боюсь я…

Мужчина заговорил быстро и тихо. Тон был очень убедительный, но слов не было слышно…

Прапорщик тихо вышел на улицу и пошел вдоль нее. Деревенька спала, набитая солдатами. Словно зачарованные грезили садики перед хатами.

Впереди зачернела человеческая фигура. Кто-то шел, насвистывая буйный мотив и в такт махая хворостиной.

— Прапорщик, ура! — издали закричал он хриповатым слегка голосом и побежал навстречу.

— Не спите? Не можете спать? — быстро затараторил он, здороваясь. — «Переживаете весеннее безумие!» — как говорил мой дядюшка-декадент. Стыдно, господин женатый человек! Очень даже совестно! Ей-богу!

— Правда, поручик, — улыбнулся Игнатьев, беря офицера за талию и поворачивая в свою сторону. — Так стыдно, что не нахожу себе места… К тому же и блох здесь!.. Прямо стихийное бедствие…

Улица была кончена; впереди забелела ограда фольварка, и за деревьями обрисовался силуэт господского дома.

Офицеры прошли в сад.

Три пса, оглушительно лая, подкатились им под ноги и запрыгали вокруг, странные на песчаной и белой под луной площадке. Поручик обрадовался случаю размяться… Размахивая хворостиной, он напал на собак, и те бежали, скуля и взвизгивая где-то поблизости.

Одно из верхних окон дома, молчаливо и слепо застывшего среди сада, звонко отворилось, и в нем что-то забелело. Высунувшись до пояса, над площадкой наклонилась женщина, и ее белая одежда была в свете месяца точно серебряная… И серебром отливали черные волосы.

Две фигуры внизу застыли неподвижно, подняв вверх ярко освещенные лица, словно пораженные видением… И от них по площадке протянулись длинные тени, черные и четкие, словно нарисованные.

Из кустов, волоча за собой такую же черную тень, кралась собака. Вот она взвизгнула, подкатилась под ноги, и, вздрогнув, офицеры как-то нехотя и тяжело двинулись в сад.

Здесь нашлась беседка. Они сели и молча стали курить. Прошло минут пять.

— Надо идти, — сказал Игнатьев. — Спать захотелось.

— Пойдемте, правда, — охотно согласился поручик.

В середине деревни они расстались, пожелав друг другу покойной ночи. Прапорщик, пройдя дальше, свернул влево и задами стал снова пробираться к фольварку. У ограды он остановился, огляделся и тихо перелез в сад…

Широкой аллеей, испещренной пятнами лунного света, тихо пошел куда-то, твердо веря, что сегодняшняя ночь подарит ему что-то дорогое и необычайное.

На скамейке, под огромным старым деревом он сел и стал ждать. Сердце сладко ныло и замирало, и верилось, что сейчас возможно единственное по своей огромности счастье. И Игнатьеву ка-

залось, что он не инженер-технолог, специалист по отоплению, а юный поэт, вдохновленный необычайной радостью жизни, способный на великие безумства.

Но минуты шли, месяц склонялся все ниже, и вокруг него забегали облака. Похолодало.

В саду было тихо и пусто… никто не пришел.

То, что окрылило душу внезапно, так же внезапно ушло, оставив после себя лишь пустоту и какое-то плаксивое разочарование. Но с досадливым чувством, словно негодуя на ускользнувшую мечту и все же злобно ловя ее, прапорщик пошел по направлению дома… Тихо пробирался запутанными дорожками и аллейками…

Около беседки он остановился; четко и таинственно в сонных шелестах сада слышался вкрадчивый мужской шепот. Было в нем что-то убедительное, гипнотизирующее: словно вода журчала, падая тоненькой струйкой.

Изредка женский голос возражал этому убаюкивающему шепоту, но был он слабый и будто отравленный; так говорят, засыпая от морфия, когда действительность перепутывается со сновидениями.

По этому шепоту Игнатьев догадался, что в беседке — поручик. Одну минуту он не мог опомниться от удивления и готов был рассердиться, но вовремя вспомнил, что он инженер-технолог, что ему тридцать четыре года, — и снисходительно улыбнулся. О том, как сам пробирался задами и перелезал через забор, — он уже забыл.

Вернувшись в халупу, Игнатьев в сенях столкнулся с денщиком. Солдат хитро вильнул глазами в сторону и принялся рьяно стаскивать с барина сапоги.

— Блохи здесь очень! — сказал он. — Не постелить ли, ваше благородие, в садочке? Теплынь!..

Вошла хозяйка, украдкой взглянула на офицера и стала разводить огонь в печке.

«Красивая, — подумал Игнатьев, разглядывая молодое лицо женщины. — Какие здесь бабы! Прямо барышня… Изящное в ней что-то».

В восемь часов полк выступил в поход. На обеденном привале инженеру захотелось посмеяться над поручиком, и он отправился его разыскивать.

Игнатьев нашел офицера у опушки леса…

Денщик поручика развел маленький костер и, приладив над ним синий закопченный чайник, готовил чай. Поручик сидел на поваленном грозой дереве, задумчиво глядя вдоль дороги — туда, где за цепью холмов, словно нарисованные акварелью, синели горы. Оттуда медленно плыло огромное, похожее на серую старуху облако. Молодое, безусое лицо офицера было бесконечно печально, и на нем лежала печать обреченности.

Прапорщику показалось, что он что-то понял, и в душу его — с ним это теперь часто случалось — вдруг неожиданно вонзились страх и жалость.

И он повернул назад.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 427 (1 июня). С. 2.

ШПИОН

I

Наш батальон был послан в сторожевое охранение на правый берег небольшой болотистой речки, густо заросшей камышами. Участок моей роты, версты в полторы длиною, пришелся как раз между двумя мельницами, шлюзы которых ввиду весенней воды были открыты.

В одной из этих мельниц расположился я, в другой — ротный командир.

Выбрав позиции для взводов и устроив небольшие окошки на тот случай, если противник вздумает форсировать речку, мы с ротным распрощались и отправились восвояси — отдыхать.

Я отошел уж довольно далеко, когда командир меня снова окликнул и попросил осмотреть реку.

— Нужно посмотреть, нет ли где бродов, — кричал он мне. — Если они окажутся — поставьте там караулы… За реку никого не пропускайте…

Я поклонился и, захватив с собою десять нижних чинов, отправился выполнять возложенное на меня поручение. Но осмотреть речку оказалось делом очень нелегким. Саженей за пятьдесят от нее начиналось топкое, зыбкое болото, во многих местах переходящее в непроходимую трясину. Ковыляя и проваливаясь в нем, мы на себе убеждались, что речка, несмотря на всю свою мизерность, вброд непроходима.

Оставалось только повернуть солдат и идти обратно. Я уж собирался это сделать, как вдруг шедший рядом со мной ефрейтор Мукомолов, огромный рябой сибиряк, указал мне на ясно видный под косыми лучами заходящего солнца след чьих-то ног на влажной траве. От самой дороги, через все болото, он шел к речке и терялся в камышах.

— Должно, житель прошел, — сказал мне солдат. — А зря чего ходить: брод тама, ваше благородие…

Ефрейтор говорил резонно, и мы, доковыляв до следа, направились по нему к реке. К нашему удивлению, здесь было почти сухо, почва не тряслась под ногами, и мы без труда добрались до камышей…

Разгребая руками зеленые стебли, мы двинулись к самой речке и слышали уже ее сонное журчанье, как вдруг впереди раздался сначала шорох, затем треск и… в воду бултыхнулось что-то тяжелое. В одну минуту мы были у берега, и нашим глазам представилась такая картина…

На средине небольшой, но глубокой и быстрой речки барахтался пожилой человек в кепке, стараясь выбраться на другую сторону. Но вода доходила почти до шеи, а течение было так быстро, что сбивало с ног, и, видимо, не умея плавать, человек делал неимоверные усилия, чтобы не упасть.

Такое поспешное бегство незнакомца при нашем появлении уже само по себе наводило на известные размышления, к тому же мы были предупреждены о многочисленности австрийских шпионов среди местных жителей.

— Стой!.. Назад!.. — закричал я, поспешно вытаскивая браунинг.

— Назад, пан, назад! — поддерживали меня солдаты, но неизвестный продолжал свою молчаливую борьбу с речкой, видимо, совершенно игнорируя наше присутствие и наши крики.

Нечего делать, приходилось пускать в дело оружие!..

— Стрелять буду! — крикнул я еще раз и поднял револьвер.

— Постой, ваше благородие!.. Я его сейчас доставлю без этого, — отвел мою руку Мукомолов и, сунув свою винтовку соседу, прыгнул в воду. В одно мгновение он настиг незнакомца и, схватив его за плечо, повалил в воду…

— Утопишь! — крикнули солдаты в один голос, но ефрейтор уже возвращался обратно, волоча за собой человека, как какой-нибудь куль.

— Вот он! — торжествующе сказал Мукомолов, вылезая на берег и ставя бегуна перед нами… И потряс его за плечо.

Вид у незнакомца был очень жалкий: платье на нем обмокло и облипло, и весь он, маленький и худой, дрожал мелкой дрожью.

Солдаты с любопытством его рассматривали, и он озирался на них злыми и трусливыми глазами.

— Обыскать! — приказал я, и солдаты проворно зашарили по карманам полячка, извлекая оттуда всякие мелкие вещи. На свет Божий появились одно за другим: кисет с табаком, трубка, перочинный ножик и носовой платок… Больше при пойманном — ни в карманах, ни за подкладкой — ничего не оказалось.

— Ничего больше нету! — сказали солдаты, отступив от незнакомца. — Чисто обшарили…

— Чего ж ты бежал? — спросили они у него. — Чего испугался-то, дурной?

— Так, сам не знаю чего! — по-польски ответил человек, и на его лице появилось подобие улыбки. — Вижу — с ружьями…

— С ружьями, говоришь, — сурово повторил бородатый запасной солдатик Еремеев и протянул руку за кепкой незнакомца. Тот разом побледнел и дернулся в сторону, видимо, снова собираясь прыгнуть в речку. Но его схватили и повалили.

— Вот оно, ваше благородие! — злорадно крикнул Еремеев и протянул мне клочок бумаги. Я взглянул и сразу же узнал в грязноватых каракулях извивы речки, мельницы и наши окопики… Это были кроки сторожевого участка моей роты.

II

Через двадцать минут мы с ротным командиром допрашивали шпиона. Он стоял перед нами и, видимо, с трудом понимал задаваемые нами вопросы. И вдруг он опустился на пол и заплакал, обняв колени капитана. Тот с омерзением отшвырнул его ногой, и человек упал. Медленно, медленно поднимался он на ноги и, поднявшись, вдруг снова упал на колени. Склонив голову набок, он тихо покачивал ею, и слезы обильно и без усилия текли из его глаз. Худое желтое лицо все нервически дергалось, и губы сложились в жалкую гримасу. Из носа на небритый подбородок текла кровь.

— Встань… Встань, сволочь! — вскочил капитан, замахиваясь на шпиона. — Плачешь?.. А окопы зарисовывать не плачешь?.. А, не плачешь?.. Говори, мерзавец!

Он схватил его за плечо и поднял, но человек, как тюфяк, снова свалился на пол.

Мне стало не по себе. Я встал и вышел на крыльцо. Через несколько минут туда пришел и ротный командир.

— Ну, что? — спросил я.

— Ничего, — ответил капитан, жадно затягиваясь папиросой. — Завтра утром отправлю его в штаб полка.

Но отправлять никого не пришлось: ночью шпион повесился на собственном поясе.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 428 (8 июня). С. 2.

БОМБАРДИРОВКА

Солдаты бежали вдоль ограды институтского сада, спускались к реке и у самой воды принимались окапываться…

Профессор вышел на балкончик. Отсюда прекрасно было видно всю излучину многоводной реки, часть города и заречье, где, словно огромные кузнечики, непрерывно трещали десятки пулеметов. По понтонному мосту двигались войска…

Сегодня бой близко придвинулся к реке, и противник, вероятно, угрожал переправе, потому что в городе царило лихорадочное оживление…

— Зося! — крикнул профессор в открытую дверь балкона. — Дай мне трубу…

Чистенькая седая старушка выглянула на балкон, кивнула головой и через минуту подала профессору большую морскую трубу.

Он раскрыл инструмент и, удобно пристроив его на перилах балкона, стал рассматривать заречную сторону…

Там шел бой.

На склонах холмов тянулись, словно небрежно брошенные канаты, наши и неприятельские окопы, над которыми то и дело рождались и исчезали белые дымки снарядов…

— О Боже ж!.. Цо то бенди! — вздохнула старуха, вопросительно глядя в лицо профессора. — Идут австрияки?

— Идут… Сегодня близко, — ответил профессор, складывая трубу. — Сегодня они, вероятно, будут бомбардировать город. Иди в институтский погреб, до пана ректора…

— А ты?

— Я останусь.

Он сказал это просто и твердо. Женщина вздохнула, но, видимо, привыкшая подчиняться мужу, ничего не сказала. Через несколько минут она, уже покрытая платком, снова выглянула на балкон.

— Я ухожу… До свидания!

Не поворачиваясь, профессор кивнул головой, и старуха исчезла…

А бой тем временем разгорался. По понтонному мосту тянулись вереницы раненых, и войско на ту сторону уже не проходило. По обеим сторонам моста то и дело поднимались теперь фонтаны воды: это австрийцы принялись обстреливать переправу, и их снаряды близко ложились от цели…

Через четверть часа их шрапнели завизжали над городом, и профессор увидел, как один из снарядов, близко-близко прогудев над ним, угодил в стену института, сделав в ней зияющую пробоину.

И вслед за этим гранаты непрерывно стали бить по прекрасному зданию института…

Профессор задрожал. Совершенно спокойный минуту назад, без волнения наблюдавший картину боя, он вдруг ощутил в себе гнев и возмущение. Он не мог равнодушно наблюдать, как враги безнаказанно разрушают его детище — институт.

— Боже мой! — метался старик по балкону. — Подлецы уничтожат лаборатории и музей… Разве это можно допускать!.. Надо это во что бы то ни стало прекратить — прекратить сейчас же, сию же минуту, — иначе все погибнет и будет поздно.

Старик бегал по балкону и ломал руки, а снаряды один за другим гудели над его головой. Один лопнул так близко, что на профессора пахнуло горячим воздухом, и десяток пуль застучал по дереву балкона.

Но старик не заметил этого; перегнувшись через перила, он кричал пробирающимся внизу солдатам, что надо спасать институт:

— Заставьте австрийцев во что бы то ни стало прекратить обстрел… Ведь это же возмутительно — уничтожить научное учреждение!

Но солдаты равнодушно смотрели на кричавшего что-то старика, а некоторые лениво посмеивались, принимая его за сумасшедшего.

Профессор был в отчаянии; он рвал на себе волосы и уже хотел было бежать зачем-то в пустующий институт, как вдруг…

Где-то близко раздался глухой выстрел, и высоко в воздухе загудело, завыло что-то тяжелое-тяжелое и не спеша полетело за реку. Профессор сначала подумал, что это австрийцы пустили большой снаряд, и присел от страха за свое детище. Но бомба полетела за реку, и он не слышал ее разрыва.

«Наши», — подумал он и опять принялся метаться по балкону.

Противник продолжал палить по городу, но теперь с его огнем произошло что-то странное. Теперь он уже не был таким равномерным и спокойным, как раньше. Ясно было, что австрийцы спешили выпустить очередь снарядов, а затем молчали, видимо, прячась и ожидая чего-то…

«Они нервничают! — с радостью и удивлением подумал старик, видя, что снаряды врагов уже не бьют по институту, а ложатся около. — Они делают промахи и не замечают этого».

А над городом каждые две-три минуты гудело что-то тяжелое и огромное, гудело ласково и успокаивающе и улетало за реку. И как только оно переставало гудеть, австрийцы выскакивали откуда-то и пускали в город очередь своих снарядов…

И прятались.

А к ним уже снова летело с нашей стороны то страшное и большое, что заставляло их пушки нервничать и делать промахи.

Профессор раскрыл трубу и замер с ней, прильнув к перилам балкона… Далеко-далеко, слева от башни белого костела, ясно блестели на солнце бронзовые пушки врага. Людей около них не было видно… Но каждый раз после того, как возле них взлетал в воздух огромный черный столб распыленной земли, откуда-то выбегали крошечные человечки, и из пушек вырывались клубы белого дыма.

— А!.. Вот оно что!.. — злорадно закричал старик, не отрываясь от трубы. — Так им, негодяям, так им!..

— Правее!.. — завизжал он, видя, что снаряд упал слишком далеко от неприятельской батареи.

Но в это время над балкончиком лопнула шрапнель, и волна горячего воздуха сбила старика с ног. Сидя на полу и чертыхаясь, профессор снова стал прилаживать трубу… Но новый снаряд опять повалил его.

«Они перенесли огонь на мой дом! — с радостью подумал старик, поднимаясь на ноги. — По институту больше не стреляют».

Он не понимал, что с колокольни костела, где сидел австрийский наблюдатель, ясно были видны все его неистовые движения. Профессор был принят за наблюдателя русской тяжелой батареи, открывшей из-за города огонь по австрийцам. Австрийцы решили его «снять»…

Снаряды рвались кругом профессорского домика, но Бог хранил старика. Австрийцы стреляли, торопясь спрятаться от нашего огня, и эта торопливость сводила к нулю все их усилия расшибить балкончик.

Профессор лежал на полу, прильнув к трубе.

— Ух! — крикнул он и вскочил. Он ясно видел, как огромный столб земли взвился посредине вражьей батареи и одно бронзовое орудие перевернулось. И сейчас же около него взметнулись вверх еще два разрыва, и австрийцы стали подводить к пушкам лошадей…

— Уходят! — радостно крикнул старик. — Прогнали… Милые, милые! — благодарил он кого-то, торопливо одергивая на себе сюртук и тыкаясь в углы балкончика в поисках шляпы. Но шляпы не было, и он побежал без нее.

На институтском дворе он остановился и стал тереть лоб.

— Ах, да! — вспомнил профессор. — Надо забежать в подвал, там — пан ректор…

И он засеменил по двору, удивляя столпившихся здесь солдат своим нелепым видом…

— Ишь ведь что от страху бывает, — глубокомысленно заметил рябой гренадер своему соседу. — Совсем, видимо, с ума сошел пан.

Сосед, зная, что товарищ богат табаком, поддержал его…

— Очень даже просто! — согласился он и попросил: — Дай-ка затянуться.

— Затянись из своей! — насмешливо ответил гренадер. — Ишь затянула какой нашелся…

— Дурак! — пожал плечами товарищ. — Глупее даже пана…

И приятели разошлись по разным углам.

По понтонному мосту вновь потянулись на ту сторону наши части. В городе все успокоилось, хотя за рекою, как и раньше, непрерывно трещали пулеметы. Евреи, трусливо озираясь по сторонам, стали открывать свои лавочки и окликали проходивших солдат, предлагая им папиросы и яблоки…

Бомбардировка кончилась.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 429 (15 июня). С. 3.

«СУМАСШЕДШАЯ ПРИНЦЕССА»

Давно ушла от мужа и жила одна, одинокая, свободная, верующая, что в мире есть удивительные тайны, за которыми лежит настоящая жизнь. А все окружающее казалось временным и существовало лишь для того, чтобы хранить неуловимые намеки о том, к чему рвется тоскующая душа.

Такова была Вера Михайловна для себя, а знакомым она представлялась богатой некрасивой тридцатилетней женщиной, не лишенной некоторых странностей… Ее необычные костюмы, ее страсть к верховой езде, к бешеной скачке по полям и лесам — все это осуждалось, как неудачные попытки порисоваться, как желание прослыть оригинальной.

А что в гостях она не умела себя вести — это уж все говорят… Что за манеры!.. То хохочет, острит, говорит рискованные вещи, а найдет на нее стих — оборвет на полуслове, задумается и вдруг вскочит и убежит. Нельзя же забывать, что ей тридцать, а не восемнадцать лет.

— Странная дама! — говорили соседи по имению. — Истеричка… Недаром муж бросил.

Но те из мужчин уезда, кто удостаивался долгого взгляда карих, почти золотых глаз Веры Михайловны, — те не говорили так. Они забывали, что она некрасива, немолода, забывали ее странности и входили в непонятную и сладкую зависимость от «Сумасшедшей Принцессы», как Веру Михайловну называли в уезде… Пока ощущалась эта прикованность, мир кругом молодел и верилось в увлекательные сказки, которые напевала давно пролетевшая юность.

Но проходило два-три месяца, очарование исчезало, и человек вновь, провалившись с головой в трясину обыденщины, забывал пережитое и вместе со всеми называл Веру Михайловну — Сумасшедшей Принцессой.

Когда же началась война и местное дворянство организовало полевой госпиталь, никто не удивился, что Вера Михайловна уехала вместе с ним. Было так естественно, что заведующей поехала именно она, а не кричавшая всюду о «жертвах» супруга предводителя… Ведь не все ли равно, где ни быть ей, этой пожилой, некрасивой и брошенной мужем женщине, — говорили обыватели, расходясь с вокзала после проводов.

Но они были не правы. Давно уже прискучили Вере Михайловне и люди, и жизнь, но теперь, когда война сказала, что она нужна кому-то, — вновь в душе проснулась бодрость, и воля, и желание жить и работать… Война оживила то, что было почти мертво… Совершилось чудо, в которое Вера Михайловна так верила.

***

В госпитале Веру Михайловну оценили сразу. Стала она в нем не только заведующей, но и всем чем угодно. Задержали, например, поезд на станции — кого отправить для переговоров, как не ее? Она все сумеет, все устроит, обо всем позаботится. Без нее же ничего не клеится…

А когда приехали на фронт и госпиталь развернулся в крошечном, наполовину сожженном местечке, — Вере Михайловне и цены не стало. Она сумела в лазарете, оборудованном на пятьдесят человек, поместить двести… Она нашла для этого и помещение, и средства, и, заведуя всем сложным и хлопотливым госпитальным хозяйством, успевала в то же время работать в перевязочной и дежурить наравне с сестрами.

Необходимой оказалась Вера Михайловна и для раненых. Когда кому-нибудь из них делалось плохо — обыкновенно звали ее. Должно быть, солдаты оценили силу ее золотых зрачков и успокаивались, когда она присаживалась на их постели.

Один худенький, полусумасшедший полячок так и умер, не отпуская от себя Веру Михайловну.

— Смотри на меня, сестрица, смотри на меня, — шептал он, стискивая ее руку своей липкой холодеющей рукой. И, быть может, исстрадавшаяся душа полячка перешла в золотые глаза сумасшедшей принцессы, потому что с этого дня стали они печальными и от всего далекими.

***

Однажды привезли в госпиталь раненного в грудь офицера. Был он без памяти, и доктора думали, что ему не выжить двух дней. Но на вторые сутки офицер пришел в себя, попросил покурить и заявил, что он скоро поправится. Врачи улыбнулись, но раненый не шутил и, действительно, через несколько недель был уже на ногах. Задолго до этого он «забастовал» — прекратил принимать лекарства и выклянчивал к обеду вино…

Был он очень юн и фамилию носил иностранную — Дежорж.

Однажды врач сказал ему:

— Ну-с, поручик, теперь вы настолько оправились, что вас можно эвакуировать внутрь России. Завтра отправляйтесь в Люблин.

— Завтра и поеду! — усмехнулся офицер и через четверть часа подал доктору рапорт о выздоровлении и о возвращении своем в полк.

— Но ведь вы же отлично понимаете, что не можете ехать! — сердился доктор, отпихивая рапорт. — Ведь это же невозможно!..

— Очень возможно! — сердился Дежорж в свою очередь, отмахиваясь от бумаги. — Поймите же, что война съела меня целиком, стала для меня тем наркотиком, без которого я уже не могу жить… Как есть морфинисты, так есть теперь… как это… la guerre[1]… ну, гeристы, что ли…

— Я отлично понимаю все ваши предостережения, — продолжал офицер, вдруг становясь грустным. — Но… я все-таки завтра еду…

У стоявшей тут же Веры Михайловны глаза засветились ласково и любовно.

— Могу я поехать с вами? — спросила она. — Мой брат служит в вашем полку…

Она давно собиралась совершить это путешествие, да все было некогда. Теперь же как раз выпало два-три денька посвободнее, и надо было ими воспользоваться…

Поручик попутчице обрадовался.

***

Был девятый час вечера.

На западе серое, весь день моросившее дождем небо немного прояснело и пылало ярким желто-красным закатом… Словно из этой огненной полосы к ехавшим на утомленных лошадках Вере Михайловне и Дежоржу неслись непрерывные звуки канонады. И хотя до позиций оставалось еще верст двадцать, в тихом, заснувшем вечернем воздухе был отчетливо слышен каждый отдельный выстрел…

[1] Война (*фр.*).

По сторонам размытой и до безобразия испорченной колесами дороги лежали унылые мокрые поля, чернеющие кое-где давнишними окопами… Впереди синел лес. Лошади выбились из сил…

— Ваше благородие! — обратился к Дежоржу ехавший сзади денщик. — Посмотрите по планту, далеко ль до жилья: скотина замучилась…

Поручик взялся за полевую сумку… На карте был отмечен фольварк, сейчас же за лесом, который был уже близок; но осталось ли что-нибудь от строений после разыгравшихся здесь боев — Аллах ведал! Между тем лошади требовали отдыха…

Поэтому, когда, вступив в лес, открыли недалеко от опушки крошечную сторожку, — решено было использовать ее для привала. В хатке было пусто; мебели, кроме лавок у стен, не было, а деревянный некрашеный стол валялся посреди комнаты с отбитой доской.

На печке сидела кошка и внимательно смотрела на гостей. Возле нее аккуратной кучкой лежали перышки маленькой птички…

Денщик сейчас же стал разводить огонь и хлопотать, но так как был человеком болтливым, а к господам обращаться не смел, то стал разговаривать с кошкой, называя ее за убийство птицы дрянью и австрийской мразью.

Кошка, не мигая, глядела на него и, казалось, внимательно слушала.

Вера Михайловна взглянула на поручика и улыбнулась. Он с жадностью грыз, видимо, привезенный в кармане хлеб, и вид у него был совсем мальчишеский.

«Война — наркотик, — подумала она. — Он, сам не подозревая, сказал глубокую правду… Для меня, например, она именно это. Не случись ее, и меня, быть может, уже не было бы — так тупа и ненужна была моя жизнь. А теперь ко мне вернулось все, казалось, навсегда утраченное… Как странно все это…»

И снова думала, вглядываясь в молодое и такое, казалось, веселое лицо офицера:

«Но почему же он, мальчик, еще ничего не испытавший, думает так же, как я, стареющий и столько переживший человек? Не-

ужели несколько месяцев войны нанесли его душе такую страшную рану?»

Дежорж встретил ее взгляд и улыбнулся. От его добродушной, спокойной улыбки Вере Михайловне вдруг стало жутко, словно улыбнулся мертвец. Она тряхнула головой и заговорила…

Денщик поправил стол, поставил на него чайник с кипятком и зажег свечу.

Из вьюка достали провизию и стали ужинать. С наступившей темнотой канонада прекратилась, и над сторожкой сонно и величаво загудел лес. Словно волны, набегал лесной шум и улетал куда-то…

Денщик, в сторонке пивший чай, зевнул, перекрестил рот и отправился спать к лошадям. Дремал и Дежорж… Весь он как-то осунулся и побледнел.

— Смотрите, как вы еще слабы, — сказала Вера Михайловна. — Ложитесь спать…

— Просто растрясло, — лениво отозвался поручик и стал укладываться на лавке. Через минуту он уже спал, и от свечки на его худом лице трепетали красноватые отблески. Кошка спрыгнула с печки и, подойдя к спящему, нехорошо уставилась на него зелеными горящими глазами.

Вера Михайловна достала из оставленного Дежоржем на столе портсигара папиросу и закурила. В душе было пусто и тихо…

И было жаль чего-то. Казалось, что обманули ее, уверив, что в мире есть прекрасные тайны, за которыми лежит настоящая жизнь. Нет никаких тайн и никакой настоящей жизни…

Ничего нет.

***

Утром, когда воздух был еще пропитан тонким опаловым туманом и солнечные лучи золотыми потоками врывались в лесные просветы, снова двинулись в путь и к полудню были уже на месте. В штабе полка Вера Михайловна нашла своего брата-адъютанта. Она давно его не видела и теперь едва узнала — таким новым и чужим он ей показался.

Дежорж с жадностью набросился на полковые новости и через полчаса, едва простившись с попутчицей, ушел принимать роту.

Строгий и торопливый, он так мало был теперь похож на вчерашнего офицера, наивно грызшего корку черного хлеба.

День прошел скучно. Австрийцы усердно обстреливали наше расположение, и Веру Михайловну брат никуда не выпускал из халупы. Разговор не клеился… Оба они отвыкли друг от друга и вяло вспоминали для обоих неинтересные события.

Едва стемнело, как брат стал торопить собираться, дав провожатым вестового. Во время расставанья вдруг стало грустно и захотелось на несколько минут затянуть прощание. Но вблизи послышались голоса… Запыхавшись, к крылечку подошел командир полка и, увидев собравшуюся в путь даму, ласково сказал:

— Что же мало погостили?.. Не забывайте нас, приезжайте еще.

И, вспомнив, торопливо добавил:

— Да… Возьмите-ка с собой Дежоржа… Он ведь опять ранен… Не повезло мальчику.

Но хриплый бас возразил из темноты:

— Он уже, господин полковник.

— Ах, уже!.. — спохватился командир и, пожелав Вере Михайловне доброго пути, прошел в штаб.

Вера Михайловна широко открытыми глазами смотрела в ту сторону, откуда раздалось это ужасное «уже». В мозгу до мельчайших подробностей вставал вчерашний день — и прощанье в госпитале, и дорога, и ночевка в крошечной сторожке. Вспомнилась кошка, болтливый денщик и худое лицо с трепещущими на нем красноватыми отблесками…

Слезы закапали сами, но они не облегчали; в груди лежал и жег сердце раскаленный комок, и перехватило горло.

— Не расстраивайся, — сказал брат равнодушным голосом. — Все мы обречены на это…

И, помолчав немного, прибавил, видимо, тяготясь:

— Ну, поезжай, Вера… Будь здорова.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 431 (29 июня). С. 3 (вне обычной рубрики).

В ЗАСТАВЕ

Прапорщик Игнатьев, прозванный за толщину «зауряд — 42-сантиметровой пушкой», снял фуражку и, вытирая обильный пот на лысине, плывет по паханому полю, как небольшой броненосец. Огромный мужчина!..

Солдаты устали. Отделения спутались, и взвод без команды перестроился «змейкой»: так легче идти.

Жарко… На солнце больше тридцати.

— Ребята, подтянись!.. Ну!.. Лещук, опять отстаешь! — кричит Игнатьев и останавливается, ожидая пока соберутся растянувшиеся солдаты. — Немного осталось до бивака.

— А сколько, ваше благородие? — уныло спрашивают солдаты. — Верстов десять?

— Меньше.

Опять идут.

Впереди деревенька. Вступают в нее и идут посредине улицы… Солдатишки жадно посматривают на халупы: там можно купить молока, белого хлеба, даже табачком можно разжиться, да вот попробуй нырни-ка в хату. У прапорщика кулачище — во! С ним не поговоришь, одно слово — пушка.

Улица делает крутой поворот. Солдаты лениво плетутся к нему, качаясь от жары под тяжестью снаряжения.

Впереди шагах в ста идут два дозорных солдатика. Они уже вступили в изгиб и вдруг…

— Чего это они? — удивляются солдаты, видя, что дозор упал на колени. — Ишь ты…

— Трах, трах! — один за другим гремят винтовочные выстрелы, и сейчас же вслед за этим дозорных окружают какие-то люди в синих шинелях.

Все это происходит так быстро, что истомленные зноем и усталостью солдатские мозги не в силах уяснить себе происходящего. Взвод бросается вперед вслед за выхватившим шашку офицером, солдаты набегают на синих человечков, наваливаются на них — и начинается рукопашная схватка.

В течение трех минут никто ничего не может разобрать. Все делается механически. Вот маленький злой австриец, оскалив зубы, ткнул револьвером в Игнатьева, и тот разом весь как-то осел, ожи-

дая выстрела. Но сбоку появляется Лещук. Он такой же сонный, как в походе, и вряд ли проснулся. Неловко, лениво, но с огромной силой солдат «посылает» винтовку вперед, и острие штыка, вонзившись в грудь, свободно и плавно, точно через масло, проходит через тело маленького австрийца и, уже окровавленное, словно накаленное докрасна, появляется около пуговиц его мундира.

— Хряк! — вырывается из горла Лещука, и, вырвав штык, солдат бросается в другую сторону, невидящими глазами исподлобья взглянув на офицера. Теперь эти глаза были налиты кровью, и солдат со своей короткой шеей и наклоненной головой — стал похожий на быка.

— Бегут!.. — крикнул кто-то и, опустившись на колени, выстрелил в убегавшего врага. Солдаты разом открыли огонь, рассыпавшись вдоль улицы. И загалдели…

— Стой! — надрывался Игнатьев. — Отставить!.. Они сдаются, видишь, руки подняли…

Но увлеченные стрельбой солдаты не слышали команды. Тогда прапорщик махнул по шее первого попавшегося под руку «земляка», и это испытанное средство подействовало: солдаты успокоились.

Перед фронтом лежало с десяток неподвижных тел в австрийских мундирах и два в наших: это — дозорные солдатики пали на своем славном посту, предупредив товарищей об опасности.

Человек пятнадцать австрийцев, подняв руки вверх, подходили к нашим. Их лица были бледны.

Когда они поравнялись с трупами своих — один из мертвецов вдруг вскочил и, подняв руку кверху, заорал благим матом:

— Ой, пане, гевалт!.. Ой, пане, не стреляйте!..

Солдаты захохотали. Мертвое выражение соскочило с лиц пленников, и они заулыбались.

Солдаты полезли в карманы за табаком. Заговорили с австрийцами. Напряженное состояние прошло…

Люди стали людьми.

В деревню бежали солдаты: подкрепление, теперь уже не нужное… Кругом загалдели, засуетились. И только посредине улицы неподвижно лежали убитые.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 432 (6 июля). С. 3.

ОРЛЕНОК

Кругом нас тянулись бесконечные болота и низкорослый лес с разбросанными повсюду маленькими зацветающими озерами. То ближе, то дальше гремели пушки, но в эти дикие места противник не решался двинуть артиллерию, и наша маленькая часть, изучив запутанные дефиле[1], с успехом отражала австрийцев, едва они пытались продвинуться вперед. Так мы и жили в лесу, дичая здесь и в свободное время занимаясь охотой на коз и диких уток, в изобилии обитавших по болотам.

Так прошел целый месяц. Среди солдат носились слухи об упорных боях, но в наших болотах все было спокойно. Окрестные деревни еще не испытали на себе вражьих набегов, крестьяне жили на местах, и не было ни в чем недостатка. Солдаты отдохнули, подбодрились и, возбуждаемые грохочущими отовсюду пушечными выстрелами, томились бездействием. Захотелось пострелять…

Это желание было общим, и потому начальство всегда удовлетворяло просьбы желающих отправиться на разведку. В этом отношении особенно прославился поручик О., маленький, заросший до бровей сибиряк… Не проходило двух-трех дней, чтобы он не привел пленных. Забираясь в тыл расположения противника, он постоянно тревожил австрийцев, рискуя на самые невероятные вещи.

В конце концов австрийцам он до того надоел, что они при встречах кричали, высовываясь из окопов:

— Подарите нам Орленка, мы бы его повесили! — на что наши солдаты отвечали соответствующим образом.

А О., или, как кричали австрийцы, Орленок, не унимался. Его команда состояла всего из десяти человек, но эти люди стоили роты: до того они «спелись» и стренировались.

Тут были и кавказцы, хищные и стройные, были и два молчаливых солдата с калмыцкими лицами, и серенький мужичонка с Урала, кроткий и ласковый, но уже переколовший десятка два австрийцев. За старшого в команде, помощником О., ходил рябой

[1] *Дефиле* (франц. defile) – узкий проход между горами, водными преградами.

и угрюмый ефрейтор по прозвищу Сиволдай, до войны, по собственному признанию, «занимавшийся босячеством».

Обыкновенно под вечер «компания» выходила за нашу сторожевую линию и исчезала в лесу.

— Сиволдай! — кричали солдаты вслед разведчику.

— Спроворь мне у австрийцев баклажку почище, офицерскую…

— А мне бинокль поглазастей! — наказывал другой.

— Ладно, — бурчал в ответ Сиволдай и не сегодня, так завтра приносил и вручал просимое.

— За бинокль — полтинник, — замечал он при этом. — Чуть не убил австрияк… Из револьвера ахнул.

Австрийцы Орленка ненавидели. Все его предприятия поражали крайней смелостью и самым пренебрежительным отношением к врагу.

Однажды австрийцы отрезали разведчиков от лесу, и, казалось, пришлось пропадать. Три дня скрывалась команда, и люди без пищи заскучали. На четвертый день австрийцы окружили Орленка, но ему посчастливилось, и он вместе со всей «компанией» ускользнул из кольца. А в ближайшую ночь еврейский мальчик вручил О. письмо австрийцев с предложением сдаться и обещанием «оставить при господине лейтенанте его саблю».

На письмо Орленок ничего не ответил, а мальчугана, «чтоб не прошпионил», выпорол и перекочевал в другое место.

В ту же ночь он прокрался к австрийцам, напал на фольварк, где спокойно ужинал какой-то штаб. Разведчики постреляли, захватили стоявшее на столе вино и снова удрали в лес… А оттуда к своим.

Сиволдай в этот раз «конфисковал» мундир австрийского генерала с важными документами в кармане, за что получил Георгия.

Когда среди солдат стали носиться слухи, что их часть скоро сменят, вылазки стали особенно частыми.

Однажды, пробираясь корявым, частым и болотистым леском к расположению противника, разведчики наткнулись на секрет. Ярко вспыхнули в темноте молнии выстрелов, гулко в ночной тишине прогремели их раскаты, и, глухо охнув, упал Сиволдай.

Убили…

Надо было бы повернуть назад, нехорошо начиналась разведка, но упорен был Орленок. Снова стали красться вперед, нагнувшись, перебегали полянки, ползком ползли по открытым местам.

И опять набрели на секрет, опять разведчиков обстреляли.

Плохая ночь!

Повернули назад, и вдруг в тылу немецкая речь. Обошли, проклятые!

Но не в первый раз случалось такое дело. Не растерялись разведчики и стали уходить в сторону.

А уж слышит поручик, как вблизи по-чешски и по-немецки кричат, что русские здесь, что их окружили, что попался Орленок.

«Ну, — думает, — если и объявили они мне шах, то до мата еще далеко… Уйдем!»

Выползла команда на опушку, а за лесом болото необозримое поблескивает под луной и шелестит камышами.

«Как утки зароемся здесь, — думает офицер. — Ищи нас тут».

И вдруг видит он, что издалека по дороге ползет к лесу что-то длинное и черное… И громыхает.

— Колонна австрийская, ваше благородие, — шепчут солдаты. — С артиллерией… в наступление идет.

— Ну, ребята, — говорит О. — Теперь нам не прятаться надо, а возвращаться во что бы то ни стало к своим и предупредить их. Всем нам «кучей» не пройти. Ползи поодиночке, и вот каждому задача: пусть как может скорей вернется к своим и скажет, что австрийцы собираются нас атаковать… Пользуйся всем, чтобы пробраться через их цепи.

И разведчики расползлись.

Австрийцы шарили по лесу. Но трудно им было. Ночь выпала темная, а лес изобиловал кочками и ямами; неудобный был лес…

Орленок полз впереди.

Вот уж близко-близко от него шорох и голоса врагов. Хрустят ветки под ногами… Эта черная, едва различимая масса впереди — солдаты.

Притаиться за кочкой? Может быть, не заметят? Или произвести суматоху у противника и тем самым дать возможность хоть кому-нибудь из его команды вернуться вовремя к своим?

О. стал во весь рост. Револьверные выстрелы гулко захлопали один за другим. Черная масса надвигающихся австрийцев прянула на секунду назад, загалдела и открыла беспорядочный огонь.

Орленок упал.

Часть разведчиков воспользовалась сумятицей и проскользнула вперед. Теперь они бежали к своим. Сердце билось легко и радостно, и не пугали затихающие выстрелы позади.

Вот один из солдат услышал рядом с собой треск валежника.

— Кто? — шепотом воскликнул он и разом присел, готовя винтовку.

— Свой… Это ты, Добравчук? — ответили из темноты, и кто-то тихо и радостно засмеялся: — А ведь прорвались мы, Добравчук… Удрали!

Кроме этих двух никто не вернулся.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 433 (13 июля). С. 3.

ВСТРЕЧА

Она подошла нерешительно, издали приглядываясь к моим погонам… Вся в черном, с желтым лицом и воспаленными глазами. Я встал… Я заранее угадал, зачем я нужен этой даме.

— Вы знали Сережу?.. Сергея…? Ведь вы того же полка?

Да, я знал.

— Скажите, скажите, как это случилось? Может быть, вы все видели, присутствовали при последней минуте…

— Нет. Я был ранен накануне. Но кое-что знаю по рассказам очевидцев… Ваш сын был ранен в грудь. Пуля…

— В грудь? Вы говорите, в грудь? А не в голову? Правда ведь, что не в голову?

Сквозь слезы в голосе дамы звучала просьба. Дрожащей рукой она дотронулась до моей руки.

— Нет, сударыня. Пуля прошла около сердца. Вашего сына отнесли в хату, где он жил минут двадцать.

— Вот видите… А мне рассказали, что Сереже осколком снаряда сорвало часть черепа… Обнажился мозг… Понимаете, Сере-

жин мозг… Двигать мальчика было уже нельзя… Будто бы голову ему прикрыли фуражкой и так оставили.

Глаза дамы то высыхали, то вновь наполнялись слезами. Видимо, рассказывая о сыне, она представляла его лежащего в поле, с окровавленной, прикрытой фуражкой головой. Мне казалось, что она сейчас упадет в обморок.

— Все это неправда, — твердо сказал я. — Ваш сын был ранен в грудь… Это я знаю наверное.

— Это так ужасно! — тихо, жалобно и, видимо, не слыша меня, говорила дама, прикладывая к глазам маленький, скомканный в комочек платок. — В голову… А ведь какая была голова, какая светлая, ясная… Мозг… прикрытый фуражкой…

— Ручаюсь вам, что этого не было, — громко сказал я, стараясь вырвать ее из заколдованного круга представлений. — Не было… Ваш сын был ранен в грудь…

И, словно просыпаясь, она спросила:

— А не мучился он? Говорил ли он что-нибудь?.. Ведь не один же он был, умирающий…

— Конечно, не один и не мучился совершенно… Но я ничего более сказать вам не могу, я не присутствовал при смерти вашего сына. Я выбыл накануне. По рассказам товарищей я знаю, что ваш сын штыками выбивал из деревни засевших там венгров. Ваш сын был очень смелым…

— Да, да, это все говорят… И командир батальона… Еще бы!.. Ведь Сережа ушел добровольцем!

— …и часто рисковал собой без всякой необходимости. Командиру роты приходилось заставлять его ложиться в окоп. Только после официального приказания он подчинялся… Он был очень смелым…

— Да, да, — тихо покачивала головой дама, беспрестанно поднося к глазам беленький комочек. — Да, да…

— В день своей смерти ваш сын взял винтовку и самолично заколол несколько венгров… В бою он бывал очень жестоким…

— Говорят, его убила случайная пуля?.. Правда это?

— Этого, право, не знаю…

Мы замолчали. Мимо проходили офицеры; многие сидели в ожидании своей очереди на деревянных диванчиках. У моло-

денького подпоручика напротив странно подергивалась голова. Моя собеседница вздохнула и, протянув мне руку, тихо направилась к ожидавшему ее писарю… Маленькая, сгорбленная, потерялась в толпе ожидающих офицеров.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 434 (20 июля). С. 3.

СКАЗКА ЮНОСТИ

Они были как раз против белых каменных ворот фольварка, когда по «цепочке», соединяющей сторожевой взвод с полком, прокричали:

— Стой!.. Колонна остановилась… — и через минуту возвестили, радуя солдатские сердца:

— За кухнями послали; будут обедать…

— Со… ставь! — скомандовал офицер, и освобожденные от винтовок солдаты, стаскивая с сопревших плеч мешки и скатки[1], расположились на густой и сочной траве в тени каменной ограды. И сейчас же, послав пятерых к роте за обедом, стали мастерить костры и греть в котелках воду для чая…

Как будто бы затем только и шли, а грохочущие недалекие звуки пушечной пальбы — лишь случайное и не касающееся их явление. День был зноен и тих, огромные каштаны, не шевелясь, стояли за оградой, как руки, протянув над отдыхающими солдатами свои неподвижные ветки…

За воротами послышался тоненький голосок, напевающий песенку. Скрипнула калитка…

— Ах! — хорошенькая девушка в белом платье отступила назад, притворяясь испуганной. И сейчас же, сделав гордое лицо, направилась было вперед, но офицер, прикладывая руку к козырьку и улыбаясь, спросил, не приняла ли она их за австрийцев, и панна весело с ним заговорила, мешая русскую речь с польской… Конфузливо улыбаясь, подошел денщик и принес обед в солдатском котелке.

---

[1] *Скатка* – здесь: шинель, свернутая, скатанная в рулон для удобства ношения в тех случаях, когда она не надета в рукава или внакидку. Наиболее распространенный способ ношения скатки — через плечо.

— Простынет, ваше благородие, — сказал он, подавая деревянную ложку и неодобрительно косясь на девицу.

Панна, вытягивая красивую шейку, с любопытством заглядывала в котелок. Там болталась бурая жидкость, «полевой суп», сваренный в полевой кухне, и офицер со смехом видел, что в глазах его новой знакомой отражаются ужас и сострадание.

— Не хотите ли попробовать? — весело предложил он. — Ей-богу, очень вкусно…

Но панна не хотела… Она очень благодарит, но, к сожалению, уже завтракала. А вот не хочет ли пан офицер закусить у них? Он, кроме завтрака, получил бы и стаканчик коньяку.

Офицер взглянул на часы. В его распоряжении по крайней мере час, а такими предложениями грех неглижировать[1] человеку, находящемуся в его положении… Он улыбнулся. Панна подала ему руку, и они пошли до дома.

А за ними поплелся денщик, справедливо полагая, что и он не останется без угощения.

Через полчаса офицер, сытый и счастливый, сидел на пуфике в ногах у качалки, в которой лежала его новая знакомая. Они уже болтали, как давнишние друзья; ведь так легко и скоро можно сойтись, когда обоим по девятнадцать лет!..

— Папа в поле, мама в Варшаве, — щебетала панна. — В доме теперь я — все. Папа меня очень любит… А вы не были еще ранены?..

— Нет, еще не был, — ведь не прошло и месяца, как он окончил училище.

Было так славно сидеть здесь и смотреть в темнеющие от пристального взгляда глаза девушки, но в окно заглянуло загорелое солдатское лицо, и офицер заторопился, прощаясь и на ходу надевая снаряжение. Панна Зося пошла проводить и, расставаясь у ворот, вкрадчиво просила:

— Приезжайте сегодня вечером.

И была при этом похожа на кошечку.

---

[1] *Неглижировать* (от фр. négligé — «небрежное») (разг. устар.) – пренебрегать, относиться к чему-н. без надлежащего усердия, внимания.

Поручик растерянно смотрел на нее… Разве бы он не приехал, если бы мог? Но обещать он не может; неизвестно, где расположится полк биваком, долго ли там простоит.

— Нет… все-таки приезжайте.

Кошечка, прямо кошечка.

— Постараюсь, но…

— Вы приезжайте… Слышите?

И белое платье исчезло за калиткой.

Солдаты ухмыляются. И их улыбки говорят с мужичьей прямотой: не плошай, брат.

Под вечер пришли на бивак; чуть было не назначили дежурным, насилу упросил товарища заменить его: уж очень зубы разболелись. А когда стемнело, выпросил у командира связи велосипед и покатил назад. Мигом отмахал восемнадцать верст, и вот перед ним — белые ворота фольварка. Свернул в них, ветром пронесся мимо посторонившегося и с удивлением взглянувшего на него пана в крагах, подъехал к подъезду.

А у подъезда генерал, два полковника, офицеры, солдаты… Какой-то штаб, должно быть, остановился в фольварке. В окне радостно улыбнулось ее лицо и исчезло.

— Поручик, вы зачем здесь?

— Я, ваше превосходительство… я…

— О, пане, это мой двоюродный брат…

Кошечка выпрыгнула на крыльцо и, метнув на генерала ласковый взгляд, бросилась к офицеру.

— Он заехал на минуточку повидаться с нами. На одну минуточку!..

От нахмуренных глаз генерала панна утащила его в сад, на старую скамейку под тихим каштаном.

Был вечер, темнело небо и сгущались сумерки. Случай у крыльца как-то сразу сблизил офицера с девушкой. Она стала для него близкой-близкой, почти родной. И он сказал ей об этом. Сказал с молящей улыбкой, наклонясь к ее руке. А потом обоих захлебнула горячая волна нежных слов, поцелуев и объятий.

На рассвете офицер простился и погнал стального коня к биваку. Там уже готовились к выступлению.

Прошел день, два, неделя, месяц. Начались непрерывные бои, тяжелые переходы, трудная боевая жизнь в разоренной войной стране. И воспоминание о счастливой ночи забылось, затертое суровыми насущными впечатлениями. Но не исчезло. Когда офицер лежал в госпитале, оправляясь от тяжелой раны, всплыл в бреду образ милой белокурой девушки и уже не оставлял. Казалось, что никогда в жизни не встретить ему более красивой, более доброй и ласковой девушки, и душа тосковала, как об утрате. Но ошиблась душа. Когда офицер поправился настолько, что стал выходить на улицу, то во время одной из прогулок на него блеснули знакомые глаза, и она узнала его… В их фольварке хозяйничали теперь немцы, и благодаря им возобновилась сказка двух юных любящих душ.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 436 (3 авг.). С. 3.

МЕРТВЫЙ ГОРОДОК

I

Мы оставили город ночью и ушли за реку, взорвав единственный деревянный мост. На рассвете на улицах показались австрийские разъезды; город был занят противником…

Маленький, весь в садах, с господствующим над всем высоким, унылого вида костелом, типичный польский городок — он лежал теперь мертвым, весь в развалинах, пожарищах и пробоинах. На улицах было тихо и пусто… Лениво толкались всюду австрийские солдаты, копались в заваленном кирпичом обывательском скарбе, вытаскивая из-под хлама то детскую игрушку, то разбитую чашку… Поднимет, посмотрит и снова бросит.

Освоившись с положением, выползли из подвалов не успевшие уехать евреи. Озираясь и вздрагивая, поплелись по улицам, со страхом обходя валяющиеся повсюду шрапнельные стаканы и низко кланяясь встречным солдатам. А возле киоска, где раньше продавали стаканами содовую воду, села старуха с корзинкой и стала торговать грязными яблоками.

Когда стемнело, в окнах уцелевших домов зажегся свет. А ночь была черная, и странно было видеть, как светили в ее беззвездную тьму три пробоины в стене костела… В нем остановились солдаты.

Немного раньше, по утлому, наскоро наведенному мостику, на другую сторону реки прошел сторожевой взвод австрийцев и занял восточную окраину предместья. В окно халупы, где сидел переодетый польским подростком гимназист пятого класса смоленской гимназии Иван Рыкачев, заглянуло усатое лицо солдата и сейчас же исчезло. Вслед за этим послышались голоса на дворе.

Рыкачев отворил дверь.

— Эй, хлопец! — крикнули ему по-польски, — отворяй сарай… Неси ключ.

Ключа у гимназиста не было, и он молчал, притворяясь испуганным.

— Эх! — махнул рукой огромный рыжий солдат и, засунув кол в щель двери, высадил ее. Австрийцы вошли в сарай и стали топорами прорубать в стене амбразуру для пулемета.

«Хорошо бы теперь заплакать! — подумал Рыкачев. — Тогда бы не было сомнения, что я хозяйский сын, оставленный сторожить дом».

И сейчас же небрежно решил:

«Не стоит».

Он так привык прокрадываться за черту расположения противника и толкаться среди австрийцев, что в глубине души считал это дело очень пустым и легким… И награды, к которым его представляли, он находил слишком высокими.

— Мальчишка! — крикнули ему. — Растопи-ка печку в хате, пока мы здесь копаемся… Гостинца дадим.

Рыкачев не спеша вернулся домой и стал разводить огонь. Теперь он знал, что через два-три часа у него будут все нужные сведения о гарнизоне, занявшем город.

Вошли солдаты. Смеясь, вытащили сплюснутого в мешке и ощипанного гуся и стали варить суп. Гусь был украденный; австрийцев это очень забавляло… Рыкачев попросил папиросу у рыжего, выламывавшего дверь солдата, сел на лавку и стал слушать. Когда суп был готов, накормили и разведчика.

Поужинали и легли спать.

Глубокой ночью Рыкачев встал, из озорства вынул замки из рядом стоящих винтовок, взял у соседа фляжку с ромом и вышел на двор. В сарае, у амбразуры, сидели, покуривая, караульные.

— Кто? — спросили они.

— Свой, — ответил Рыкачев и, сунув замки в кучу навоза, вышел на улицу. Хата стояла с краю… За ней тянулся поросший редким кустарником городской выгон. Тихо и спокойно пошел гимназист на восток. Часа через два его окликнули с нашего полевого караула.

II

Два дня прошли, и городок как будто стал оживать. Открылись лавчонки с товаром рубля на полтора всего, смелее заходили по улицам оставшиеся жители. Зашумел городишко…

А в это время по трем дорогам с востока уже тянулись к нему русские колонны. Лениво шлепая в грязи ногами, тащилась пехота, громыхала артиллерия.

И только рассвело, с высот, командующих над местностью, посыпались в городок визгливые злые снаряды. И снова все, что оставалось в нем не военного, не вражьего, попряталось в подвалы и погреба.

Через несколько часов австрийская артиллерия была сбита, и наша пехота бросилась к реке.

Навели мост и ворвались в город.

Из окон, из каждой щели, высовывались винтовочные стволы, и наших солдат осыпал град пуль.

Труден бой на улицах для наступающего! Враг засел в домах, за каменными стенами, и из окон безнаказанно уничтожает атакующих.

Ожесточились солдаты, бросились в штыки, врываясь в занятые австрийцами строения. Всюду стоял какой-то непередаваемый вой.

Скоро все было кончено. Мы вернули городок, взяли много пленных и двинулись дальше. По улицам, на запад, непрерывно текла река наших войск. В голове одной колонны, рядом с двумя молодыми веселыми офицерами ехал гимназист Рыкачев. Одет он был как и раньше, только у него на груди висел золотой Георгиев-

ский крест. Разведчик смеялся, глазел по сторонам и изо всей силы колотил ногами свою тощую исхудалую лошадку. Карманы его куртки были набиты яблоками.

Из подвалов и погребов вылезали евреи и отвешивали низкие поклоны проходящим.

Опубл. и печ. по: Столичная молва. 1915. № 437 (10 авг.). С. 1.

КАБАН

Наш полк занимал позицию в лесу… Между корней огромных дубов и грабов вырыли мы себе норы-окопы и, протянув перед собой несколько рядов колючей проволоки, спокойно ожидали врага, пробиравшегося к нам через лесные дебри и болота.

Проходил день за днем, а противник все не показывался… Мы освоились уже с тихой лесной жизнью, полюбили однообразный шум ветра в ветвях столетних деревьев — тихую песнь леса, убаюкивающую и успокаивающую наши истрепанные нервы.

Стояла ясная и теплая осень, полная тишины и шороха падающих листьев. По вечерам все в лесу замолкало, и только косые лучи солнца золотили огромные стволы, пронизывая мглистую чащу… И спокойно глядели отдохнувшие лица солдат.

В такие минуты казалось, что война уже кончена, что больше не будет ни выстрелов, ни крови и что наша «сторожевка» только так, для «проформы». Но по ночам, когда все замолкало и над лесом царил только несмелый шорох листвы, вдруг откуда-то издалека приносил ветер угрюмое злобное рокотание… И знали мы, что это погромыхивают пушки, что где-то идет ночной бой и льется человеческая кровь…

С каждой ночью все ближе и ближе слышался тяжелый голос пушек и все тревожней становились наши сны. Строже стали лица солдат, не было уж в окопах прежнего бесшабашного балагурства, и все тщательнее проверяли мы, офицеры, полевые караулы по ночам.

Было отдано в приказе о готовности к скорому соприкосновению с врагом, а в тот же день начальник одного из караулов донес

мне, что на его постах ночью было неспокойно. Какой-то зверь все время фыркал и храпел поблизости от них, ломал ветки, а на рассвете ушел.

«Оборотень», — решили солдаты…

— Не кабан ли? — спросил я, но унтер-офицер ничего на это не мог ответить: караульные попались городские и в «зверье» ничего не понимали.

— Не знаем, не охотники мы, — отвечали солдаты. — А только жутко было, ваше благородие… Уж очень оно храпело и ворочалось в кустах… Чисто оборотень.

Почему «оборотень» должен очень храпеть и ворочаться, землячки не поясняли.

— А почему не стреляли?

— Так что тревожить людей не хотели, ваше благородие. Видим, что оно не противник и вреда не делает, и поопасались производить тревогу.

— Это правильно.

Выслушав доклад, я решил эту ночь высидеть с караулом, чтобы подстеречь кабана, ибо по рассказам о производимом шуме зверь был огромный. Во мне заговорил охотник, и я не хотел упустить случая интересной охоты. Предупредив фельдфебеля, чтобы он не тревожил людей, если услышит один-два выстрела, я часов в одиннадцать отправился к месту, где был замечен зверь, взяв в провожатые докладывавшего мне унтер-офицера.

Ночь была тихая и теплая. Знакомой тропинкой шли мы по лесу, всей грудью вдыхая бодрый осенний воздух, подстрекавший, словно хмельное вино, к чему-то смелому и опасному.

Вот тропинка кончилась, захрустел под ногами валежник, и нас шепотом окликнули:

— Кто идет?

— Ну, что, ребята? Храпит? — весело спросил я, нагибаясь к лежавшим во мху солдатам.

— Не храпит, ваше благородие, а хуже, — тревожно ответил чей-то тихий голос. — Из секрета донесение принесли — австрийцы замечены.

Первое известие о противнике всегда нервирует — с этим уж ничего не поделаешь, и чтобы ободрить солдат, встревоженных темнотою и неожиданной новостью, я весело спросил:

— А чем же хуже? Что ты, по грибы в лес-то приехал или воевать? Ну-ка, что скажешь?

Солдатик сконфузился. Он-то, оказывается, и был гонцом из секрета.

Меня прикрыли шинелями, и под ними я, при свете электрического фонарика, набросал донесение начальнику участка, а затем, вместе с унтер-офицером и вестовым, стал пробираться к секрету, чтобы на месте все проверить.

Теперь нам приходилось быть осторожными, и мы тихо пробирались один за другим, пережидая каждый шорох и каждый треск впереди. Темнота кругом была полная. Вершины деревьев сплелись над нами в непроницаемый шатер, сквозь который в черные дебри леса не блестела ни одна звездочка.

— Сюда, ваше благородие! — шепнул мне солдатик и, схватив за руку, потянул под кусты. Я согнулся, пополз и, споткнувшись о ружейный приклад, растянулся рядом с лежавшим солдатом.

Это и был секрет.

Я шепотом стал расспрашивать. Оказывается, с час назад здесь был слышен нерусский разговор и прямо перед секретом, за деревьями, несколько раз блеснули отблески света, словно от карманного электрического фонарика. А совсем недавно, теперь уже влево, было слышно фырканье и хруст валежника, будто там прошел большой зверь.

Солдаты были возбуждены. Тому, что особенно заслуживает внимания — голосам и мелькнувшему свету они теперь, видимо, не придавали уже значения, испуганные прошедшим зверем. В этом, конечно, сказались разговоры сменившихся караульных об оборотне.

Теперь, по-моему, надо было бы отправиться ползком к тому месту, где приблизительно блеснул свет, и обследовать, не спрятался ли там австрийский секрет.

Но человек, приближающийся к невидимому, спрятавшемуся врагу, обнаружит себя шорохом и будет, несмотря на темноту, обречен на гибель. Кого же послать мне на это дело из этих рядом со мной лежащих людей, как сделать выбор? И возможен ли он?..

Самое простое — ползти самому: я и моложе, и ловчее, и одет удобнее для этого рискованного предприятия. Скверно, если австрийцы подпустят меня вплотную и схватят… Правда, выручат мускулы и браунинг, но все же…

— Ребята, если я крикну, беги все на выручку. Понимаете?

— Будьте покойны, ваше благородие… Не выдадим.

— А мне, ваше благородие, с вами позвольте.

Это говорит давешний, пристыженный мною солдатик, шепчет ласково и просительно. И я его вполне понимаю.

— Ну, с Богом!

И мы ползем. Под нами мокрый мох, влажная от росы трава, острые сучья… При каждом треске хрустнувшей под нами ветки мы припадаем к земле и ждем… Но впереди тихо, и мы снова ползем.

— Эх, покурить бы!

Должно быть, мы уже близки к цели. Сейчас мы лежим ничком, отдыхая, но это уж последняя остановка — через несколько минут мы будем на том месте, где блеснул свет. Слева на нас веет холодком, почва снижает туда — там, должно быть, лесная плотина.

И вдруг в той стороне раздается треск, хрюканье, и что-то большое движется наперерез нам. Ну, конечно, кабан! Я слышу, что мой спутник выносит вперед винтовку, готовясь стрелять, и хватаю его за руку. К чему! Если впереди есть австрийцы, они сделают это без нас — кабан идет как раз в нужном направлении.

И я не ошибаюсь.

— Трах, трах, трах! — один за другим, такие гулкие в ночной тишине, раздаются винтовочные выстрелы, и при их мгновенном свете мы, совсем близко от себя, ясно видим группу стреляющих. Они лежат к нам боком…

— Ура! — кричу я, стреляя из револьвера и бросаясь вперед. И еще не добежав, я ловлю за собою крики и треск: это спешат на выручку мои люди.

Через несколько минут все было кончено. В наших руках оказалось шесть пленных венгров — здоровенных, свирепого вида парней, угрюмо исподлобья посматривающих на нас. Видимо, они никак не могли прийти в себя.

Уходя, мы обратили внимание на хрипение в кустах: там умирал раненный двумя пулями огромный кабан. Его докололи штыками и утром притащили в окоп. Солдаты освежевали тушу и, разделив поровну, стали на кострах жарить мясо.

Ужин вышел превкусный. И был он — как поминки нашей тихой лесной жизни: на следующий день по всей нашей сторожевой линии уже кипел яростный бой.

Подп.: Арс. М-ий.
Опубл. и печ. по: Наша родина. 1915. № 5 (17 сент.). С. 11 – 12.

ЧУДИЩЕ

Перебежками мы продвинулись к противнику шагов на восемьсот и здесь окопались, ожидая ночи для того, чтобы подойти еще ближе и утром броситься в атаку. Уже вечерело, и казалось, что за этот остаток дня не должно случиться ничего особенного, как вдруг влево от нас раздались крики:

— Автомобиль!.. Блиндированный автомобиль[1]!

С горки, по шоссе, вдоль леса мчалось к нам, сломя голову, железное чудовище. Вот оно приостановилось около неприятельских цепей, проскочило вперед и, уже полем, подпрыгивая на кочках, ринулось к нам.

Наши пулеметы надрывались; винтовочный огонь был убийственный, но стальная машина все же неслась к нам, словно издеваясь над всеми нашими усилиями.

Все стихло.

Стало слышно, как австрийцы торжествующе загорланили в своих окопах и, высовываясь из них, замахали руками и фуражками. Обрадовались…

А автомобиль тем временем подкатил к нам шагов на сто и повернул боком, не спеша двигался вдоль нашей позиции, «обрабатывая» наскоро, под огнем, возведенные окопики из скорострельной пушки и пулеметов. Артиллерия била в него на удар… Снаряды сыпались вокруг, столбы земли взлетали то справа, то слева от него, но разве легко попасть из за версту стоящей пушки в двигающуюся машину!

Мы же — что могли мы сделать пулей с этим стальным диаволом!

Тем временем противник осмелел. Пользуясь тем, что наше внимание отвлечено автомобилем, австрийцы начали перебегать,

[1] *Блиндированный автомобиль* (устар.) – броневик.

пытаясь, видимо, приблизиться к нам для атаки. Но мы тотчас же поставили их на место своим огнем, и они вернулись на прежнюю позицию; оттуда принялись осыпать нас дождем пуль.

А «черт», как окрестили машину солдаты, носился и носился вдоль нашей линии, причиняя нам немало неприятностей. И вдруг после одной из очередей, выпущенной по нему нашей батареей, — автомобиль накренился набок и встал. Что случилось с ним, мы не знали, но, видимо, осколок гранаты что-то сильно повредил в машине.

Вновь затрещали наши пулеметы, но автомобиль не уходил, лишенный возможности двигаться, и только яростно отвечал огнем.

И вдруг замолчал: расстрелял все запасы патронов и снарядов!

Надо было видеть, что сделалось с австрийскими цепями: оттуда к нам понеслись дикие истерические крики, какой-то вой, полный отчаяния и злости. Вот из окопов выскочило человек двести, и они устремились к раненой машине, вероятно, с надеждой вытащить ее за свои цепи!

Но не тут-то было!

Автомобиль был от нас шагах в шестидесяти, и пулеметы без труда скосили на полпути бегущих врагов. Остатки повернули обратно.

— Ура! — пронеслось по нашим цепям. Еще бы, ведь железный дьявол подстрелен и так или иначе будет нашим.

— Добегался!

Между тем темнело. Над полем, с застрявшим на нем автомобилем, засинел туман и скрыл от наших глаз вражьи окопы. Наступила ночь.

Мы выслали вперед секреты и, отделив сторожевой линией автомобиль от австрийцев, хотели уже спокойно подойти к нему и предложить команде его сдаться в плен, как вдруг голубая полоса света брызнула со стороны противника и начала «ощупывать» поле.

— Прожектор! — пронеслось у нас.

А голубой луч медленно двигался, обшаривая поле, и, найдя автомобиль, словно прирос к нему, залив его фантастическим светом.

Видимо, враг не собирался дешево уступить железную игрушку.

Все поле вокруг машины было ярко освещено, и едва появлялся здесь какой-нибудь солдатик, как десяток пулеметов принимался одновременно «работать», и бедняга падал…

Но все усилия, принимаемые австрийцами для спасения автомобиля, конечно, не могли заставить нас отказаться от своего плана.

Прожектор светил ярко, но от машины протянулась по полю длинная черная тень, и этой-то тенью мы и решили воспользоваться.

Крикнули охотников; их нашлось сколько угодно. Командовал ими поручик Б…

У саперов достали длинный прочный канат и поползли, невидимые, в черной теневой полосе. Австрийцы молчали.

И вдруг на черной стороне подстреленной машины блеснуло несколько огоньков, и к нам донеслись револьверные выстрелы: это команда автомобиля заметила подползающих охотников и открыла огонь.

Наши залегли.

— Прекратите стрельбу! — крикнул по-немецки поручик Б. — Сопротивление бесполезно, а за каждого нашего раненного солдата все вы заплатите своей головой.

— К черту! — закричали из автомобиля, и снова затрещали револьверы.

Тогда поручик и двое нижних чинов бросились вперед, волоча за собой конец размотанного каната. Подбежали вплотную и бросились под колеса: здесь они были в безопасности.

Прикрепить конец веревки к автомобилю было делом нескольких минут; веревку передали в цепи, и вот под хохот и свист солдат машина «вместе с содержимым» двинулась в нашу сторону.

Но австрийцы сделали-таки нам пакость: увидев, что автомобиль пришел в движение, они открыли по нему ураганный огонь из всех своих пушек:

— Если не наш, дескать, то и ничей…

Но благодаря ли ночи, или обманчивому свету прожектора — ни одна из гранат не попала в цель, и мы благополучно дотащили автомобиль до оврага.

Увидев, что машина исчезла, голубой луч света, поблуждав растерянно по полю еще несколько минут, взметнулся в небо и погас…

Все было кончено.

Подп.: Арс. М-ий.
Опубл. и печ. по: Наша родина. 1915. № 6 (24 сент.). С. 8.

НОЧЬ В ПЛЕНУ

Рассказ офицера

Падал дождь, и шорох ветра в оголенных ветвях леса напоминал чьи-то печальные вздохи. Словно где-то рядом умирал безмолвно сказочный богатырь, истомленный в долгой и неравной борьбе.

После схватки с противником мы отошли, затерялись в бесконечных болотах и теперь пробирались к своим.

Кругом рыскали неприятельские разъезды, порой чуть не натыкались на нас, и мы в такие минуты, затаив дыхание, недвижимо лежали в кустарнике, отчетливо слыша рядом с собою чуждую речь.

Но случай хранил нас.

Мы шли по компасу. Прикрепленный к футляру моего бинокля, он был нашим проводником, и по ночам его светящаяся стрелка, как бледно-голубой луч, указывала нам путь на восток:

— К своим.

Так было двое суток.

Но вот с инструментом что-то случилось; как сумасшедшая закружилась стрелка вокруг своей оси, запрыгала и вдруг неподвижно легла под стеклом, видимо, соскочив с острия.

Компас испортился.

Отчего произошло это — мы не знали. Говорят, существуют «магнитные бури», которые портят прибор… Нас не интересовала

причина, мы понимали лишь то, что теперь нам не найти дорогу к своим и не выбраться из этих бесконечных лесов и болот.

Чего только не делали мы с нашим компасом! И встряхивали его, и крутили, но проклятая машинка не поддавалась никаким усилиям.

— Забастовала… Наверное, в Германии сработана, ваше благородие, — усмехались солдаты и, пользуясь случайной остановкой, вынули кисеты с табаком — покурить захотелось.

Блеснули огоньки, и девять красненьких точек засветились в непроглядной темноте осенней ночи. Ветер зашумел сильнее и вдруг затих…

Мы двинулись дальше.

Но не прошли мы еще и ста шагов, как в кустах вокруг нас затрещало, заметалось что-то, и десятка четыре немцев с криком окружили нас… На каждого моего солдата навалилось по несколько врагов, и через минуту все было кончено. Мы оказались в плену.

Затем наступила относительная тишина, и я услышал, как громко выругался, отбиваясь от облепивших его врагов, унтер-офицер, гигант и силач Евдоким Пахомов.

Но и его повалили.

Конец!..

Нас повели.

Через десять минут мы очутились в крошечной, почти пустой деревушке, занятой отрядом противника. Конечно, оружие было отобрано, и нас подвергли самому тщательному обыску…

Меня повели к начальнику отряда.

Толстый, огромный офицер-кавалерист сидел в грязной хате, за простым крестьянским столом, на котором красовались консервы и бутылка вина. Пахло крепкой сигарой.

Вид у немца был высокомерный и нарочито величественный; по-видимому, он сделал все, чтобы произвести на меня впечатление.

Последовали формальные вопросы, сделанные на ломаном русском языке: какой части, кто командир полка и пр.

— О, капитан! — улыбнулся я в лицо допрашивающему меня врагу. — Вы отлично знаете, что русский офицер на такие вопросы не отвечает. Лучше прекратим этот разговор.

Немцу не понравилась моя веселость. Он выругался.

— Не следовало бы забывать, что вы находитесь в моей власти! — надменно прохрипел он, подбочениваясь. — Вы — пленник!

Я пожал плечами.

— К сожалению, да… но, надеюсь, вы не трактуете это слово так же, как ваши союзники курды?

Офицер побагровел. Ей-Богу, он был близок к тому, чтобы приказать меня расстрелять, и только врожденная немецкая практичность спасла меня… Еще бы, ведь за пленение русского офицера он получит награду.

Меня повели обратно.

Еще при входе в хату я мельком заметил чьи-то огромные глаза, блеснувшие из темного угла около печки. Там сидела девушка, должно быть, дочь не успевшего бежать хозяина. «Бедная, — подумал я, — каково ей среди немцев!..»

И сейчас же забыл о ней.

Теперь, когда я выходил, она будто нечаянно столкнулась со мною в дверях и сунула в руку кусок хлеба.

Милая, как благодарен я ей был! Как ожила душа от этого неожиданного участия и ласки…

Я невольно остановился, но девушка уже промелькнула, и шедший сзади солдат грубо толкнул меня в спину…

Всех нас, пленников, поместили вместе: заперли в пустой хате, не дав для ночлега даже вязанки соломы. У дверей поставили часовых.

Когда я пришел, половина моих сморенных усталостью людей уже спали, растянувшись вповалку на полу.

— Ваше благородие, надо бежать! — обратился ко мне Пахомов, лишь только я вошел. Его во время схватки легко задели штыком, но он оставался прежним: бодрым и энергичным.

— Конечно! — ответил я. — Но как?

— А вот…

И он поднял половицу, под которой чернела яма.

— Под стену подрыться нетрудно. Вот поглядите-ка…

Я осмотрел и одобрил начатую работу. Оставалось только продолжать ее, а затем… положиться на судьбу.

Установив очередь, мы принялись руками и щепками разрывать жирную влажную землю. По временам солдатики останавливались, прислушиваясь, но все было тихо. Дождь и ветер шуршал в соломенной крыше, временами доносился обрывок немецкой речи и шлепанье тяжелых сапог по лужам.

В деревне еще не спали.

Работа продвигалась быстро. Вот нора прорыта — путь к свободе открыт. Помогите, ваше величество случай!

Среди нас нет уже спящих.

Мы сгруппировались вокруг входа в отверстие и ждем. Пахомов лежит в норе и, просунув голову наружу, выжидает удобного момента, чтобы снять часового…

Боже, как долго тянется время!

И вдруг…

Сначала мы услышали крики. Что-то переполошило немцев, и с забившимся сердцем мы подумали, не наши ли ворвались в деревню. Но нет, через минуту уже нам стало ясно, в чем дело. В хате стало светло. Через два крошечных окошечка к нам лился зловещий, красный и дрожащий свет пожара.

Деревушка горела…

Пожар привлек внимание нашего часового, и это стоило ему жизни.

Мы — на свободе!

В панике немцы забыли о нас, и мы без труда проскользнули на огороды. Здесь мы остановились, глядя на пылавшую, как охапка соломы, деревушку. К нам неслись крики немецких солдат, треск и шипение огня. И вдруг из этих звуков вырвался пронзительный, душу раздирающий крик женщины. Так кричат люди лишь когда их убивают.

Все мы вздрогнули и насторожились. Но крик не повторился… И почему-то мой мозг пронзила мысль, что он принадлежал именно той милой девушке с огромными глазами, что три часа назад сунула мне в руку кусок хлеба… Быть может, и этот спасающий нас пожар — дело ее рук, и она жизнью поплатилась за него…

Мы уже уходили от деревушки; я остановил солдат и хотел повернуть их обратно, как вспомнил, что мы без оружия.

Проклятие!..

Попытаться так, с пустыми руками? Во время паники все возможно, но ведь первое впечатление пожара уже прошло, да и… поздно, пожалуй.

Бедная…

Проходят дни, медленно прополз год… Но никогда не забыть мне этих огромных девичьих глаз, сверкнувших из темного уголка белорусской хаты.

Никогда…

Подп.: Арсеній М-ий.
Опубл.: Наша родина. 1915. № 13 (12 нояб.). С. 11 – 12.

СКАЗКА ЛЮБВИ

Мрачный и злой уезжал поручик Иванов из Москвы. Самое дорогое, что так нежно согревало душу и освещало жизнь, — оборвалось дико, нелепо и странно… И ничего не осталось в сердце, ничего…

Задолго до отхода поезда занял поручик свое место в купе и, мрачный, сжигая папироску за папироской, сидел в углу у окна, без всякого желания еще раз — может быть, в последний раз — взглянуть на любимый, родной город. На перроне шумела публика, толкаясь, набивалась в вагон, спорила из-за мест и располагалась на диванах.

— На войну едете? — спросил Иванова толстый купец, садясь рядом с поручиком и вытирая вспотевший лоб красным платком. — Небось, не хочется?

Офицер угрюмо посмотрел на купца, и было в его взгляде что-то такое тяжелое и конченое, что тот вздрогнул и невольно отодвинулся.

А на платформе уже громогласно зазвонил колокол, отбивая сигнальные удары, и, вздрогнув всеми вагонами, поезд медленно тронулся.

***

Уже нет обычной публики: в вагонах только военные, а если и попадаются штатские, на рукавах их пальто обязательно белеют повязки с красным крестом. То же и у женщин.

Вот и последняя станция — дальше поезда не идут.

Зимний, свежий и ясный день.

Девственно и ярко сверкают под снегом деревья; гудит толпа около сбившихся в кругу обозов, и над всем этим горит холодное зимнее солнце.

Поручик Иванов стоит на краю платформы. Лицо похудело, осунулось, но спокойно. Привычное ухо улавливает в мерно рокочущих, едва слышных, издалека несущихся звуках — пушечные выстрелы, и угрюмый голос орудий отвлекает мысли от того, чем так истомилась душа.

— Скорей бы к полку, принять свой батальон и забыться в кипучей и жестокой боевой жизни!

И офицер торопит солдата, взваливающего на повозку чемоданы и тюки.

— Сколько надавали поручений!.. Здесь подарки чуть не для всех офицеров дивизии…

Трогается возок. Лошадка трусит по наезженной дороге, обгоняя медленно ползущие обозы, минует фольварки, деревни, и все отчетливее плывут навстречу рокочущие голоса пушек. Их стальные жерла поют величественную, жуткую песнь крови и битвы, и на десятки верст разносится эта мелодия боя.

Что-то трогательное, нежное вливается в душу офицера, и она раскрывается, как цветок навстречу солнца. Высокая, стройная мерещится ему девушка; глаза у нее как у пантеры — горящие, неподвижные. И движения как у танцовщицы — гибкие, сильные, грациозные.

Какая жестокость была в этом металлическом:

— Уйдите!

Словно стальным бичом ударила. И он ушел. Ушел, не сказав ни слова, только губы сжал, да на улице с таким бешенством взглянул на толкнувшего его господина, что бедный, наверное, чуть не умер от страха.

Вот и все. Через два дня он уехал. И даже по телефону не позвонил ей и ни строчки не написал.

Но, Боже мой, как он ее любит!

Навстречу ползут сани с двумя пленными австрийцами. Офицеры… Подняв плечи и кутаясь в коротенькие воротники, бедняги сидят угрюмо, похожие на нахмуренных сычей.

— Стой! — кричит поручик Иванов. Мысли о ней сделали сердце нежным и ласковым, и хочется порадовать чем-нибудь жалких, озябших врагов.

Приложив руку к папахе, поручик подходит к пленным и предлагает им папиросы. И лица нахмуренных австрийцев проясняются.

***

Наступила пора невероятных битв и лишений. Мы отходили, жестоко мстя врагу за каждую его удачу. Мы отгрызались от наседающего на нас противника.

В одну из таких минут, когда воздух дрожал, стонал и выл от полета снарядов, поручик Иванов шел вдоль цепи своего батальона к фланговой роте, чтобы вместе с ней принять и отбросить сатану.

И вдруг все исчезло. Исчез и снег под ногами, и свежий воздух, и кустик впереди, который он так ясно видел.

Все пропало, как будто ничего и не было. Поручика ранили в голову. И хотя через несколько минут сознание вернулось — это были уж предсмертные мысли и видения…

Офицер увидел женщину с испуганным бледным лицом и склонившуюся к нему. И то, что она была бледна, что вид его крови смутил ее, — наполнило его угасающую душу светлым счастьем… Он сделал невероятное усилие, чтобы сказать ей об этом, и… умер.

— Кончился! — угрюмо буркнул солдат, поддерживая окровавленную голову Иванова. И сейчас же по цепи поползла эта злая пугающая весть.

Скоро там, где сидели наши, показались горбатые от ранцев, смешно бегущие люди в серо-синих шинелях. Они наскоро обшарили оставленные им трупы и пробежали вперед. А мертвецы странно лежали на белом поле, то так уютно свернувшись, словно на теплых постелях, то небрежно раскинувшись…

Поручик Иванов лежал около кустика, того самого, до которого он старался добежать и почти добежал. Тусклыми глазами смотрел он в бледное небо, и лицо у него было светлое, светлое…

Подп.: А. М – скій.
Опубл. и печ. по: Наша родина. 1915. № 15 (28 нояб.). С. 10 – 11.

ДРУЗЬЯ

Они работали репортерами в двух враждующих газетах.

Встретившись первый раз на заседании какого-то общества, они надменно посмотрели друг на друга:

— Из «Голоса»? — презрительно прохрипел башнеподобный Поль, будто нечаянно притискивая микроскопического сотоварища к пачкающей мелом стенке.

— Из «Слова», — пропищал Ярцев и, выразив на пухлом личике невероятное отвращение, выскользнул из-под великана.

Но встретившись через неделю в другом месте, они уже подали друг другу руки, а при расставаньи Поль глубокомысленно пробурчал:

— Знаю я тут один трактирчик… Талантливую, подлецы, закуску дают к водке!

— Пойдем, — лаконически ответил Ярцев.

— Денег нет, — уныло вздохнул великан.

Но сотоварищ показал из жилетного кармана уголок трехрублевки. После чего оба зашагали к обетованному месту.

Во время выпивания выяснилось, что у Поля и квартиры нет. На что было спокойно сказано:

— В моей комнатке есть диван, на котором спит пудель… Если вы хотите, пудель может спать на полу…

После этого оставалось только выпить на брудершафт, что и было сейчас же исполнено.

***

Поль и Ярцев подружились и даже заключили преступный союз, инициатором которого оказался, конечно, маленький Ярцев,

в области предприимчивости и изобретательности далеко оставлявший своего огромного сожителя.

С этого дня каждая сенсация «Голоса» одновременно стала появляться и на страницах «Слова»… И наоборот.

Редакторы и издатели враждовавших изданий рвали на себе волосы, а между тем каждая новость, с невероятным трудом выцарапанная для своей газеты, неуклонно, в тот же день, появлялась и на страницах конкурента...

И только приятели усмехались, с удовольствием замечая, что заработок каждого из них вырос вдвое.

Но вот «Голос» разоблачил Ярцева, а «Слово» поймало Поля. И обоих «выставили».

Угрюмые сошлись приятели в своей квартирке.

— Плохо, брат, — мрачно прохрипел Поль, бросая широкую шляпу на свой диван.

— А что? — спокойно спросил Ярцев.

— Ушли меня из «Слова».

— А меня из «Голоса», — так же спокойно заявил карапуз и, минутку подумав, сказал: — Одно нам с тобой остается, Поль!.. Тебе идти в «Голос», а мне в «Слово».

Так и сделали.

По-прежнему рвали на себе волосы хозяева враждующих изданий и по-старому благодушествовали приятели.

И до того им жилось хорошо, что Поль даже решил обзавестись женой: стал подыскивать невесту.

Но в этот самый момент все их благополучие разом рухнуло: началась война.

***

Приятели попали в один полк: длинный Поль в первую роту, маленький Ярцев — в шестнадцатую.

Видеться почти не приходилось, только на больших стоянках забежит Поль в батальон к другу, скажет два слова да опять к себе.

Так и жили.

Однажды, во время наступления, в сумерках, Ярцева ранили в ногу. Цепи прошли, и бедный экс-репортер остался лежать в воронке, вырытой снарядом.

Лежит и стонет, ждет санитаров.

Вдруг рядом из темноты голос:

— Кто это хнычет… Уж не Ярцев ли?

— Ярцев… А это ты, Поль?

— Я… В руку, брат, саданули… И здорово…

— А меня в ногу… И тоже здорово.

Великан взвалил маленького друга на спину и кое-как доволок до перевязочного пункта.

Оттуда обоих отправили в ближайший госпиталь, где Полю отрезали руку, а Ярцеву ногу.

***

Через два месяца оба друга были опять дома. Поль в «Голосе», Ярцев — в «Слове»…

Но теперь редакторы волос на себе уже не рвали: каждая из газет выходила со своими сенсациями, которых, к сожалению, неосведомленная публика совсем не замечала.

Поль с Ярцевым репортерством уже не занимались: они писали военные рассказы… И процветали…

Говорят, что Поль уже женился.

Подп.: Арсеній Мит – кій.
Опубл. и печ. по: Наша родина. 1916. № 3 (22 янв.). С. 10 – 11.

СОБАКА

Наша рота стояла в полуразрушенной деревушке, и мне с ротным командиром досталась хата, — правда, лучшая, но все же без дверей и стекол в окнах, да вдобавок еще с огромной брешью в кровле, пробитой неразорвавшимся снарядом. Мебели в хате не было никакой, и нам пришлось сооружать стол и стулья из каких-то ящиков и досок. Этим занялись денщики, заткнувшие соломой зияющие отверстия окон и занавесившие дверь полотнищами палаток. С брешью в потолке приходилось мириться, и надо было только благодарить Бога, что не было дождя.

Покончив с приведением в порядок нашего жилища, мой Терентий затопил уцелевшую печь и стал приготовлять ужин и чай.

Оставалось покурить и лечь на отдых, что мы и торопились сделать, зная, что назавтра нам предстоит опять поход и, возможно, бой…

Покуривая и зевая, мы вяло переговаривались в ожидании ужина, как вдруг полотно, занавешивавшее дверь, тихо колыхнулось, и в щель просунулась черная голова собаки с необычайно большими, круглыми глазами, горевшими фосфорическим светом. Я сидел как раз против двери и от неожиданности вздрогнул. Круглые огненные глаза пристально, не отрываясь, уставились на меня, — именно на меня, — и мне почему-то стало жутко… Я даже сразу не мог понять, — кому они принадлежат. Но через две-три секунды занавес отодвинулся больше, и в халупу важно и гордо, словно он был хозяином, а мы — гостями, вошел огромный лохматый пес…

— Фу ты, чисто оборотень, — какая черная! — удивился Терентий и хотел было пугнуть ее; но собака оскалила зубы и, метнув на солдата сердитый взгляд, тихо подошла ко мне и положила на колени голову.

Меня это удивило, и, чтобы оправдать доверие к себе, я угостил собаку хлебом и мясом. Она, видимо, была голодна, но не набрасывалась на пищу, как неблаговоспитанная дворняжка, а тихо и осторожно брала ее из рук и не спеша ела…

А затем свернулась около моих ног и заснула. Скоро легли и мы, и в халупе воцарилась тишина. Я заснул очень быстро, но спал плохо, часто просыпаясь; и всякий раз, когда я открывал глаза, — из темноты на меня смотрели два огненных кружка — глаза собаки…

Утром, когда мы проснулись и стали собираться в поход, «оборотня» с нами не оказалось.

— Как в гостиницу приходил, — смеялся мой Терентий. — Покушал, переночевал и ушел… Только вот не заплатил…

Но он ошибся: собака заплатила и за ночлег свой, и за ужин, — и вот как это произошло.

К вечеру, как мы и ожидали, полк вступил в бой и стал теснить австрийский авангард.

Вначале все шло очень хорошо, но потом противник получил подкрепление, и нам пришлось туго. Мы окопались и решили лучше умереть, чем отступить хотя бы на шаг. Австрийская пехота

попробовала было нас атаковать, — но все ее попытки окончились неудачей: мы успешно отбивались огнем, не давая врагу даже приблизиться к нам.

Тогда противник решил смести наши окопы с помощью артиллерии и открыл такую пальбу, что земля задрожала. Пушек у него было много, снарядов он, как видно, не жалел…

Участок моей полуроты, занимавшей командующую высоту, обстреливался особенно. За пять минут к нам было послано двадцать тяжелых снарядов, и земля вокруг окопа вся была изрыта. После каждого разрыва песок огромным столбом поднимался в воздух и падал вниз, как дождь.

Снаряды ложились все ближе и ближе. Осколки и камни жужжали над нашими головами, точно огромные мухи. Мы неподвижно лежали в своих ямах, и каждый ежеминутно ждал смерти…

Жутко приходилось.

Воздух гудел и стонал от полета снарядов, и взрыв следовал за взрывом.

Но мы лежали, не думая об отступлении.

И вот в это время я услышал над собой ворчанье и, приподняв голову, увидел, что на бруствере стоит вчерашняя собака. В густую черную шерсть собаки набилась земля, и животное чихало и фыркало, отряхаясь от нее. На шее и около уха у него была кровь, — видимо, прогулка под снарядами не прошла даром.

Я помню, что пес посмотрел на меня пристальным и внимательным взглядом — точь-в-точь как смотрел накануне. А затем над головой завизжал снаряд, и я потерял сознание.

Очнулся я лишь ночью на перевязочном пункте и там узнал о том, что произошло. Граната упала в двух шагах за собакой и, не будь ее, поранила бы меня насмерть; но пес спас мою жизнь, отплатив за вчерашнее гостеприимство. Предназначавшийся для меня осколок попал в собаку и, убив ее на месте, нанес мне лишь незначительную рану в голову, от которой я потерял сознание.

Что это — случай, судьба?.. Конечно, каждый решит по-своему… Но я никогда не забуду внимательных глаз собаки, явившейся спасти мне жизнь.

Никогда не забуду…

Подп.: Арс. М-ий.

Опубл. и печ. по: Путеводный огонек. 1916. № 5. С. 135 – 136.

СТРЕПТОКОКК

Судьба принесла крошечное благополучие, и семья, охраняя его, замкнулась в маленькое обособленное государство, враждебное ко всему, что не было частью его, ко всему выходившему за пределы четырех комнат, расположенных под крышей многоэтажного каменного дома… И главою этого крошечного государства, верховной правительницей его была — Агния Ивановна.

Благополучие, добытое горбом мужа и свирепой экономией хозяйки, грозило ежеминутно рухнуть под напором отовсюду угрожавших враждебных сил. Поэтому Агнии Ивановне, как кормчему утлой шхуны на бурном море, всегда приходилось быть настороже и наготове. Понятно, в силу таких условий характер у нее выработался подозрительный, недоверчивый, чуждый всяких, как она говорила, «сантиментальностей».

Как ни мала была семья, но и в ней нужен был и зоркий глаз, и твердая воля. Чуть распустишь поводья, и все идет шиворот-навыворот.

Уж на что безропотен и покорен Николай Иванович — супруг, — а выпусти его из-под надзора, и он сейчас же начинает поигрывать в картишки, выпивать и меньше зарабатывать… А постоянные и всегда неожиданные надбавки на квартиру, а прыгающие вверх цены на продукты, а приятельница, вдруг зазнавшаяся, потому что приобрела в рассрочку пианино? Все это вышибало из колеи, все это надо было заранее предвидеть, упредить, учесть и умело, вовремя, твердыми мерами, и бюджет выправить, и знакомых заставить к себе относиться с должным уважением.

Все это Агния Ивановна успешно выполняла.

Ее упрямая, крепкая воля мещанки была всецело направлена на борьбу с враждебными стихиями, кругом обступившими семью и каждую минуту, как чудовище воробья, — готовыми ее проглотить. И не будь этой воли, плохо бы пришлось и Николаю Ивановичу, растяпистому русскому человеку, и двум подросткам-гимназистам — сыновьям, и Сонечке, взрослой барышне.

Как всякий хороший правитель, Агния Ивановна была строга, и ее побаивались, особенно Николай Иванович, любивший выпить и поухаживать. И хотя нередко, уличенный Агнией Ивановной

в чем-нибудь предосудительном, он вполголоса и ругал ее «дурищей», но все-таки, в глубине души, правой он считал не себя, а ее.

Революция в маленьком государстве под крышей огромного дома была совершенно невозможна. Агния Ивановна уважалась всеми, кто только ее знал, не исключая и тех, кто за глаза всячески ее бранил.

В семьях, с которыми водились Иевлевы, в таких же замкнутых мещанских, тяжело боровшихся с нуждой, — Агния Ивановна славилась как «прекрасная мать и семьянинка»: ее ставили в пример.

Все, что она ни говорила и ни делала, было разумно, трезво, уверенно, и не соглашаться с ее словами мог разве один только Левушка. Но Левушка на то и был человеком отпетым.

II

Между Левушкой и Агнией Ивановной была вражда. Племянник мужа едва переносился в семье, коей она управляла, и редко поднимался он под крышу огромного дома. Только «родственное чувство», весьма почитаемое Агнией Ивановной, допускало присутствие племянника на обедах в честь больших семейных торжеств, к которым, между прочим, причислялся и день хозяйкиных именин… Конечно, если эти обеды не были парадными: Левушка приглашался лишь на те, которые давались специально для бедных родственников. Исключая дни празднеств, Левушка у Иевлевых появлялся лишь для того, чтобы попросить денег. Выпросить больше трех рублей удавалось редко, Агния Ивановна не склонна была «раздавать шалопаям трудовые деньги мужа».

А Левушка действительно был шалопаем, и шалопаем «наглым», ибо в нем не было присущих добропорядочному неудачнику кротости и смирения. А неудачником, по мнению Агнии Ивановны, является всякий, кто не может «стоять на собственных ногах», т.е. существовать на свое, на заработанное.

Человек же прозябающий на подачки, «попрошайничающий человек» — уже не является порядочным и не имеет права говорить громким голосом, высказывать независимые суждения и вообще держаться как равный порядочному. Его дело — лишь слушать, что говорят другие, те, что сумели «стать людьми».

Левушка же при всей своей трусости и забитости, при всей своей неудачливости и несчастности именно и забывал иногда о предназначенной ему Агнией Ивановной роли. Он вдруг начинал себя держать как равный с нею и пренахальнейшим образом выходил из отведенных ему в семье Иевлевых рамок.

И ему за это мстилось.

Однажды, после посещения им Иевлевых, вдруг исчезло дешевенькое Сонечкино колечко, забытое ею, как она говорила, в гостиной.

Искали, искали и не нашли.

И тогда, вспомнив наглое поведение «оборванца», как Агния Ивановна в кругу семьи звала Левушку, она, сделав круглыми и злыми черные свои глаза, прошептала мужу:

— Это твой родственник украл. Больше некому.

И подозрение было принято за факт.

В ближайшее же посещение Левушки его облили таким потоком презрительных и обидных намеков, что даже он, уже почти привыкший к унижению, и то растерялся. Тем более что он ничего не понимал.

Понял же он только тогда, когда гимназистик Коля, наконец, прямо спросил, «впору ли ему Сонечкино колечко».

По соображениям Агнии Ивановны, Левушка должен был бы представить свои оправдания, и хотя она все равно бы не поверила им, но все-таки, вероятно, преступник был бы прощен… Требовалось лишь, чтобы и вид его являл раскаяние, и голос дрожал от слез…

Ведь не могла же она к непорядочному человеку предъявить тех же требований, как и к порядочному: «погибшему» украсть — не такой уж грех, на то он и погибший, чтобы его остерегались. Но Левушка поступил именно не так, как он должен был поступить, его «наглость» проявилась и тут: отшвырнув стул, на котором сидел, он выругался нехорошими словами, завсхлипывал и ушел, не простившись.

И, конечно, после того путь его к Иевлевым был бы заказан н а в с е г д а, если бы не неожиданное событие. Чуть ли не через неделю после изгнания Левушки Агния Ивановна заболела рожистым воспалением, и болезнь едва не стоила ей жизни.

Когда же физическая опасность миновала, вдруг обозначилось осложнение с другой стороны: на почве болезни развился психоз.

Как это случилось, неизвестно, но Николай Иванович, со слов лечившего врача, объяснял это знакомым тем, что будто бы:

— Стрептококки попали в мозг.

III

Безумие Агнии Ивановны началось с того, что еще в жару — в бреду еще, вероятно, — она увидела своего меньшего покойного сына. В белой, по колени, ночной рубашечке, он стоял в противоположном углу комнаты, рядом с колонкою парового отопления, и оттуда манил к себе пальчиком мать. Агния Ивановна дрожала от ужаса и то слезно умоляла покойника уйти, то бранилась, гнала его прочь злобно, яростно, чувствуя, что сын пришел за нею и зовет ее в смерть.

Но призрак исчезал с трудом, появлялся часто и совершенно измучил больную.

Это было во время бреда. Затем болезнь схлынула, опасность миновала, но ужас, страх пред неведомым, вплотную подошедшим благодаря болезни — остался. Остался смешанный с дикой животной радостью за жизнь, за выздоровление.

Тут-то и произошло то, что Николай Иванович объяснял как результат попавших в мозг стрептококков: дикая экзальтированная религиозность Агнии Ивановны, и покаянная и обличительная в одно и то же время.

Уже спасителем казался призрак покойного сына — это он, ангельски чистый, вымолил ее, грешную, у неведомого, вырвал у смерти.

Но страх, навеянный ее близостью, был силен, и чтобы забыть о нем, надо было чувствовать себя слабой, жалкой и греховной и в то же время верить, что есть некто, кто сильнее смерти и кто ее, слабую, любит, знает и не даст в обиду.

Это он ее спас от смерти, и теперь в груди Агнии Ивановны бушевало целое море любви к нему и благодарности — желание делать так, как он учил: всех любить, всех жалеть и прощать.

Она сзывала к своей постели всю семью. По привычке подчиняясь ее властному голосу, в комнату, всю пропитанную запахом болезни, приходили подростки-гимназисты, Сонечка и сам Нико-

лай Иванович. И, хмурые, смотрели на страшно исхудалое, желтое, ставшее морщинистым, гримасничающее лицо матери, увертываясь взглядом от ее черных, горящих возбуждением, круглых глаз.

Агния Ивановна не видела, что им тягостно и неловко. Ей хотелось, чтобы и они поняли охватившее ее чувство, чтобы и они почувствовали, как прекрасно верить всем сердцем в то, что есть некто, бесконечно сильный и бесконечно добрый, готовый всею силою своей защитить каждого слабого, каждого умирающего… но слов не было. И, сверкая глазами, приподнимаясь на подушках, Агния Ивановна указывала вверх желтым своим пальцем и кричала шипящим шепотом:

— Он там. Он все видит.

И в слезах, близкая к разрыву сердца, падала на подушки. А семья стояла вокруг, и лица у всех были страдальческие.

Все уже привыкли к мысли, что мать сходит с ума, и уже не жалость вызывала эта мысль, а одно томление. И почти у каждого мелькнула мысль о больнице.

IV

Семья рассыпáлась. Все позднее возвращался домой Николай Иванович, все больше разбалтывались почти весь день проводившие на улице гимназисты-подростки, и только одна Сонечка сохраняла еще к матери прежний страх и уважение.

И больная, уже выздоравливающая Агния Ивановна вдруг поняла, поняла в первый раз в жизни, что семья, муж и дети, и все, что окружало ее и их, — ничто. Ничего у нее нет, ибо нет существа, могущего вместе с нею прочувствовать испытанный ею ужас, заглянуть в гулкую пустоту бездн, над которыми проносилась ее больная душа, в те пропасти, куда влек ее проклинаемый и дорогой покойник… Ведь их мозг не был отравлен стрептококками.

И из ужаса вдруг родилось ощущение — именно оно, а не мысль, — ощущение ласкового божества. Этого никогда еще не было в душе, и так велико было чувство радости и блаженства, что глаза горели, сами плакали, а сердце билось, как сумасшедшее.

А сыновья на цыпочках проходили мимо комнаты матери, боясь, чтобы Агния Ивановна не услышала и не позвала: тягостна им была мать с ее непонятным возбуждением, жутко им было в ее полутемной от спущенных штор, дурно пахнувшей комнате…

И вот однажды Агния Ивановна вспомнила о Левушке.

— Его, его, — сказала она растерявшейся дочери. — Пусть придет, пусть простит… У всех просила прощения, попрошу и у него.

Но Левушкину квартиру разыскали только к вечеру — он успел уже съехать со старой, — и дома его не оказалось. Он пришел только на другой день, когда Агния Ивановна спала.

Долговязый, худой, потертый какой-то и бледный — с похмелья, вероятно, — он держался в кругу Иевлевых неуверенно и, видимо, мечтал лишь о том, чтобы поднесли рюмочку.

— Чего ж ты тогда обиделся? — зевая, спросил Николай Иванович. — Ведь не обвиняли тебя в том, что ты украл колечко… Так только, подумали, предположили только… оно и нашлось.

— Сам не знаю, отчего вспылил, — виновато, трусливо бегая измученными глазами, ответил Левушка. — Нервы, должно быть…

— Нервы! — усмехнулся Николай Иванович. — Все пьешь.

Левушка жалобно и просительно заулыбался.

— Опохмелиться бы, Николай Иванович, — попросил он вкрадчиво.

V

То, что она сделала хорошо, позвав Левушку, Агния Ивановна поняла сейчас же, как он вошел. Кто бы ни входил в ее комнату прежде, был ли это муж, сын или пришедшая проведать о здоровье приятельница, лица всех их сковывались дурно скрываемым или вовсе открытым выражением страха перед безобразием больной — ее горящими глазами, морщинистым желтым лицом и этими, так жутко остривши мися из-под белой ночной кофточки, исхудавшими плечами.

Агния Ивановна видела, что пришедший не может слушать и понимать ее слов, и она сердилась и гнала его от себя, плача от тоски и одиночества, а человек, побывавший у нее, только и вспоминал потом быстро двигавшиеся ее руки с пальцами, обтянутыми желтой и тонкой сухой кожей. Пальцы скелета.

— Совсем сумасшедшая! — думал он и радостно уходил.

Когда же порог комнаты, сгорбившись и неловко спотыкнувшись о коврик, переступил Левушка, Агния Ивановна поняла, что в его широких глазах тепло и сияюще засветилась жалость.

— Видишь, видишь? — быстро и отрывисто заговорила она, приподнимаясь в постели и плача от внезапного и радостного чувства удовлетворения. — Любить надо, жалеть надо, прощать… Виновата… Прости, Христа ради.

Никто и никогда не звал Левушку за тем, чтобы просить у него прощения. Чувствуя себя и несчастным, и маленьким, и светло утешенным, он нагнулся к постели и, ловя для поцелуя быстро двигающуюся желтую руку, заплакал.

А рука уже поднялась кверху и застыла, указывая пальцем на потолок.

— Бог, Бог! — грозным и радостным шепотом кричала больная, радуясь новому великому содержанию, открытому болезнью в этом слове. И она знала, что только Левушка из всех знаемых ею людей поймет ее. Ибо только он, обиженный и жалкий, знающий так же, как и она, одиночество, может понять и ужас, и благость этого слова.

Но вошел Николай Иванович, и все кончилось. Удовлетворенная и вдруг облегченная, Агния Ивановна упала на подушку, и возбуждение, столько дней рвавшее ей сердце, разом исчезло.

Она выздоровела.

Она не была одинока. Она передала нечто, томившее ее, в другую душу, соприкоснулась с другой душой и, передав ей свою тайну и свое томление, — опустела.

Агния Ивановна выздоровела. Даже Николай Иванович понял это, взглянув на ее покойное, вдруг, словно чудом, разгладившее морщины лицо.

И он снисходительно в столовой поил Левушку коньяком, слушая, как тот плакался на слабоволие, давал обеты не пить более никогда и, все еще потрясенный свиданием с больной, называл ее великой женщиной по доброте и по уму. А вечером ушел, покачиваясь, в свою трущобу и нес в сердце жалость к себе, благодарность к людям и уверенность в том, что есть где-то Некто, кто и его, беспутного, жалеет.

Опубл. и печ. по: Дальневосточное Обозрение. 1920. № 496 (19 дек.). С. 3 – 4.

ОСОБЫЙ БАТАЛЬОН

Застегивая серое, на меху, пальто, комендант сказал:

— Назначьте сегодня дежурить поручика Петровского. Он работает как машина. В такое время спокойствие — главное.

И ушел, легко сбежав по крутой и обледенелой, неопрятной лестнице управления, туда, где за отворенной предупредительно дверью виден был черный кузов автомобиля и гудел заведенный уже мотор. Офицеры звякнули шпорами и вернулись в помещение, с любопытством, через плечо друг друга, заглядывая в бумагу, которую держал и в пятый раз перечитывал маленький, похожий на пузатый самоварчик, помощник коменданта.

А в десятом часу вечера комендантский автомобиль, резко встряхивая на снежных колдобоинах, вез поручика Петровского в управление, и толкал перед собой широкий сектор белого света, и рявкал хрипло на редких шарахающихся прохожих.

В полуофициальной записке, посланной Петровскому, говорилось:

— Контрразведка донесла, что сегодня в ночь большевики будут пытаться поднять восстание. Возможно, что это очередная утка, но комендант приказал вам и т.д.

В возможность восстания Петровский верил не более, чем автор записки. Кто поднимет бунт? Рабочие? Они безоружны, и контрразведка, беспощадная и ловкая, давно уже удалила из их среды не только «активных» и «сочувствующих», но даже родственников их, набив тюрьмы арестованными, заселив полянки загородных рощ крошечными холмиками могил расстрелянных.

Гарнизон? Но солдаты, как доносят командиры полков, рвутся в бой и просятся охотниками в маленькие карательные экспедиции по области. Все благополучно, все тихо и спокойно.

Но осторожность — прежде всего. И вот — вместо маленького браунинга сегодня надо взять с собой на дежурство тяжелый, в деревянной кобуре, маузер и фальшивый вид-удостоверение на имя солдата.

И вот, через полчаса, офицера, входящего в темный подъезд управления, окликнул часовой. Петровский говорит, пропуск бежит вверх по лестнице.

II

Комната дежурного адъютанта похожа на телефонную станцию. Сигнализационные и телефонные аппараты разбросаны всюду: на столиках вдоль стен, на подоконниках; городской телефон привинчен к стене.

Из этой комнаты, по прямым проводам, можно говорить с «дворцом», со ставкой, с командующим, с тюрьмой, с динамитным складом, с вокзалом; три сигнализационных аппарата поставлены для того, чтобы автоматически поднимать тревогу в случае нападения на учреждения маленькой «столицы».

А вот — особый сигнал: контакт электрического звонка, в виде маленькой дощечки, под столом дежурного офицера. Это — чтобы поднять на ноги расположенный на первом этаже казармы особый комендантский батальон, строго дисциплинированную часть, натасканную на подавление крестьянских восстаний. Батальон — опора и гордость столицы: уж эти-то не изменят.

Проверив исправность сигнализации, Петровский спокойно занял свое место за столом и вынул секретную «Инструкцию на случай тревоги».

Город разделен на участки. Отряды солдат, занимая определенные пункты, разобщают рабочие кварталы и отрезывают их от центра.

Все точно взвешено, обдумано и известно наизусть…

Круглые стенные часы, укрепленные против стола, стали бить. Они еще не кончили, как сухо, словно деревянная трещотка, застучал вызов аппарата, соединяющего дежурную комнату с квартирой коменданта.

— Поручик Петровский?

— Я, господин полковник.

— Ага! Очень хорошо. Дело в том, что… но вы уже, наверное, знаете?

— Так точно.

— Я на вас надеюсь. Главное, чтобы не было паники. Сейчас же сообщите мне и вызывайте гарнизон…

Он положил трубку, не веря, как и подчиненные, в серьезность восстания. Он, комендант, вот уже год тяжело давит на город, подтягивая и муштруя солдат, и довел их уже до состояния той

слепой и грозной силы, какой были войска дореволюционного времени. Солдаты молодцеваты, ловки, подтянуты: они вытягиваются, щелкают каблуками и лихо отдают честь…

Казалось, что армия зажата в железный кулак уставной дисциплины, и бороться против людей, владеющих такой армией, — смешно и жалко.

Петровский сел.

Ему пришла странная мысль: «Ведь вот, если начнется восстание, то в его, поручика Петровского, руках — судьба государства, строящегося, как говорил приказ, «на освобожденной от большевиков территории». Правда, гарнизон, солдаты и все такое… Но центр охраны города — эта заставленная телефонами комната, и не отвечай он на вызовы, что сделают полки? Они останутся в казармах, они бросятся друг на друга, а городом овладеют мятежники».

Дррр… Дррр…

Петровский сорвался со стула: вызывал «дворцовый».

— Кто? — лениво и высокомерно спросила трубка и, выслушав почтительный ответ: — У вас как? Спокойно?

— Так точно! Совершенно спокойно!

Петровский не успел еще придвинуть стул, как опять вызов:

— Комендантское?

— Да.

— Дежурный?

— Да.

— Говорит контрразведка. Сделайте срочный наряд в наше расположение шестидесяти солдат при двух офицерах. Поскорее, ради Бога.

— Есть.

— Чтобы с патронами…

— Конечно. Есть.

Петровский взялся за колокольчик, стоявший на столе. Вошел помощник дежурного — прапорщик с заспанным рябым лицом. Пока Петровский передавал ему приказание, он сопел и чесал взъерошенную голову.

III

Уже поздно. Второй час ночи.

Телефонные вызовы почти прекратились, нервное напряжение спало. Город заснул.

Лишь контрразведка в четвертый раз, все еще и еще, просит людей, происходят аресты.

Тишина. Электричество замигало и опять горит ярко. Начинает клонить ко сну.

Вышел из-за стола и пересел на клеенчатый убогий диванчик: в уголок, поближе к печке.

***

Так-так-так. Так. Так-так…

Выпрямил откинутое на спинку дивана тело и протер глаза. Прислушиваясь, глядит на зеленый светящийся абажур лампы.

…Та-та-та…

Прыгнул на подоконник, едва не сбросив телефонный аппарат, и с трудом оторвал примерзшую к раме скрипящую форточку. И вместе с белым, освежающим лицо паром мороза в комнату ворвались далекие, но яркие толчки выстрелов.

Прапорщик-помощник, еще более взъерошенный, но уже с испугом на рябом измятом лице, вбежал в комнату. За ним, в щель незатворенной двери, подглядывало круглое лицо писаря Федюшина.

— Стреляют!

Петровский, хлопнув форточкой, спрыгнул с подоконника. Он соображал, как быстрее навести справки. Стрельба была приблизительно в районе Земляной улицы.

— Так, — сказал он, решившись. — Звоните по вашему телефону в броневой дивизион, он на Земляной, а я… Ну, живо!

Прапорщик исчез. Петровский бросился к городскому телефону.

— Барышня! Говорит комендант… Третий участок милиции, на Земляной улице.

Голос телефонистки, сказавшей невероятные слова, был странно спокоен:

— Не могу. Там обрезаны провода. Кажется, милицию заняли большевики.

Петровский крикнул: «Вздор говорите!» — но сейчас же понял, что это глупо, и, бросив трубку телефона прямо на стол, метнулся к аппарату коменданта. И еще не добился ответа, как произошло самое страшное.

Прикрепленный под потолком, басисто и внезапно загудел огромный электрический звонок тюремной сигнализации. Звонок наполнил комнату тяжелым гудением не более десяти секунд. Звон его оборвался так же внезапно, как возник.

Тюрьма предупреждала: на нее нападение.

Едва замолчал тюремный сигнал и в комнате стихло, как Петровский услышал сухой, из углов и со стен, тревожный треск вызова телефонных аппаратов.

Петровский ответил коменданту.

— Началось выступление? — спокойно спросил знакомый голос.

— Так точно. Ружейный огонь по Земляной улице, третий участок уже не отвечает, тюрьма сигнализирует нападение.

— Не теряйте спокойствие. Действуйте согласно инструкции. Вызывайте части. Сейчас буду сам.

Через десять минут Петровский передавал частям гарнизона приказание занять ранее указанные улицы и пункты. Выяснилась и картина восстания. Его, как это ни странно было, подняли не рабочие, а солдаты: выступили две роты железнодорожного батальона, автомобилисты и несколько мелких местных команд.

Тюрьма уже была во власти восставших.

— Все!

Петровский бросился на диван и только сейчас понял, как смертельно устал. Горло болело от крика в телефоны. Сознание, что им выполнено все, что требовалось, возбуждало и веселило. В опасность для себя лично не верилось: восставшие были малочисленны, и теперь они уже рассеиваются, вероятно. Тем более что комендантское управление охранял образцовый Особый батальон. А он уже шевелился, кем-то предупрежденный. Там, под полом, гудело сотнями голосов, кричало, звякало…

— Забыл про сигнал, — подумал Петровский. — Предупредил помощника… Теперь они выстраиваются… Да! надо успокоить начальство.

Офицер вскочил, снова бодрый и веселый, и затрещал вызовом на «дворцовом».

— Так точно. Началось восстание. Меры приняты. Что прикажете? Так точно. Через час мятежники будут ликвидированы. Моя фамилия? Поручик Петровский, ваше превосходительство. Рад стараться, ваше превосходительство. Так точно. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство.

Петровский говорил в телефон, почтительно сгибаясь в пояснице, и когда ему перестали отвечать, он не сразу положил трубку, а подождал несколько секунд и затем тихо, чтобы не стукнуть, опустил ее на аппарат.

Он был искренне рад, что восстание, так долго ожидаемое, наконец произошло. И произошло в его дежурство. Оно, конечно, будет подавлено, а его — выдвинет.

И офицер закурил папиросу. Затяжка табачного дыма показалась удивительно вкусной и подкрепила, как глоток вина.

Опять затрещали два аппарата.

Петровский…

В этот момент с треском метнулась половинка белой высокой двери и ударилась об изразцовую печь. Лист картона с расписанием дежурств, висевший на гвозде, упал и косым четырехугольником лег на темный коричневый пол.

В черном пролете открытой двери появились вытянутые вперед руки летящего, сгорбленного почему-то прапорщика. А над горбом его спины, как игольчатое жало, мелькнул штык и, бесшумно вонзившись в спину, исчез обратно в темноту.

Петровский отскочил в сторону за печь и, невидимый у двери, вырвал из кобуры маузер и взвел курок.

Опалзывая щекой пол и весь как-то изворачиваясь, прапорщик хрипел:

— Господин поручик! Батальон…

Больше он не успел сказать ничего. В комнату прыгнули два солдата, и один из них, маленький, в башлыке торчком и в широкой, без хлястика, шинели, был похож на гнома.

Увидев длинный, направленный на них ствол револьвера, оба отшатнулись, споткнувшись о труп, за угол печи, а Петровский, поняв весь неотвратимый смысл грозного гула под полом, повернул оружие и, стиснув ствол зубами, выстрелил себе в рот.

IV

Светало.

Крадучись у стен и пригибаясь на открытых местах к земле, от дома к дому перебегали солдаты, неся перед собой наклоненные вперед винтовки, и на углах опускались на колено и стреляли куда-то. И опять вставали и бежали, и делали это спокойно, не спеша, словно на ученье.

Это наступал перешедший к восставшим комендантский Особый батальон.

Опубл. и печ. по: Дальневосточная трибуна. 1921. 25 января. С. 3[1].

ЖЕСТОКИЙ ДЕНЬ

I

Еще вечером Константинов почувствовал легкое недомогание и стал покашливать. Ночью не спалось, знобило, и с кашлем стала отделяться мокрота[2].

Несколько раз Константинов думал зажечь свет и посмотреть, нет ли в мокроте кровяных жилок, но было страшно получить это доказательство. Кроме того, он боялся жены.

Анна Ивановна, напуганная чумой, могла подсмотреть за ним, и Константинов знал, что в таком случае она сейчас же бы бросила его, подняв на ноги весь дом. Значит, будь у него простой бронхит, обсервационный барак был бы все же ему обеспечен. А вместе с ним и смерть.

Удерживая кашель и стараясь не ворочаться, Константинов пролежал до утра. Когда достаточно рассвело, он осторожно повернулся на правый бок и, кашлянув, выплюнул мокроту себе на ладонь.

---

[1] В тексте этого рассказа, опубликованном в харбинской газете «Эхо» (7 ноября 1925 г.), присутствует новый заключительный абзац: «Наступало 7 ноября. Красное солнце третьего октября, как огромный кровавый шар, вставало над столицей государства, образованного "на территории, освобожденной от большевиков". Так говорилось в приказах».

[2] Рассказ отражает события эпидемии легочной чумы в Приморском крае и Владивостоке в 1921 г. Чума была занесена через ст. Пограничная из Китая.

В сгустке серой слизи отчетливо извивалась кровяная нить.

Похолодев весь и зажав плевок в кулак, Константинов прямо вытянулся на постели и замер. Он не думал ни о чем: ощущение мокрого холода ползло по спине.

Жена пошевелилась, кашлянула и повернулась к нему.

— Ты не спишь? — спросила она, щурясь и толкая его коленом. — Кажется, пора вставать.

Чувствуя только, что он должен во что бы то ни стало обмануть жену, Константинов добродушно зевнул и, не разжимая кулак с плевком, будто бы сонно, ответил: «Спи, еще рано, я приготовлю чай», и встал с постели на красный в цветах коврик.

В белье он прошел к столу, где валялся вчерашний «Русский Голос», и разорвал его, вытер лоскутом мокрую ладонь и бросил лоскут в ведро под умывальником. Потом стал мыть руки; умылся.

Когда через десять минут, уже одетый, Константинов хлопотал около капризничающего «Примуса», он несколько раз чувствовал болезненные толчки сердца, и к горлу его, как ком, подступало рыдание.

Но он перемог себя и зажег машинку.

Одевавшаяся жена попросила его застегнуть на спине пуговицу бюстгальтера; руки дрожали, и пуговица не попадал в петлю. Анна Ивановна недовольно посмотрела через плечо и сиповато — как всегда после сна — сказала:

— У тебя глаза странные, ты здоров?

Думая об известном всему городу выражении глаз зачумленных («в глаза не смотрят») и холодея при мысли быть разоблаченным, Константинов весело и бодро ответил:

— Нет, я хорошо себя чувствую. Глаза заспанные, обыкновенные, у тебя — не лучше.

Он даже засмеялся.

— Но ты покашливаешь, — уже подозрительно (показалось Константинову) сказала Анна Ивановна.

— Неделю уже кашляю, — небрежно ответил Константинов и повернулся к забулькавшему чайнику. Чай он пил обжигаясь, торопясь уйти.

II

Выйдя на лестницу, Константинов почувствовал облегчение. Роль здорового, которую он играл в течение получаса, совершенно истощила его; жену он боялся и, — как врага, — как каждого здорового человека, который может отправить его в больницу, — ненавидел.

Выйдя на улицу и оглянувшись, не смотрит ли кто, Константинов, чтобы еще раз проверить себя, откашлялся и выплюнул мокроту себе в платок. В сгустке опять была кровь; она ясно окрашивала серую слизь.

Снова овладел ужас перед болезнью, и ноги сразу же отказались служить. Константинова зашатало.

Но он поймал удивленный взгляд встречного пешехода, господина в черном с обезьяньим воротником пальто, и вновь овладел собой.

Куда он шел, Константинов не знал, но привычка привела его к конторе, где он служил. Минуту он постоял в нерешимости у подъезда, затем неуверенно и шатаясь стал подниматься по лестнице.

Люди пугали, но и влекли. Необходимость, будучи среди них, притворяться, держать себя в руках, заставляла забыть самое страшное: ужас обреченного, приговоренного к смертной казни.

Но едва он вошел, как шутливый вопрос старшего бухгалтера, Ивана Николаевича Зильбершней: «Что это, батюшка, у вас вид чумной?» — чуть не заставил Константинова убежать.

Криво усмехаясь, он все-таки ответил:

— Будет чумной, если вчера бутылки по три на брата пришлось…

И неуверенной походкой, задевая за углы столов, прошел к своему месту. Конечно, работать Константинов не мог.

— Как ужасно, что многие всю болезнь выносят на ногах и до самой смерти сохраняют сознание! — с ужасом подумал он, и сейчас же мысль о самоубийстве блеснула в мозгу. И Константинов встал, решив взять денег.

— Зачем вам? — сухо спросил управляющий.

— Жена… больна, — глухо ответил Константинов.

Управляющий на минутку задержал серые зоркие глаза на лице подчиненного, затем вынул бумажник. И когда, сгорбив-

шись, уже не будучи в силах бодриться, Константинов уходил из его кабинета, он чувствовал на своем затылке острый взгляд этих серых глаз. Ему казалось, что управляющий догадался и сейчас крикнет, чтобы его задержали, вызовет черную чумную карету и отправит его, Константинова, в обсервационный барак.

Но никто его не задержал.

III

В маленьком, плохом ресторане, куда пришел Константинов, было темно и тепло. Но его все-таки знобило, и он, выбрав столик у печки, заказал коньяку.

Первые же рюмки принесли радостное облегчение.

Страх перед смертью отошел; почти весело Константинов сказал себе:

— Во всяком случае, сутки я еще проживу!

И он, подозвав к себе мальчика, игравшего на скрипке, дал ему даян, заказав свой любимый вальс «На сопках Маньчжурии».

В ресторане Константинов пробыл около трех часов и, выпив полбутылки коньяку, с аппетитом что-то ел. Ужас минутами подступал, но он успешно боролся с приступами — алкоголем.

Все время, несмотря на хмель, чувствовал озноб; в мокроте, которую Константинов осторожно сплевывал на платок, была кровь. Но количество ее не увеличивалось.

Наконец Константинов почувствовал, что алкоголь уже не приносит облегчения; мозг стал трезветь, каждая новая рюмка не опьяняла уже, а лишь вызывала слабость и тошноту.

Тогда, торопясь и пошатываясь, он расплатился и, сев на извозчика, поехал к знакомому китайцу, торговавшему кокаином.

В дворницкой большого дома — крохотной комнате, оклеенной яркими литографиями, где было жарко натоплено и пахло чем-то острым, — толстый китаец в синей кофте дал Константинову завернутый в газетную бумагу кокаин.

Константинов неловко сел на пошатнувшуюся под ним скамью и стал развертывать пакет. Но приступ кашля заставил его сунуть пакет обратно в карман и вынуть платок.

Увидев кровь, китаец отпрыгнул к койке и, схватив железную палку, крикнул:

— Твоя чума! Твоя ходи, ходи домой!

Он замахнулся, но, боясь не железа, а того, что его заберут и отвезут в больницу, Константинов выбежал из сторожки.

На улице стемнело; был уже вечер.

IV

Два часа уже Константинов бродил по бульвару. Кокаин отрезвил его и вызвал жажду. В ближайшей пивной он выпил бутылку пива и, взяв с собой еще водки, то нюхал, то пил.

Им овладело полное безразличие ко всему; стало клонить ко сну, к обмороку. Сев на скамью, он чувствовал лишь холод резкого зимнего ветра и дрожал, время от времени глотая спирт.

Слева подошла женщина, темная фигура, закутанная в платок, и сказала:

— Барин, поедем ко мне.

— Я бы поехал, — ответил вяло Константинов, — но у меня чума.

Женщина наклонилась к нему, почувствовала запах водки и засмеялась:

— Не чумной ты, а пьяный. Дай глотнуть.

Константинов вынул из кармана бутылку, из которой только что пил, и, протягивая женщине, сказал:

— Смотри, у меня чума!

Проститутка, не отвечая, мотнула головой и, откинув ее назад, стала пить. Сонное сознание Константинова отмечало каждый булькающий глоток.

Потом женщина ушла. Оставшись один, Константинов стал засыпать.

— Может быть, я умираю? — подумал он, но инстинкт сказал: нет.

— Замерзнуть бы! — шевелилась мысль, и Константинов заснул.

Сколько прошло времени — неизвестно. Сознание возвращалось медленно.

— Кто это кашляет? — подумал Константинов. — Я или кто-то другой?

Он открыл глаза и увидел рядом с собой, на правом конце скамьи, черную человеческую фигуру, всю трясущуюся от кашля.

Светил месяц, и человек поблескивал весь искорками инея.

Константинов пошевелился, и неизвестный, не прекращая кашля, повернулся к нему.

— А, ты живой? — прохрипел он, сплевывая.

Потом заохал и боком стал ложиться на скамью, норовя положить голову на колени к Константинову.

Константинов инстинктивно отодвинулся, и голова тупо, мехом папахи, ударилась о дерево.

— Чего боишься? — вяло, тягуче пропел человек. — Ведь и у тебя чума. Я думал, ты мертвый, и сел, чтобы веселее умереть… Помираю я… Ох!

Он попытался снова сесть и не мог.

— Помоги, Христа ради.

— Боюсь я, — прошептал Константинов.

— Чего? Все равно ведь завтра помрешь. И я два дня боролся, одолевает она, проклятая.

Константинов за плечи приподнял больного. Он сел, вытянув ноги вперед, но сидеть уже не мог и стал сползать. Константинов снова положил его на скамью.

Больной стонал и все время плевал; обессиленный, он сплевывал слюну прямо на одежду, на подбородок. Потом стал хрипеть.

Через четверть часа он уже не двигался.

Оставив его, Константинов перешагнул через проволочный низенький барьер, отделявший дорожку от газонов, и по снегу прошел к кустам, белевшим под луной, как серебряные копны.

Простота смерти, которую он видел, успокоила его. Ужаса не было. Ясно светил месяц, ясно и бегло перемигивались звезды, и так нестрашно, так просто чернел позади, на освещенной скамейке, человеческий труп.

— Все будет как было; не станет только маленькой порции страха, бьющегося в моем сердце; моя маленькая грусть, моя тревога улетит туда, к звездам, и ни на каплю не увеличит дрожание их лучей. Или, может быть, замерзнет, как эти снежные кристаллы, и блеснет на моих губах.

Константинов сел на хрустнувший под ним снег и стал на ладонь высыпать весь оставшийся у него кокаин: он обманет чуму, он убьет себя сам.

Опубл. и печ. по: Дальневосточная трибуна. 1921. № 56 (7 апр.). С. 2.

КРЫСА

Нам было по двадцать лет, и жили мы в крошечной комнатке у прачки Облепихи (через е), бабы грузной, огромной, недовольной правительством, которое олицетворялось ею в околоточном надзирателе Юшерове, часто нас навещавшем.

Навещал же он нас потому, что комнату, соседнюю с нашей, снимал вор-карманник Ваня Крапленый и его сожительница, рыжеволосая четырнадцатилетняя красавица Мимка.

Мы с Виктором существовали или, точнее, голодали на то, что давали нам наши стихи. У меня полна Москва была родственников, но все они от меня отшатнулись, потому что видеть двадцатилетнего здорового парня, который ничего не хочет знать, кроме угрюмого писания стихов, — было непереносимо для их буржуазных сердец.

У Виктора же никого не было. Он числился студентом коммерческого института и приблизительно раз в два месяца получал от бабушки денежные переводы. Рублей по пятнадцати за раз.

Итак, мы писали стихи и носили их в редакции газет и еженедельников, где их обыкновенно не печатали.

Чтобы понять, какие мы писали стихи, надо сказать о нашей теории «выверта». Тогда еще не было слова «футуризм», но в нашей комнате, по крайней мере, он уже существовал, и футуристические стихи мы называли — «творчество напряженного выверта». Декадентство, тогда еще модное, называлось «средним вывертом», а то, что печаталось в журналах, где нас не печатали, называлось «слабостью».

Виктор принадлежал к творцам напряженного выверта, и печатать его решалась лишь издательница журнала спиритов «Оживший столик», богатая старая дева, влюбленная в трагические

огромные серые глазища моего друга. Меня все-таки печатали. Ибо в глубине души я чувствовал отвращение к выверту и молчаливо, вздыхая про себя, тяготел к «слабости».

Вспоминая те дни, я думаю, что если бы не благотворительность Крапленого, Облепихи и, особенно, не сочувствие к нам рыжей Мимки — мы бы умерли от хронического недоедания. Эти добрые люди снабжали нас хлебом, чаем, т. е. главным, остальное же мы иногда приобретали и на свои средства.

Таков был общий фонд нашего существования.

Оба мы были молоды, голодны, здоровы, а наши головы были набиты рифмами, как кошелек скряги червонцами.

При таких условиях наша жизнь не могла быть однообразной, и необыкновенные события, если мы, удалившиеся от жизни, не создавали их сами, двигались к нам против нашей воли, как гора к Магомету.

Это случилось в декабре. В один из последних перед Пасхой дней мы сидели на скамье Никитинского бульвара и, подняв воротники драных пальто, разглядывали каракулевых дам, нагруженных покупками и спешивших из магазинов домой.

Мой друг сказал:

— Слушай, если запрудить этот бульвар, как реку, с одного конца и при выходе отнимать у всех деньги — сколько соберем?

Я ответил:

— Праздный вопрос. Чтобы проделать это, надо обладать могуществом московского градоначальника. И, кроме того, твой вопрос был нетактичен. Я воображал, что курю папиросу. Ты меня сбил, и теперь я страдаю.

Друг полуприкрыл ресницами свои глазища. Он думал. Мне был неинтересен его ответ, и поэтому я отвернулся, ощутив где-то в мозгу недурной, казалось, афоризм: «неудовлетворение подлейших потребностей так отражается на работе высших центров, как фунт пироксилина, взорванный на фундаменте колокольни, отражается на ее золоченом куполе».

Но то, что сказал Виктор, было необыкновенно.

А он сказал:

— Продадим мой пиджак?

— Но чем же будет прикрыто твое туловище, если не считать пальто?

— Подтяжками и рубашкой. Завтра я возьму твой пиджак, чтобы сходить к своей издательнице: она обещала мне аванс.

Против предприятия, обещавшего папиросы и еду, я не протестовал. Я лишь удивился геройству моего друга, ибо… не верил в благотворительность издательницы его. Слегка было совестно: почему продаю пиджак не я, а он. Но потом я подумал, что близка очередь и моего костюма, и я так же бестрепетно останусь в рубашке, как и мой друг.

Пиджак был продан за два рубля. Выйдя от старьевщика, я полагал сразу же пойти обедать, но Виктор потащил меня в лавку, где продавалось железо, и здесь за двугривенный купил старую стамеску.

— Зачем?

— Увидишь.

Я не спорил. Чудачество было в натуре приятеля. Затем наступила очередь удовлетворения подлейших потребностей тела, которое началось с пачки папирос.

Домой мы пришли, имея с собой хлеб, колбасу и бутылку водки. Виктор сейчас же запер за собой дверь, разделся и лег на свое место, а именно на пол, на тюфяк. Кровать у нас была одна, и мы пользовались ею понедельно. Теперь была моя очередь.

Я стал что-то насвистывать.

— Тише! — заметил сожитель. — Ложись и будь несуществующим.

— Что за чепуха?

— Рассказывать нелепо. Все сам узнаешь.

Что же, я лег. Я был сыт и ничего не имел против того, чтобы подремать. Но когда я стал засыпать, голос моего друга разбудил меня:

— Не спи и слушай.

— Какого черта? — разозлился я. — Не вноси стиховного выверта в жизнь, пожалуйста. Или говори, в чем дело, или отстань.

— Ради Бога, тише! — прошептал друг. — Иначе она услышит, и все пропало.

— Кто?

— Крыса.

Я разом сел на кровати.

— Ты с ума сошел?

— Ей-Богу, нет! Ты сам убедишься в этом через полчаса, если будешь соблюдать тишину. Ложись и слушай.

У него были умоляющие глаза и разумный вид. Я, уже заинтригованный, уже верящий во что-то, для видимости повел плечами и лег спать.

Наступил вечер, и в комнате, и так не богатой светом, стало темно совершенно. Я лежал и слушал. За стеной вправо, ворочаясь, вздыхала и ворчала Облепиха, в головах у меня напевала тихонько, ожидая ушедшего на работу друга, красавица Мимка.

Дремалось.

— Ты не спишь?

— Нет.

— Смотри же…

— Ладно. Иди к черту.

Опять тишина. Но вот, может быть, через полчаса в стене, сообщавшейся со следующей квартирой, в глухой каменной стене раздался шорох. Он полз от угла к середине. Это была крыса. Звук становился все резче. Крыса осмелела и быстро передвигалась по вентиляционному каналу.

Затем крыса затихла. Остановилась. И сейчас же вслед за этим я услышал легкий металлический лязг в стене и стук чего-то передвигаемого. Затем — опять легкий скрежет ножек крысы по кирпичу: крыса прошла металлический предмет и следовала дальше.

Вспыхнул свет. Это Виктор зажег спичку: он стоял и держал ладонь на стене.

— Это здесь! — сказал он, повернув ко мне лицо.

Я вскочил.

II

— Ты знаешь, кто здесь жил до нас?

Я знал: вор, безногий побирушка, Васька Хромой, который сейчас в сумасшедшем доме.

— Имеем ли право мы его ограбить?

— Не знаю, имеем ли, — ответил я. — Но мы его ограбим.

Виктор уставил на меня свои огромные глазища.

— Нет, так нельзя.

Он любил все обосновывать, найти «базис».

Я пожал плечами.

— Мы вскроем стену?

— Вскроем.

— Тогда зачем разговоры?

— Нет, постой! Может быть, мы не вскроем.

— Тогда не вскроем. «Может быть» — к черту.

Он с некоторым восхищением посмотрел на меня. Он не мог… так просто.

Мы выждали ночь и, когда квартира затихла, приступили к работе. Вокруг отчертили карандашом «место», взрезали обои и опустили их. Едва они упали, как кусок штукатурки, видимо, отделенный раньше, упал на пол и рассыпался по кускам.

Обнажилась кирпичная стена, площадь приблизительно квадратная, величиною с пол-аршина. Мы осветили ее и увидели, что один кирпич (только его площадь целиком открывала) не вмазан, а вставлен свободно. Известь была выковыряна раньше. Кирпич был извлечен, мой друг, сверкая глазами, просунул руку в отверстие и извлек оттуда небольшую жестяную коробку, обвязанную веревкой, за которую был привязан браслет в виде проволоки с двумя застегивающимися друг за друга золотыми «булавками».

В коробке было — сто тридцать три рубля кредитными билетами.

III

Мы оделись, мы кутили, мы чувствовали себя богачами.

А браслет подарили рыжеволосой Мимке, которую оба любили и целовали в темном коридорчике около кухни, когда Ваньки, человека ревнивого, дома не было.

Опубл. и печ. по: Дальневосточная трибуна. 1921. № 74 (1 мая). С. 3.

В ПРИКРЫТИИ

Дорогу совершенно размыло сентябрьскими дождями; взвод, — пятьдесят человек гренадерского полка, — увязая в грязи, чавкая в ней тяжелыми сапогами, плелся по тропе сбоку: здесь было все-таки суше.

Несмотря на трудность перехода, вытянувшиеся в цепочку солдаты шли весело, — как всегда весело они идут в тыл, даже такой близкий, как закрытая артиллерийская позиция… Взвод был назначен в прикрытие к батарее.

Впереди шел Яблочков, командир взвода, красивый рослый мужчина, лицом напоминающий Гаршина[1]. За ним, прихрамывая, стерший ногу, взводный унтер-офицер Смольянинов; за два месяца войны солдат успел потерять молодцеватость казарменной выправки, оброс бородой и рядом с офицером казался нестроевым замухрышкой.

Говорили о Москве, о последних днях мобилизации.

Смольянинов бранил женщин.

— Словно белены они в эти дни объелись, ваше благородие, — хриповато басил он. — Прямо на солдат бросались.

Поручик слушал, улыбаясь. Он знал, что в Москве у Смольянинова осталась жена, разбитная молодая бабенка, большая охотница пофлиртовать. Он понимал, почему взводный бранил женщин.

Улыбаясь, офицер через плечо посматривал влево, туда, где легкой голубоватой дымкой синел туман над левым берегом речки Замости, занятым немцами. В голубой мгле тумана, серыми пятнами, колебались дымы костров…

— Пять часов, — сказал поручик. — Немцы костры разожгли. «Каву» варят.

— Да, — вздохнул почему-то солдат. — Это у них — точка в точку: точный народ.

А взвод уже вползал на горку.

---

[1] *Гаршин, Всеволод Михайлович* (1855–1888) – русский писатель, поэт, художественный критик. Известен портрет писателя, написанный И. Репиным (1884).

Внизу, в закрытой лощине, прижавшись к земле и словно растопырив свои широкие колеса, похожие сверху на жаб, — чернели пушки батареи. Кругом них бродили люди — артиллеристы.

Вступив в подчинение к командиру батареи — сухощавому, похожему на юношу, сорокалетнему подполковнику, — Яблочков дал Смольянинову указания как окапываться, наметил фланги двух окопчиков и ушел в халупу, где стояли артиллерийские офицеры. Здесь ему дали чаю, а у еврея, хозяина дома, он купил бутылку крепкой и душистой пейсаховки.

После вина стало беззаботно и весело.

Уютным показался грязный еврейский дом, милыми — слегка пренебрежительные к пехотинцу артиллерийские офицеры…

…Офицер вышел на улицу. В ложбине было по-летнему тепло, и от сырой земли по-июльски парило. Взвод, разделившись, окапывался, делая укрепление справа и слева от батареи.

— Не слишком ли близко роете? — сказал подполковник, догоняя Яблочкова. — Есть слухи, что завтра немцы будут наступать… Будете терпеть от огня…

— Удлиним! — беспечно ответил Яблочков, проходя к своим. Уж слишком по-дачному мирно было в лощинке. Как на маневрах под Москвой.

Солдаты рыли канаву неглубокого окопа, торопясь покончить с работой и заняться чаем. Уже смеркалось.

В группе наклонившихся к лопатам солдат Яблочков увидел Смольянинова. Солдат кричал что-то на фланг, но голос его не был прежним — твердым, начальственным. Что-то унылое сквозило в его сгорбленной унылой фигурке.

«Сдает взводный», — подумал Яблочков и крикнул:

— Эй, Смольянинов, иди в халупу чайничать! Теперь я сам присмотрю…

Солдат вытянулся, прижимая к фуражке пальцы, по уставчику, прямо вытянутой ладони. Яблочков ласково опустил его руку:

— Жарь, взводный! Да скажи денщику, чтобы он дал тебе водки, там осталась… Подкрепись: ты, кажется, раскис что-то.

Едва унтер-офицер ушел, как солдаты почти прекратили работу. И там и здесь зачиркали спички: закуривали. Гренадеры знали, что поручик, дикий во время гнева, сердится редко…

Все же пришлось покричать; но в общем все было готово; оставалось натаскать сена в окоп из ближайшего стога, — их немало, — как темные башни, — высились вокруг; напиться чаю и лечь спать.

II

Яблочков вернулся в халупу, к артиллеристам, где денщик приготовил ему постель. Было уже совсем темно. В стороне небо алело кострами двух зарев; там шел бой, и оттуда тяжело погромыхивали пушки. А прямо на запад, над холмом, угасал золотисто-зеленый закат, и на нем появлялись и исчезали ослепительно-белые звездочки немецких осветительных ракет.

Артиллеристы предлагали перекинуться в картишки; молодой, только что из училища подпоручик так заманчиво потрескивал новой колодой, но Яблочкова разморило вино, да и фасонистые, строящие из себя гвардейцев артиллеристы ему не нравились: он отказался и ушел к себе, в закут за печку, где денщик постелил ему еврейское тряпье.

И не напрасно.

На самом рассвете Яблочкова разбудили потрясающие халупу выстрелы их батареи. Артиллеристов уже не было. В комнате суетились денщики, прибирая вещи.

— Немцы поперли, ваше благородие! — сказал один из них, щербатый рыженький паренек, видимо робевший. — С наблюдательного передавали. Ваши фанагорийцы[1] здорово их кроют.

Яблочков выбежал.

На дворе еще было серо от рассветных сумерек. Но утро гремело. Непрерывная винтовочная и пулеметная трескотня за холмом рвала тугой утренний воздух, как крепкую скрежещущую ткань. А на гребне холма — огромными черными фонтанами взлетали разрывы немецких снарядов. Это «тяжелый немец» нащупывал батарею.

Яблочков прошел в окоп. Присмиревшие и молчаливые, солдаты рядком лежали в канаве, на вчерашнем мятом сене, выдолбив в отвесной передней стене окопа углубление, куда при случае можно было спрятаться с головой.

---

[1] Солдаты 11 гренадерского Фанагорийского полка, в составе которого воевал А. Митропольский.

Здесь был Смольянинов.

— Оставайся тут, — сказал Яблочков и пошел на правый фланг в другой окоп, где не было старшего. Пробегая по батарее, он невольно приостановился, залюбовавшись точной быстрой работой артиллеристов. Сверкающие медным патроном тяжелые цилиндры снарядов, словно живые, прыгали по рукам солдат, совершая путь от зарядного ящика к пушке. Наводчик, как точный автомат, ловил отрывистую команду взводного офицера, и вот, рявкая, взвизгивая снарядом, пружинно отскакивала пушка вниз и вновь натягивалась компрессором.

А «тяжелый немец» уже нащупал батарею. Над самой, казалось, головой завыла огромная тяжесть и лопнула, перелетев батарею, выбросив высокий столб земли и черного, как смола, дыма. И сейчас же завыла другая. И как страх делает тихим и прерывистым человеческий голос, так и тяжелые удары немцев смяли четкий правильный огонь батареи. Неверными, торопливыми стали ее очереди, все более продолжительными были интервалы между ними.

В окопе у Яблочкова уже были раненые… Солдаты жались к земле, но гранаты выковыривали их из канавы, как щепка клопов.

III

— Командира прикрытия к командиру батареи! — крикнули по окопу. — Скорей уходим… Пушки из окопов вытаскивать.

Батарея уже с четверть часа молчала, сбитая немцем. Несколько орудий было подбито. Из глубоких, осклизлых от дождей артиллерийских окопов нужно было вытаскивать четыре уцелевших пушки. Это должна была делать пехота, и делать под огнем, который не прекращался.

Солдаты упирались, не решаясь покинуть яму. Бегая по брустверу, Яблочков плашмя бил шашкой по серым горбатым спинам солдат, заставляя их встать. Но было уже поздно. Гренадеры успели добежать только до первой пушки: она жалко лежала в окопе, упав на разбитое колесо и словно с мольбой подняв к ненастному, моросящему дождем небу серое дуло.

— Ваше благородие! — крикнул солдат, показывая на холм.

Вниз по нему к батарее нестройно, как попало бежали серые фигурки наших солдат, и за ними на самом гребне неторопливо двигалась черная правильная человеческая цепочка: это были немцы.

И там стучал пулемет.

Все же Яблочков добежал до батареи. Увы, артиллеристов там уже не было. Они, обрубив постромки подвязанных к орудиям передков, верхами скакали вверх из ложбины. Оставались трупы и раненые, отползавшие к окопам.

Огонь по батарее прекратился: немцы, значит, считали ее своею.

— К чертовой матери! — крикнул Яблочков, свирепый на кого-то (на кого, он не знал), и побежал от немцев, огибая подбитое орудие. За ним побежало человек пятнадцать его уцелевших или не убежавших солдат.

Он уже отбежал порядочно, как вдруг крик:

— Ваше благородие, не бросайте! — остановил его. Яблочков оглянулся и увидел Смольянинова. Взводный лежал грудью в траве, ноги его были залиты кровью, мокрой еще и темной, коричневой какой-то на защитных штанах.

— Ногу перебило, — стоном кричал солдат. — Только что. Кровью исхожу. Перевяжите.

Животное чувство самосохранения — ведь немцы были уже близко — мотнуло поручика вперед. Но гордость и воля пересилили.

Оторвав от снаряжения ременный шнур револьвера, Яблочков наклонился над раненым и, пачкая руки в крови, обвив ногу ремнем, стал ее затягивать. Но узел не сходился туго.

— Эй, ко мне! — крикнул офицер пробегающим мимо, уже чужим солдатам. — Ты!.. Иди сюда!

Солдаты отворачивались и бежали мимо.

Тогда, в порыве ярости, Яблочков выхватил наган и, направив на первого бегущего мимо солдата, взревел:

— Сюда, сволочь; на месте убью!

Солдат, злобно перекосив землистое лицо, подбежал к раненому и упал рядом, пригибаясь от пулеметных посвистывающих пуль.

Свирепо помог затянуть ремень и сейчас же убежал.

— Прощай! — сказал Яблочков, вставая. — Не бойся, немцы подберут.

Бледный, зеленоватый даже, Смольянинов копался в нагрудном кармане гимнастерки, вынимая что-то. Трудно было, лежа на животе…

Наконец:

— Вот, ваше благородие, три рубля… с мелочью… перешлите моей Матрене… Адрес во взводе скажут…

И вытянулся плашмя, обессиленный потерей крови. А Яблочков, сжав в кулаке деньги, побежал. Так и бежал с ними, забыв сунуть их в карман, подгоняемый сзади пчелиным тиуканьем пуль.

Взбежав на гору, он увидел своих.

Они были уже в полуверсте от него, и над ними, догоняя их, появлялись внезапно и медленно таяли коричневые дымки немецких шрапнелей.

Яблочков перевел дух и пошел шагом. Справа и слева, впереди, он видел бегущих. Вся дивизия, обойденная с флангов превосходными силами немцев, стремительно откатывалась к городу Замостью. Поле было усеяно винтовками, снаряжением и ранеными; они медленно брели вперед, равнодушные уже к опасности, к плену, ко всему на свете.

— Разгром, конец, гибель! — казалось поручику, и он так же, как раненые, медленно шел по полю, равнодушный и к себе, и к окружающему. Казалось, все кончено, война, думалось, проиграна, и проиграна позорно.

А в это самое время моложавый генерал, командир армии, принимая по телефону доклад об исходе боя у города Замостья, — спокойно говорил в трубку:

— Скверно, но ничего особенного. Возьмите из армейского резерва 46 дивизию и продолжите бой. В хозяйстве фронта потеря двух полков — небольшой расход.

И положил трубку, ибо торопился на вокзал встречать великую княгиню, прибывшую в штаб в своем поезде-лазарете.

И происходил этот телефонный разговор в ста верстах от того поля, где, изнемогая от жажды, шел поручик Яблочков, все еще сжимающий в кулаке солдатские деньги.

Было это в сентябре 1914 года.

Опубл. и печ. по: Русский голос. 1924. № 1178 (1 авг.). С. 3.

ИГРА НА МЯСО

В.К. Арсеньеву, исследователю Уссурийской тайги

Партизанский отряд, оперировавший в районе Имана, был окружен и уничтожен японцами.

Только двоим удалось спастись, но и им угрожала гибель. С коробкой спичек и краюхой хлеба ушли они в тайгу и блуждали по ней.

Мучил гнус. Днем мошкара слепила глаза, и от укусов ее на коже открывались кровоточащие ранки. А в сумерках появлялся мокрец. Эти мельчайшие, невидимые для глаза насекомые забирались под белье и ползали по телу, ожесточая и мучая.

Тайга опустела, спасаясь от гнуса; звери ушли к морю или забрались на высокие горы, где ветер защищал их от москитов.

Симаковский и Бочкарев голодали.

Их путь лежал к китайскому охотничьему поселку в верховьях реки Имана, уже на половине хребта Сихоте-Алинь, откуда было недалеко до моря, до бухты Ольги, а там были свои.

Шли по тропе.

Вся тайга в тропах, но это была тропа не звериная, а людская. Следы топора, затесы и то скрученные, то надломленные ветки — язык тайги, ее иероглифы — говорили, что тут путь к жилью.

Было уже за полдень, когда оказались у первых фанз поселка. Первым, что увидели, была обращенная к югу ляо-е-мяо — маленькая кумирня. В ее крошечном окне стояли деревянные чашечки, грубые и черные, с золой и огарками свечей. Тут же, около вареного риса, лежали и позолоченные палочки: для еды богу.

Снаружи мотались по ветерку красные тряпки, и на них тушью были начерчены обращения к духам тайги, рек и умерших.

Дальше — поляна с двумя фанзами.

Путники вошли в двор первой. Посредине двора стояла арба, тяжелая, двухколесная. Массивные колеса ее, обитые огромными гвоздями с коническими шляпками, напоминали колеса старинных пушек.

Залаяли собаки. На лай вышел манза[1].

Он был в наколенниках из грубой синей дабы[2] и в синей же куртке. В зубах трубка. Лицо цвета темной меди.

— Лайла! — крикнули партизаны приветствие.

— Гуй-ля-ла! — ответил китаец. Так отвечают только возвратившимся из отлучки друзьям: партизаны поняли, что их встретили хорошо, а могло быть всяко.

Чувствуя, что наконец-то нервное напряжение упало, партизаны сели на край колоды-кормушки.

Вышло еще несколько китайцев. Гортанно галдя между собой, они подошли к гостям:

— Ваша какие люди есть?

Бочкарев показал на красную звезду на фуражке.

— Пауртизаны?

— Партизаны, красные солдаты, — по-китайски пояснил Симаковский. — Мы идем через горы. Проживем у вас сутки и за все заплатим.

Нет большего удовольствия для китайцев, как слышать родной язык из уст иностранца: они задвигались и засмеялись, дружелюбно похлапывая гостя по плечу.

— Твоя шибко хорошо говори! — сказал один.

Он был получше и поподтянутее прочих одет, а русский военный подсумок на поясе и патронташ через плечо — досказал остальное: хунхуз[3].

Да хунхуз и не скрывал этого. Похлопав по подсумку ладонью, китаец сказал:

— Моя твоя товарищ есть. Вместе японцев и офицерей бей есть. Ходи в фанзу.

---

[1] *Манзы* (пидж.) – местное именование китайского и маньчжурского населения Уссурийского края, в первую очередь, оседлого.

[2] *Даба* — китайская хлопчатобумажная ткань.

[3] *Хунхузы* — банды пришлых китайских налетчиков на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии, которые занимались грабежом, захватом в рабство и таким образом терроризировали местное население. Состояли в основном из беглых китайских солдат, крестьян, деклассированных и ссыльных. Действовали с XIX в. до победы народной революции в Китае. Название происходит от кит. «honghuzi» — «краснобородый». Любимым прибежищем хунхузов были непроходимые леса, где они жили в землянках, шалашах из ветвей, одиноких фанзах и т.п.

Он оттолкнул руку Бочкарева, протягивавшего деньги.

— Это не надо. Моя шибко богатый, моя угощай товарища.

И они вошли в фанзу.

Тут, на хозяйской половине, был и еще один хунхуз. Огромный, сопящий (Симаковский никогда не встречал среди китайцев таких гигантов), он валялся на кане[1]. Но и он поднялся при входе неожиданных гостей.

II

Завечерело.

Манзы возвращались с работы, мылись горячей водой, ужинали, разбирали свои постели и ложились. Из печки последний раз выгребли угли и перенесли в котел. Пусть, засыпанные золой, тлеют и греют фанзу.

Большая фанза среди полной темноты кажется иллюминованной. Во всех концах ее светятся огоньки курильщиков опиума и вспыхивают трубки, раскуриваемые угольками.

Недолго длится беседа. Китайцы засыпают, а спят они голыми и ногами к стене, головой же внутрь фанзы. Только двое спят по-нашему, по-русски — партизаны. Сморенные путем, сытой жирной пищей и горячей китайской водкой, они уже уснули: Симаковский — вздрагивая во сне и постонывая, Бочкарев — спокойно.

А за перегородкой, в хозяйской половине, разгорается игра. Играют, как всегда, шумно, горячась, теряя самообладание. Игра — сай-цзы, кости.

На столе большой квадрат, разделенный диагоналями, с нумерацией. Белые костяные кубики с точками. Точки черные, очки, от одного до шести.

Высокий, худой и стройный хунхуз, тот, что встретил гостей, кладет их в деревянную чашечку, закрывает ее такой же чашкой и, потряся, бросает кости на стол.

Ему не везет, и лицо его передергивается, словно резиновое.

Выигрывает гигант. От азарта, жадности и водки его круглое жирное лицо в поту. Крупными каплями он блестит на лбу и скатывается по щекам, оставляя мокрые глянцевитые дорожки.

---

[1] *Кан* — кирпичная или глиняная лежанка, пристроенная к печи как дымоход; нагревается горячим воздухом.

Гигант поспешно вытирает огромной мягкой ладонью подбородок, рот и над носом, и кричит ставки. К нему уже переходит последнее достояние товарища: заветные, зашитые в поясе пять русских золотых десятирублевиков.

Кривляясь лицом, хунхуз распарывает пояс большим поварским ножом.

Пять желтых кружков звенят на столе.

И уходят в карман к гиганту.

Пауза.

Хунхуз, поворачиваясь, хватает из угла свою винтовку — хорошо смазанный японский карабин, срывает подсумок и патронташ и кладет на стол.

Кости падают, партнеры смеются; их сочувствие на стороне выигрывающего. А гигант берет винтовку и переставляет ее в свой угол.

И вдруг вся рабочая половина фанзы, уже спавшая, вскакивает и бросается за перегородку. Манзы услышали страшные слова:

— Та-хула-цзы!

Молодой хунхуз ставит на кон себя самого; если он проиграет, он на год переходит в разряд рабов.

III

В хозяйском углу фанзы тишина. Манзы затаили дыханье. Сжатый ими высокий Симаковский, загнанный сюда общим движением фанзы, смотрит на стол, где сейчас должна решиться участь молодого разбойника. Рядом, сопя, почесывается Бочкарев:

— Я уж думал: белые! — шепотом говорит он товарищу. Он бы ушел, да назад через дверь не протискаешься.

Теперь мечет кости гигант. Подняв чашечки и тряся ими, он говорит, пытаясь разубедить товарища.

Молодой ударил кулаком по столу. Кости сухо щелкнули по доскам. Симаковский видит: пять, четыре, шесть… много! Теперь черед молодого. Три раза тряхнул чашками и бросил кости на стол.

Молодой выскочил из-за стола, стоя стаскивает с себя рубашку.

— На мясо! — услышал Симаковский крик китайцев. Игра на мясо!

Молодой хунхуз выпячивает вперед желтый вздрагивающий живот и вдруг, согнув спину дугой, захватив в кулак порядочный кусок кожи на животе, ударом ножа обрезает ее и бросает на стол, заливая его кровью, которая хлещет из раны.

Мясо шмякнулось и перевернулось кровавой стороной…

Гигант побледнел. По законам тайги он должен был сделать то же самое, иначе ему грозила смерть, так мстил обычай за удачу в игре. Теперь, если игрок откажется от ставки, только что выигранный им раб имел право отрезать от его живота столько мяса, сколько сможет захватить рукой.

Бедный великан дрожал. Сказал что-то… И вдруг все китайцы с неожиданной яростью бросились на него.

Вход освободился, партизаны выскочили и метнулись к своим местам.

— Как бы они… потом… и на нас! — крикнул в ухо Симаковскому Бочкарев. — Идем к винтовкам.

Душераздирающий гвалт на хозяйской половине затих. Затем раздался визг, словно большую свинью резали, и падение чего-то: операция была окончена, человек умирал.

Крича и горланя, манзы-рабочие возвращались на свою половину.

На русских они даже не взглянули. Многие смеялись, тонко повизгивая. Через несколько минут через рабочую половину проволокли труп гиганта. И опять темнота расцветилась огоньками трубочек.

***

Утром, когда партизаны собирались покинуть фанзу и увязывали в мешок купленные на дорогу чумизовые лепешки, манза-повар сказал:

— Наша капитана зови ваша… Туда ходи! — мотнул он головой на хозяйскую половину. Партизаны вошли.

Молодой хунхуз, бледный, но веселый, лежал на кане. От живота его, покрытого тряпьем, шел пар и пахло кислым: лежала горячая припарка из теста.

Он приветливо закивал головой.

— Ваша плати не надо! Совсем не надо! — говорил он слабым, но радостным голосом. — Моя опять богатый есть и ваша любит. Моя к вам в гости ходи.

Другой китаец, улыбаясь, подал ему плоскую маленькую чашечку с черным напитком: лекарство, настой чудодейственного женьшеня. Он выпил и опустился с локтя навзничь — больно было.

— Моя японцев шибко не любит! — шепотом, гортанно, продолжал хунхуз. — Моя вместе с вами бить их будет.

И он протянул руку, прощаясь.

Когда партизаны снова шли тайгой, давно уже миновав поселок, Бочкарев сплюнул, искоса весело посмотрел на товарища и сказал:

— Ну и люди! А в общем ничего… Только дикари очень… На мясо играть!

— Так ведь иначе хунхуз бы рабом стал, — ответил Симаковский.

— Положим, — согласился Бочкарев. — Выхода ему иного не было.

И оба стали думать о том, как, блуждая по тайге, иногда они падали духом. Приползала изредка и мыслишка о сдаче… Но теперь этого не было, и, хотя впереди лежала пустынная тайга и неизвестность, шли они спокойно и весело и были уверены, что и свою «ставку на мясо» они сделают не робея.

И счастье им сопутствовало.

Опубл. и печ. по: Советская Сибирь. 1926. № 117 (23 мая). С. 4.

ДОМИК НАД БУХТОЙ

Эмигрантское

Из казармы, полуразрушенной снарядом с японского крейсера и покинутой солдатами народной армии, ушедшими в сопки и разбежавшимися, Петровский перетащил тяжелые железные кровати и стал устраиваться. Он выбрал для жилья маленький офицерский флигель, застеклил окна в двух комнатах и поправил плиту.

В первой, маленькой, поселился он сам, вторую же, побольше, отдал старой генеральше, жене своего комполка, которую он, вместе с ее десятилетней дочкой, в полуразбитой крушением санитарной теплушке, через тиф и большевиков, — дотащил до Владивостока.

Домик стоял на горе, под ним голубела бухта, а за ней и над нею поднимался на сопках прекрасный большой город.

Дни были страшные и кровавые.

Огромные иностранные корабли чернели на бухте, как крокодилы в болоте, лениво дымили трубами, и на бортах их матросы говорили на всех языках, от японского и филиппинского – до французского.

Генеральша нищенствовала, продавала вещи, которые сумела вывезти, и должала лавочникам-китайцам. Делать она ничего не умела и не хотела, и в комнате ее было не подметено, а от тазика, стоявшего под кроватью, дурно пахло.

Петровский ловил рыбу и кормил женщин.

Брала камбала, ленивая, как ладонь, широкая, одноглазая, остро и неприятно пахнувшая. Ловилась и скумбрия, но лучше всего брала морская красноперка, похожая на нашу плотву.

Из красноперки делали котлеты.

Генеральша чистить рыбу не могла: нервы не выдерживали острого рыбьего запаху.

Она пила кофе из великолепного кофейника, единственной вещи, с которой она не могла расстаться. Пила раз семь в день, немилосердно разбавляя кофе водой, угощала Петровского и за жидким пойлом своим становилась разговорчивой, вспоминая Петроград и кутежи с шампанским.

Худенькая Верочка бегала к лавочнику-китайцу, выпрашивая в долг масло и керосин. Раз, придя в лавку, Петровский увидел, как китаец-приказчик мял девочку в углу лавки.

Матери об этом Петровский не сказал: ни к чему!..

Свистнул только:

— Девкой будет!

Вечерами садились на крылечко и смотрели на бухту, на огни города, на зеленые и красные сигнальные фонарики на бортах и мачтах крейсеров.

Слушали музыку, долетавшую из города и с кораблей, и глубоко вдыхали влажную синюю морскую мглу, в которой вспыхивали уже фосфорические точки светящихся мух.

Генеральша рассказывала. Петровский, не слушая, думал о своем.

От Колчака ничего не осталось, но и большевиков иностранцы почти уже вышибали из Приморья. Надо было начинать что-то делать.

— Раз из Омска добрался сюда и не погиб, — думал, — так и здесь не пропаду. Если жизнь тяжела, так есть еще молодость, а она все скрашивает!

И однажды, сходив в город, Петровский вынул спрятанный в подполье наган и сказал генеральше:

— Будем переворот устраивать. Ухожу я…

И ушел из домика навсегда.

* * *

Прошло семь лет. На башне морского штаба, на остром, как игла, флагштоке давно уже развевался красный флаг Советского Союза.

Уже и выгореть он успел, обсосанный соленым морским тайфуном, уже собирался заменить его новым директор морской обсерватории, помещавшейся в башне.

Давно и крокодилы иностранных крейсеров уползли из бухты, и советский миноносец держал брандвахту. В домике по ту сторону бухты давно уже не было ни Петровского, ни генеральши с ее дочкой.

Школа первой ступени разместилась в отремонтированном офицерском флигеле.

Да, прошло семь лет.

Петровский шел по залитой витринными огнями шумной харбинской улице.

Он был в штатском и одет хорошо, тепло и прочно.

Была зима…

— Театр, кинематограф, кабак? — спросил он себя.

Он выбрал последнее. Потом по скользкой железной лестнице спустился в подвал модного фокстротного ресторанчика, отдал пальто рябому китайцу, вошел в зал и остановился у дверей, потирая озябшие руки.

Танцевало несколько пар. Мимо, обдав запахом разгоряченного тела и духов, скользнула женщина, почти перекинувшая свое тело в руке кавалера, и Петровский подумал, как легко она идет и как красивы ее ноги, тонкие, перехваченные в щиколотках черными лентами шелковых туфель.

Затем он сел за столик, спросив вермут, горько-сладкий итальянский чинзано, и стал его пить большими рюмками, не разбавляя водой. И скоро ему захотелось танцевать.

Когда вспыхнул свет, и девушка, которую он заметил, прошла в угол зала, где сидели кельнерши, и села, — Петровский взглянул на нее и увидел, что она улыбнулась ему, как знакомому.

И едва Петровский привстал, как она поднялась ему навстречу.

— Здравствуйте, Василий Петрович! — сказала она, когда он обнял ее, чтобы начать танец. — Не узнаете? Верочка!

— Домик над бухтой! — вскрикнул Петровский, уже скользя по навощенному линолеуму и чувствуя, как гибко талия девушки перегибается в его руке. — Неужели вы? Боже мой, ведь уже семь лет. А мама?

— Она умерла.

Они скользили по залу, лавируя между парами, и в этой алой полумгле, в этих воющих звуках танца разговаривать было просто и легко.

Петровский чувствовал грудь девушки, и ноги ее почти переплетались с его ногами.

Танцевали долго, а когда вспыхнул свет, Петровский посадил девушку к своему столу.

— Ну, как вы живете? Рассказывайте! — сказал он, рассматривая милое личико девушки, очаровательное молодостью и тем идущим изнутри оживлением, имя которому — юность.

— Знаете что, — начала Верочка, как-то наивно, еще по-детски, складывая губы бантиком. — Лучше пойдем в кабинет. Или?..

Петровский понял значение недоговоренного.

— Нет, — сказал он, — деньги у меня есть. Если хотите, пойдемте.

В маленькой отдельной грязноватой комнате они сели рядом на раздавленный неровный диван. Пришел лакей, старик, похожий на гнома, и спросил, чего желают господа.

Появилось вино и шашлык.

А через час Верочка сидела у Петровского на коленях, и он целовал ее голое плечо, спустив на руку легкую надушенную ткань платья.

Потом он напился совсем, ему казалось, что кто-то обидел его, и он кричал, махая руками:

— А помнишь ли ты домик над бухтой? Помнишь, как я камбалу для вас ловил?

И Верочка, побледневшая, скучная и тоже пьяная, сердито отвечала ему:

— Не ори! Лучше закажи еще бутылку Аи.

И узнав, что у него больше нет денег, убежала и уже не вернулась.

* * *

Спотыкаясь, Петровский шел домой. Была злая ночь. С Хингана дул резкий ветер.

— Домик над бухтой, камбала, девочка, играющая в мяч. Когда это все было? Не помню!.. Да и было ли. Лучше забыть!..

Он уперся лбом в фонарный столб и заплакал тяжелыми пьяными слезами.

С Хингана, по-волчьи подвывая, дул жесткий железный ветер. Он звал к борьбе и к мужеству.

Но усталые люди не любят холодного ветра.

Подп.: А. Арсеньев.
Опубл.и печ. по: Рупор. 1927. 18 декабря. С. 2.

БЕЗУМИЕ

Сумасшествие приходит столь же неожиданно, как и смерть.

Правда, врачи, заглянув в зрачки человека, над которым, неведомо для него, нависла шершавая кошма безумия, что-то угадают и о чем-то начнут предупреждать, но ведь не все же вовремя обращаются к врачам.

Да и как связать, скажем, неравномерность зрачков с тем страшным процессом распада разума, который превращает человека в скота, заставляя его, как сумасшедшего фаворита Екатерины II, есть собственный кал.

Никак не свяжешь.

Ведь этот процесс похож на гудение молекул пара в котле, готовом разорваться.

Только специалисты понимают, что значит красная черта на циферблате манометра и как опасно, когда его стрелка переходит эту черту.

* * *

Александр Иванович Смирнов, человек бесцветный, как его фамилия, третью неделю чувствовал странное недомогание. Да и недомоганием ли это было?

Раньше каждое свое движение тело делало естественно, просто, рука поднималась и опускалась, ноги шли, рот жевал или говорил.

Теперь все это стало трудным. Для каждого движения требовалось повторное приказание воли, которая нашла себе в сознании Александра Ивановича Смирнова грозного и сильного врага в виде какой-то особой лени, на каждое требование действия отвечавшей:

— Да полно! Не стоит!.. К чему все это?

И только в эти дни Александр Иванович Смирнов дорос до понимания страшных слов Екклезиаста:

— Все суета сует и всяческая суета!

Правда, иными путями пришел к этой истине еврейский царь Соломон, путями, на которые и не ступала нога российского обывателя Александра Ивановича Смирнова, но ведь *и пути сует*, ведь и они ведут в небытие, в смерть.

В Александре Ивановиче умирала душа.

Умирала, отгнивая одной частицею за другой, превращая человека лишь в чрезвычайно сложный комплекс клеток, еще подчиняющийся общим законам прозябания.

Но когда и этим клеткам стала грозить гибель, в опустевшем сосуде души родился страх.

Он был косматым, как лес под осенним ветром, и бесформенным, как осенние тучи.

* * *

Когда царь Давид умирал от дряхлости, к нему на одр положили юницу, чтобы она передала ему свою молодость и бодрость.

Умирающее хватается за живое.

Темный страх, гудевший в груди Смирнова, как сосновый бор в сумерках, погнал его к женщине.

Он нашел ее.

Она была полуитальянкой-полурусской, светлой блондинкой, с кожей нежно-розовой, просвечивающей молодой кровью.

Женщину побеждает не красота и не богатство, а сила желания самца, захотевшего ее. Желание самца гипнотизирует их, связывает их волю и ведет на ложе, может быть и нежеланное, как лунатичку луч лунного света.

А Смирнов желал.

— Завтра я приду к тебе!

В этот вечер, идя к себе домой, Смирнов искал в своей душе волчьих завываний страха.

Их не было.

* * *

Утром Смирнов проснулся бодрым и жизнерадостным.

Сосед по номеру в гостинице, где жил Смирнов, слышал, как он пел, чего никогда не было.

Вовремя Смирнов ушел и на службу.

Но на углу Китайской и Диагональной он вдруг остановился, озадаченно повертелся на месте и вдруг бросился в противоположную сторону, к магазину, где потребовал себе шерстяной купальный костюм.

Была зима, и приказчик удивился:

— В теплые края едете?

— Какие там края! — жизнерадостно замахал руками Смирнов. — Для управления мне нужен!.. У нас там без купального костюма теперь совершенно невозможно!

— Уж известно! — согласился приказчик, полагая, что в словах покупателя скрыт какой-то политический намек. — Какого цвета

прикажете? Вот розовый. Настоящий устряловский цвет[1]. Или оппозиционный — зеленый. Такой костюмчик товарищ Лашевич летом у нас брали. Под «лесного брата».

Александр Иванович выбрал костюм и поехал в управление.

Там он усердно работал, и только конторщик Власов, человек мрачный и нелюбимый сослуживцами, заметил в поведении Александра Ивановича некоторую странность.

Когда он, с нужной бумагой или за нею, пробирался между столов к месту зава, — он у крайнего стола всегда делал широкий шаг, словно перешагивал через лужу.

— Что, ножки боитесь замочить? — ехидно спросил Власов.

— А как же! — охотно ответил Смирнов. — Ботинки-то новые, лаковые… Жаль… Хотя сегодня поуже стало, высыхает, что ли…

— Шутник! — угрюмо и с завистью сказал Власов и мрачно подумал: «С утра наклюкался… И с чего бы?.. Кажется, не пил человек».

* * *

Женщина пришла, как обещала, в девять.

Подошла к двери номера, на которой висела белая эмалированная дощечка с цифрой «17», и постучала.

«Войдите!» — глухо услышала она и робко отворила дверь.

Ведь даже опытные женщины робеют, входя в комнату мужчины, которому они в первый раз должны отдаться.

Смирнов встретил ее пылко, настолько пылко, что она даже не сразу заметила, что он был… в одном купальном костюме.

Но, разглядев одеяние Смирнова, женщина обиделась.

— Конечно! — сказала она. — Ты знал, что я пришла, чтобы стать твоею, но все же ты должен был бы встретить меня как порядочную женщину.

В том, что она сказала, была оскорбительная для нее бессмыслица, но она не заметила ее, как не поняла безумия в ответе Смирнова:

— Милая, но разве ты не чувствуешь, ведь льет же, льет…

---

[1] *Устрялов, Николай Васильевич* (1890–1937) — русский правовед, философ, политический деятель; считается основоположником русского национал-большевизма, идеологом «сменовеховства». «Розовый цвет» здесь – намек на симпатии Устрялова большевизму.

— Не валяй дурака! — строго сказала она. — Я знаю, у каждого из вас свои причуды. Не прикидывайся сумасшедшим!

Но все-таки женщина не ушла от Смирнова. Зеленый костюм шел к нему; у него было сильное белое тело, возбуждающее, пахнувшее. Он был силен.

* * *

Женщина ушла в полночь.

Когда Смирнов затворял за нею дверь в комнату, как черная мохнатая собачонка, проскользнул страх.

«Он» забился под кровать.

Смирнов долго выпихивал его тростью, но он, сделавшись крошечным, забился в щель.

Всю ночь Смирнов не спал, слушая, как страх скулит под кроватью.

Два раза в комнате сам собою зажигался свет и сам гас.

Утром, все еще в своем купальном костюме, Смирнов выполз из своего номера и «на саженках» поплыл к телефону, преследуемый отчаянно кричавшим от страха боем Василием.

Завладев телефоном, Смирнов повертел диск и, думая, что говорит с завом своего отдела, крикнул:

— Я Ной[1]. В моем ковчеге среди нечистых есть два места. Беру вас с вашей супругой с собою. Торопитесь! Льет все сильнее!..

Потом Александра Ивановича Смирнова отвезли в шестой барак.

В отделе с полчаса поахали.

А дальше Власова посадили на место Смирнова, с прибавкой.

— Только смотрите, тоже с ума не сойдите! — ласково пошутил зав.

— Не сойду! — мужественно отшутился Власов. — Мне не с чего сходить!

Жизнь шла своим чередом.

Подп.: А. Арсеньев.
Опубл. и печ. по: Рупор. 1927. 25 декабря. С. 2.

[1] *Ной* – библейский герой мифа о Потопе.

ИСТЕРИКА

Анна Ивановна вышла из мутной сунгарийской воды, как Венера из морской пены. Молодая, сильная, стройная, она шла по пляжу, топя ступни маленьких ног в золотой горячей кошме песка. Шерстяной темно-коричневый купальный костюм оттенял золотисто-розовый, еще свежий загар ее крепких плеч.

Быстрицкий сидел на скамеечке, ждал.

Анна Ивановна жила с ним уже третий год, но официально они были лишь «знакомыми».

Освеженная водой и гимнастикой плавания, женщина посмотрела на своего друга неприязненно, как-то сразу, одним взглядом, впитав в себя всю его слабосильную сутулую фигурку с морщинистым лицом и слегка оттопыренной нижней губой — признак мелочности.

И, хотя знала наперед, что ответит Быстрицкий, Анна Ивановна все-таки спросила:

— Отчего же вы не купаетесь?

— Я удивляюсь, как вы можете купаться в той отвратительной воде, — еще более вытягивая нижнюю губу, ответил Быстрицкий, — надо быть слишком небрезгливым, чтобы погружать свое тело в эти помои.

Анна Ивановна почти с ненавистью взглянула на мужчину.

Ах, как она его знала!..

Чистенький, сухопарый и слабосильный, он сидел на скамейке, боясь пошевельнуться, чтобы не измять белых шевиотовых брюк, купленных вчера и впервые одетых.

— Как я его могла полюбить! — почти вздрогнула она. — Боже мой, какое чучело! И ведь не купается он только потому, что боится воды, не умеет плавать и стыдится этого.

И назло ему она сказала:

— Нет, вода ничего. Только, конечно, тебе, не умеющему плавать, купаться здесь опасно. Обрывисто тут… Ты бы поучился у Романченки.

— Я? — деревянно дернулся Быстрицкий и сейчас же окаменел, дрожа за складку своих панталон. — Мне учиться плавать на глазах у всех, чтобы какой-нибудь писака накарябал бы на меня

фельетон в газете? Я — помощник заведующего местным отделением фирмы «Крамер и К-о». Надо быть мещанкой, чтобы делать мне такие предложения.

Анна Ивановна вздохнула.

«Не надо ссориться, — подумала она. — У каждого человека есть свои недостатки. Все-таки по-своему он меня любит».

Вспомнились подарки…

— Проживи-ка на жалованье машинистки! — еще раз вздохнула она, навзничь, во весь рост, растягиваясь на золотом горячем песке.

— Ты бы хоть на песочке погрелся! — ласково пропела она, снизу вверх глядя на его презрительное лицо с оттопыренной нижней губой.

И сейчас же поняла, что этого говорить не следовало; Быстрицкий был худ, как воробей весной, и стыдился своей худобы.

— Я слишком чистоплотен, чтобы валяться на этом заплеванном песке! — надменно пискнул он.

«А ну тебя к черту!» — досадливо подумала Анна Ивановна и перевернулась на живот, подставляя солнцу гибкую узкую спину.

Два японца, с фотографическим аппаратом слонявшиеся по пляжу, стали медленно подкрадываться к женщине…

И нерешительно остановились в пяти шагах от нее.

— Эээ! — начал один из них, посолиднее и постарше. — Иссс… эээ!.. Извините… Мозно *вас снимать*?

Анна Ивановна подняла голову.

— Не смейте! Впрочем, — захохотала она, — черт с вами, снимайте.

— Не позволяй! — дернулся Быстрицкий. — Не смей позволять. Я не желаю.

— Ну и говори с ними сам! — злорадно зевнула женщина, пряча лицо в ладони. — Защищай меня.

— Нельзя, нельзя! — замахал рукой Быстрицкий. — Моя не разрешай. Прошу вас… Нельзя!

— Мадам разрешает, почему нельзя? — обиделся японец посолиднее. — Что такое? Анноне!..

Другой в это время, скаля золотые зубы, уже орудовал аппаратом.

Быстрицкий почти плакал. Был выход — сесть на песок рядом с Анной Ивановной, заслонив собою ее от объектива, но тогда бы пропала свежесть шевиотовых брюк, а сегодня вечером надо было идти на симфонию! Он терялся.

— Боже мой, какой червяк! — с отвращением думала женщина, сквозь пальцы рук, закрывших лицо, наблюдая Быстрицкого.

И так как публика, валявшаяся на пляже, стала уже обращать внимание на происходившее, она, легко и грациозно вскочив с песку и показав японцам шиш, побежала к Яхт-Клубу.

— Пора обедать!

На террасе ресторана Быстрицкий хорохорился:

— Еще немного, и я бы им в морду дал. Но ты, ты хороша! «Пожалуйста, снимайте!» Развалилась, обрадовалась, как швейка перед господами. Ведь неприлично!.. Я же занимаю положение, про нас в газетах могли напечатать!..

После обеда решили ехать домой.

— Кажется, волна! — лицемерно-равнодушно заметил Быстрицкий на берегу. — Не закачало бы тебя, Аня!..

— Не трусь! — резко оборвала женщина. — Ведь стыдно же!

Она была страшно зла: накипело.

— Какая волна, господин! — ласково начал было лодочник. — Такой волны куры не боятся.

— С тобой, любезный, не разговаривают! — строго оборвал его Быстрицкий, выпирая нижней губой.

И хотя катер гудел рядом, но отступление было уже невозможно: Анна Ивановна прыгнула в лодку, сильно качнув ее. Быстрицкий, оберегая панталоны, полез за нею.

Лишь миновали фарватер, ветер, дувший снизу и вызывавший заметное волнение, действительно засвежел. Лодку стало покачивать.

Быстрицкий вцепился в борта обеими руками.

Анна Ивановна, сидевшая напротив него, со сладострастием жестокости глядела в его помутневшие глаза.

Он лепетал срывающимся голосом:

— Я же говорил, надо ехать на катере. Тебя обязательно у… у… качает!

И тут голосом, зазвеневшим от ненависти, Анна Ивановна вдруг прошептала, наклоняясь к лицу друга:

— Ты вошь, настоящая вошь! Вошь в складках жизни!

И одними губами, почти беззвучно:

— Хочешь, утоплю!

— Аня, что ты… Побойся Бога! — взвыл Быстрицкий. — За что?.. Ведь я же серьги тебе подарил. На курорт повезу!..

— Женись на мне…

— Аня!..

— Что?!

Она сильно качнула лодку, зачерпнувшую воду одним бортом.

— Лодочник!.. Товарищ!.. Гражданин! — взвыл Быстрицкий. — Она потопить меня хочет. Преступление!..

— Не тревожьте их, барышня, — ухмыльнулся лодочник, пыхтевший на веслах. — Они, видать, малокровные. А вы, барин, не пужайтесь. Здесь отмель. Чуете, лодка по песку днищем чиркает…

— Вошь, вошь!.. И кого я только любила, — истерически взвизгнула Анна Ивановна и вдруг залилась припадочным хохотом. — Боже мой, Боже мой… За сережки, за курорт. Хуже проститутки!

Быстрицкий, все еще державшийся за борта, каменел от ужаса.

Лодочник бросил весла.

— Видно, сезон такой начался, — философски вздохнул он. — Третий припадок у меня на реке за неделю. Малокровные нынче господа пошли.

И спросил, обращаясь к Быстрицкому:

— Ехать аль подождать, пока барышня выревется?

— К берегу! — скомандовал Быстрицкий.

Подп.: А. Арсеньев.
Опубл. и печ. по: Рупор. 1928. 27 мая. С. 2.

БАРЫШНИ

Гребла Нюся.

От напряжения на темном ее загоревшем лице выступили и стеклянно блестели крошечные росинки пота. Особенно много было их над верхней губой.

Бросив весла, девушка отерла пот прямо ладонью, горевшей от натуги.

«Какая она грубая, — подумала Люся, томившаяся на корме. — Прямо парень. Плечи и руки — одни мускулы, ни малейшей плавности линий».

То же подумала и третья подруга — Олечка Бинштоk, малокровная, злая и страшно ученая — оканчивала ВУЗ.

Но подход у Олечки был другой.

— Мещанка и неразвита ужасно!

Олечка помочила пальчики в воде и, брызнув несколько капель на острые плечи с торчащими ключицами, сама же себе вслух возразила:

— А знаете, девчонки, я часто думаю, что самое главное в жизни — это простое животное здоровье. К чему ум, изысканность мысли. Полнокровие и такие вот руки, как у Нюси, — это, по-моему, и есть настоящий дар Божий.

Нюся, конечно, обиделась.

— Если хочешь иметь такие руки, как у меня, так ты больше греби, дармоедка! — шмурыгнула она носом. — Легко, ты думаешь, выгребать против течения?

— Нюсенька, дайте мне погрести! — крикнула с носа лодки семилетняя Пуговка, курносенькая Люсина сестричка. — Право, дайте мне, вы же устали.

— Нет, нет, нет… Сиди, сиди! — завизжали барышни. — Не смей сходить с места. Ты лодку перевернешь.

Со всякими предосторожностями поменялись местами.

Олечка, брызгая водою, стала болтать веслами. Лодка кружилась и плохо подвигалась вперед.

Скоро Олечка устала:

— Не могу! — запищала она. — Режет руки. Как хотите… Пускай несет вниз!

— Дай мне! — рассердилась Нюся.

Она повернула лодку к берегу.

Крепкая спина эластично выпрямлялась, далеко бросая из-под весел закипавшую волну; на руках наливались и падали небольшие продолговатые бицепсы. Пуговка, трепыхаясь голубым бантом в белокурых волосах, визжала от удовольствия:

— Ах, как быстро!.. Прямо пароход!

— Стоп!

Лодка врезалась в песок, и Люся, съехав с кормы, шлепнулась на дно.

— Вот как!

Нюся хохотала:

— Я, когда разозлюсь, всегда очень сильная. Я могу лодочником быть!

Пуговка в восторге цеплялась за ее руки.

— Ты моя красавица! — протягивая губы для поцелуя, восторгался ребенок. — Когда я вырасту, я сделаю тебя своим мужем!..

Девушки захохотали.

— То есть папой! — поправилась девочка.

Шлепая по воде босыми ногами, барышни вышли на песок, белевший, как сахар, и такой горячий, что неженка Люся сейчас же захныкала:

— Сгорю, сгорю… Сгорю!..

Все трое были в купальных костюмах, только Пуговка — совсем голенькая с полотенцем на плечиках, чтоб не очень нажгло солнце.

Половину маленькой песчаной полянки закрывала тень от тальников.

Истомленные жарой девушки бросились в ее прохладу.

На теплой кошме песка их тела в ярких купальных одеяниях легли неожиданным и ярким пятном. Обессиленные зноем, в позах изнеможения, эти девичьи тонконогие фигуры напоминали чью-то картину, где художник изобразил покорные тела женщин, доставшихся в добычу военачальнику.

Нюся первая пришла в себя.

— Люблю солнце! — крикнула она и на четвереньках, чтобы позабавить Пуговку, проскакала из тени на солнце. Здесь она легла

навзничь, стянув упругую ткань костюма с плеч до бедер. Пуговка, также на четвереньках, сейчас же проскакала к ней и легла сбоку.

Рядом с крепким загорелым телом девушки беленькое худенькое тельце ребенка возбуждало трогательное чувство.

Люся критически осмотрела голую Нюсю.

«Какая грудь! — с завистью подумала она. — Как налитая, но очень велика».

И сказала вслух:

— Нюся, у тебя немодная фигура. Теперь мужчинам нравятся плоскогрудые.

— Какие ты глупости говоришь! — сердито ответила девушка, не открывая глаз и скрещивая на груди руки. — Я совсем не думаю о таких вещах.

— О чем же ты думаешь?

— О том, что пора купаться!

— Не отвиливай. Я не об этом спрашиваю. Разве ты никогда не думаешь о мужчинах, о любви?

— Как думать о мужчинах, не понимаю? — сердито ответила девушка. — О любви, это другое дело!

Худосочная Олечка, которую подруги за глаза называли чирием, ядовито съехидничала:

— Ах, мы еще такие невинные, что любим только папу и маму!

Обе девушки уже переползли на солнце.

Люся, прекрасная благородством линий юного чистого тела, лежала, как и Нюся, навзничь. Пуговка веточкой тальника щекотала ей шею, и девушка вздрагивала, нервно пожимая плечами, и, смеясь, ловила ветку зубами.

Эти подрагивания, разливавшиеся зыбкой волной по всему телу девушки, напоминали чем-то нервность породистой лошади.

Олечка лежала ничком, раскинув руки, и костлявые лопатки ее рельефно выпирали из-под смуглой негладкой кожи. В ее позе была нездоровая истома тела, в котором зной и прикосновения горячего песка вызывали желания.

Пуговка убежала к воде и брызгалась у берега.

— Не ходи далеко! — крикнула Люся, не поднимая головы, и начала говорить о любви.

— Если мужчина мне нравится, я ему кое-что позволяю! — сказала она четким значительным шепотом.

— Как ты странно говоришь — мужчина! — недовольно заметила Нюся. — Так могут говорить только женщины, а ты ведь совсем еще молодая девушка.

— Ах, оставь, пожалуйста! — отмахнулась Люся. — Именно мужчины, потому что терпеть не могу слюнявых мальчишек. Они умеют только «лапать».

Все трое захохотали.

— Да! — прошептала Олечка, извиваясь на песке. — Да… мужчины, они такие… страшные! Ах, они…

Она стала рассказывать, как врач, у которого она лечилась от малокровия, вдруг однажды стал целовать ее и…

— В воду, в воду! — вскочила на ноги Нюся. — Ну вас, развратницы… Я не хочу этого слушать.

И она бегом, обдавая брызгами завизжавшую Пуговку, смело бросилась в воду и, отбежав, так что вода дошла ей до груди, поплыла.

Люся и Олечка долго мочили под мышками и грудь, пока решились забраться в воду.

При каждом шаге они осторожно пробовали дно.

— Я ужасно боюсь черепах! — сказала Олечка. — Ты знаешь, она ужасная мещанка.

— Кто, черепаха?..

— Ах, оставь, пожалуйста! Ты знаешь, о ком я говорю.

— И ломается… — ответила Люся. — Только меня не проведешь! У ней с Володей Щукиным что-то было.

— Не может быть!

— Почему не может быть? Такая же ведь, как и все!

Нюся, отплыв ниже, встала на дно.

— Идите ко мне! — крикнула она с молодой звонкостью голоса.

— А ямы?.. Их нет? — не решились подруги.

— Никаких ям! Дно, как зеркало.

Девушки зашли по пояс. Стало ощутимо течение.

— Нет, нет!.. — закричали они. — Дальше мы не пойдем. Иди ты к нам!

В это время Пуговка, плескавшаяся у берега, весело визжа и брызгаясь водой, побежала к сестре.

— Пуговка, назад!.. Пуговица, не смей! — панически закричали подруги. — Назад, назад… Никогда не возьмем тебя с собой!

Расшалившийся ребенок, не слушая криков, бежал вперед.

И вдруг, пронзительно вскрикнув:

— Ма-ама! — исчез под водой.

— Ах, яма! — завизжали девушки. — Спасите… А-ай!..

Ребенок, однако, сейчас же вынырнул; над водой плеснулись ручонки, и личико, перекошенное от смертельного ужаса, снова скрылось под водой.

Это происходило в десяти шагах от Люси с Олей.

Стоило броситься вперед — и ребенок был бы спасен. Но ужас перед «ямой» и животный страх сковал девушек настолько, что они, близкие к обмороку, не в силах уже были сделать ни одного движения и только неистово вопили:

— Ай, ай, а-аяй!..

Еще раз над поверхностью воды плеснулись, умоляя о помощи, тоненькие детские ручки. Пуговку понесло.

Какой-то мужчина, как был, в синем пиджаке и белых брюках, вопя басом:

— Стервы, да там ведь мелко! — прямо по воде несся наперерез утопающему.

Но быстрей его к зловещей «яме», всего на аршин углубившей дно, яростная и прекрасная в своем стремлении спасти крошку, поднимая фонтан брызг, неслась «мещанка» Нюська.

Пуговка, ревя белугой и отплевываясь от воды, как котенок забилась в ее крепких руках.

Помощь мужчины не понадобилась.

Раздосадованный напрасно испорченными брюками, он басом громил подруг, дрожавших в десяти шагах от него:

— Мымры! Дуры стоеросовые! — орал он, все еще не выходя из воды. — Ребенок рядом тонет в луже, а они шевельнуться не могут. Интеллигентки, прости Господи!..

И, отплевываясь, пошел к берегу.

— Послушайте! — окликнула его Люся.

— Ну? — грубо обернулся он.

— Мы же боимся, что там еще яма! — сказала она. — Проводите же нас.

— Чтоб черт вас проводил! — плюнул тот.

— Хам! — надменно бросила гордая Люся. — Мещанин!

Обратно ехали молча. О любви разговаривать не хотелось. Нюся нежно обнимала курносую Пуговку, и ребенок жался к ней, как к матери. Лодку тихонько несло по течению.

Подп.: А. Арсеньев.
Опубл. и печ. по: Рупор. 1928. 10 июня. С. 2.

ПОД ЗВЕЗДАМИ

Солнце умирало, как может умирать только солнце: во всем великолепии властелина, окруженного пурпуром и коленопреклоненными облаками, столпившимися на западе у пылающего ложа умирающего Царя.

Зеркало озера, отразив эту великолепную агонию, закурилось ладаном сизого тумана, и коростель, как дьячок, закудахтавший:

— Помилгосподи, помилгосподи! — затянул свою отходную по умирающему дню.

Сразу стало темнеть.

Чавкая по болоту высокими сапогами, Сергей Иванович повернул к городу. Огненно-рыжий лаверак[1] Маманди бежал впереди, старательно принюхиваясь к болотным запахам, но бекасов не было.

Озеро уже осталось позади. Охотник, посвистывая собаку, выбрался на песчаные дюны, и с них, далекий, аспидно-дымчатый, развернулся на горизонте вечерний Харбин, весь в желтой россыпи первых огней.

— Красавец город! — со вкусом подумал Сергей Иванович, приостанавливаясь на вершине песчаного вала, чтобы полюбоваться прелестью панорамы.

«И на желтой заре — фонари», — пришла на память строка Блока…

[1] *Лаверак* – порода охотничьей собаки.

Прохлада, наступившая после знойного дня, была, как отдых после тяжелой и скучной работы: как эманация бодрости, вливался в легкие душистый степной воздух, горьковатый от запаха полыни.

Сергей Иванович сел на песок и закурил.

Снизу, на фоне еще светлого неба, он чеканился четким силуэтом. Подошел Маманди и, тяжело вздохнув, лег рядом с хозяином.

Минуту собака лежала спокойно. Потом мохнатые уши вдруг приподнялись и ноздри стали торопливо втягивать воздух. Сергей Иванович взглянул по направлению его вытянутой морды и заметил впереди, под дюнами, мутно белевшее светлое пятно.

А лаверак уже летел к нему.

— Ай, ай! — раздался испуганный женский голос. — Пошел, пошел!

— Маманди, назад! — крикнул Сергей Иванович.

Собака, так же без лая, как и убежала, легко взбежала на холм, стегая хозяина по коленям гибким хвостом. Всем своим растерянным видом она показывала, что удивлена: как можно было испугаться ее, интеллигентной охотничьей собаки!

Сергей Иванович сошел вниз. Женщина встала, подняв с земли дождевик или пальто, на котором она лежала.

— Вы не хунхуз? — полушутливо спросила она, увидев ружье в руках подходившего к ней человека.

— Если хотите, я могу увести вас в сопки, — улыбнулся Сергей Иванович. — Нет, я не хунхуз… Однако, вы далеко забрались!

— Не хотелось уходить, — ответила женщина, силясь разглядеть лицо охотника. — А когда собралась, увидела, как вы сели на дюне, и притаилась.

У нее был молодой голос, звучащий возбужденно: напугала собака.

— Я из Затона, — сказала женщина.

— Пойдемте, я вас провожу.

— Хорошо.

Сергей Иванович был рад встрече. Степная ночь, надвинувшись темным небом, тысячами кузнечиков звенела именно о женщине, о женщине с молодым голосом, гибко идущей рядом.

Женщина, которую он встретил, не побоялась вечером уйти так далеко. Она отважна, и это очень хорошо!

— Вы любитель охоты? — спросила она с тем, чтобы начать разговор, когда они зашагали по направлению к далеким огням Затона.

— Нет, — ответил Сергей Иванович. — Я люблю охоту лишь за то, что она дает возможность уйти от людей и несколько часов быть самим собой.

— А разве в другом месте вы не являетесь самим собой? — с едва заметной усмешкой в голосе спросила спутница.

«Она умна», — подумал Сергей Иванович и ответил:

— Видите ли, в городе наша воля окружена тысячами других воль, они воздействуют на нее, меняют ее «форму», как давление меняет форму эластичного шарика. Только там, где мы не окружены людьми, мы духовно выпрямляемся и можем думать и чувствовать свободно…

Спутница минутку молчала, вдумываясь в его слова.

Потом, без видимой связи, сказала:

— Вы, вероятно, очень хороший человек. О, да… Даже ваша собака не лает.

— Мой Маманди интеллигентный пес.

— Вы… поэт?

— Я агроном. Специалист по соевым бобам.

— Фи!.. Лучше бы вы были инженером и строили мосты. Знаете, как стальное кружево!

— У вас есть вкус!

— А вы думали — нет?

Было легко идти по твердому грунту степной дороги в прохладном воздухе, качавшемся в упругом гамаке небольшого ветра.

Как мячиками, перебрасывались легко скользившими фразами.

— Смотрите, — сказал Сергей Иванович, — огни Харбина похожи на тысячи глаз огромной волчьей стаи. Даже кажется, что они перебегают.

— Это сравнение приходило и мне на ум! — ответила она.

Сергей Иванович чувствовал, что женщина отвечает, стараясь рассмотреть его лицо.

Он улыбнулся.

— Вы чему? — быстро спросила спутница.

— Так, — отвечает он. — Вы, кажется, очень молоды?

— А вы не видите?

— Я не смотрю на вас.

— Так поверните же лицо!

На мутно белевшем тонком овале блестели только глаза. Девушка тряхнула подстриженными волосами.

— Ну, теперь видите? Мне восемнадцать лет!

— Мне кажется, вы нездешняя?

— Конечно. Я недавно из Москвы!

— Потому-то вы такая и смелая!

— А разве в Харбине нет смелых девушек?

— Ах, они смелы по-другому!

— Не понимаю!

Сергей Иванович не ответил. Он любовался походкой своей спутницы. Легкой, ритмичной, похожей на танец. Так ходят девушки, много занимающиеся спортом.

Из темноты вынырнула тупым горбом крыша первого дома. Залаяла собака. Только теперь путники заметили, что в звон степных кузнечиков уже давно ворвались и другие звуки.

Где-то играла виктрола, трещали моторные лодки и жалобно плакал далекий, словно заблудившийся паровоз.

— Ну, вам, наверное, к реке! — сказала девушка. — А мне направо. Я здесь живу.

И, протянув легкую руку, свободным, красивым движением указала на горб вынырнувшей крыши.

Стояла, прямая и стройная, против спутника. Слышно было, как спокойно и глубоко они дышат.

Не протягивая руку, ждала.

Сергей Иванович почувствовал, как быстро у него забилось сердце. Фраза о том, что он хочет еще раз увидеться со своей новой знакомой, такая простая и легкая, запуталась, как моток ниток в лапках котенка.

Но именно эта сбивчивость и сказала девушке главное.

Доля секунды: объятие и быстрый, как сон, поцелуй с ароматом юного дыхания и свежестью ласковых губ.

И больше ничего.

Сергей Иванович даже не ждал, что девушка вернется. Он знал, что этого не будет. В душе же было ощущение, что вот здесь, у черного горба незнакомой крыши, его жизнь вдруг повернута под углом в 180 градусов и теперь пойдет по другому пути.

Подп.: А. Арсеньев.
Опубл. и печ. по: Рупор. 1928. 19 августа. С. 2.

КЛЕЕНЧАТАЯ ТЕТРАДЬ

I

Герасим Петрович Личинин, сорокалетний холостяк, служивший в одном из добавочных предприятий Китайской дороги, переехав из комнаты, которую он снимал у сослуживца, в номер гостиницы и, раскладывая вещи, нашел завалившуюся за ящик письменного стола небольшую клеенчатую тетрадку, до половины исписанную женской рукой.

Перелистнув несколько страниц, Герасим Петрович понял, что в его руках не что иное, как дневник, который вела женщина, до него, вероятно, жившая в этом номере.

– Забыла или бросила? – подумал он, откладывая тетрадку в сторону – Надо бы, того, узнать у коридорного, кто тут жил до меня, и известить. Может быть, реликвия, тайны души, то да се!.. Они, женщины, любят это!

И он сунул дневник в ящик стола, твердо решив узнать у боя имя и фамилию женщины, жившей до него в этой комнате, а узнав ее новый адрес, написать ей открытку.

Но через минуту в тот же ящик он бросил несколько книг, коробку с визитными карточками, связку писем от брата, живущего в советских пределах, и скоро черная клеенчатая тетрадь была погребена под вещами, ей совершенно чуждыми.

Затем, застилая постель, Герасим Петрович подозрительно втянул в ноздри воздух, сморщившись, как от зубной боли.

– Кажется, угар! – испуганно подумал он и, уже совершенно забыв о тетради, вызвал боя и, приказав ему открыть тумбу, прочел целую лекцию о том, когда надо закрывать печку.

Теперь, казалось, только исключительно счастливый случай мог напомнить Герасиму Петровичу о чужом дневнике, погребенном в ящике его письменного стола.

II

Личинин был аккуратен, умерен и осторожен.

Единственно, что могло волновать – это состояние здоровья, о котором он очень заботился. Как большинство холостяков, он был эгоистом и брюзгой.

Со службы Личинин шел обыкновенно обедать в Желсоб[1] и там старательно прочитывал принесенную с собой газету.

Затем, если была новая картина, он шел в кинематограф, на первый сеанс, и к семи часам возвращался домой.

Дома он пил чай, закусывал творогом со сметаной, читал с час какую-нибудь книжечку и честно отходил ко сну.

Но однажды, случилось так, что Герасим Петрович, закончив всю программу дня, и, улегшись в постель, заснуть все же не мог.

Отчего это случилось, трудно сказать.

Может быть, причину надо искать в том, что вместо творога со сметаной он покушал жирной краковской колбасы, или еще в чем-нибудь другом, но только часы в коридоре пробили уже полчаса двенадцатого, а Герасим Петрович все еще ворочался в постели.

Кто не знает, что бессонница вызывает обычно мысли весьма неприятного характера!

Человеку, даже влюбленному в себя, вдруг приходит охота «переоценивать ценности», причем эта «переоценка» обыкновенно происходит под знаком самого критического и даже несправедливого к себе отношения.

– Живу, как пес, один одинешенек! – вздохнул Герасим Петрович. – Ни себе, ни людям! Заболеешь, так подать воды будет некому!

«Не заболеваю ли я, в самом деле?» – вслед за этим со страхом подумал он и потрогал пульс.

---

[1] *Желсоб* (Железнодорожное собрание в Харбине) – центр русской культурной жизни, со своей богатой библиотекой, рестораном. В Желсобе регулярно организовывались литературные и художественные вечера, балы, праздники.

Нет, сердце работало, как следует, и жару не было.

И вот тут-то, совершенно неожиданно, Герасим Петрович вспомнил о чужом дневнике, погребенном в правом ящике письменного стола.

– Почитаю-ка, – подумал он, вставая и шаря ногами по полу туфли. – Может, и занятное что-нибудь. Так сказать, тайны нежной женской души.

И дневник был извлечен из-под холостяцких коробочек Герасима Петровича.

III

– Мне вчера исполнилось сорок два года, – ясным твердым почерком писала в клеенчатой тетради неизвестная женщина, несколько недель тому назад спавшая на той же самой кровати, на которой теперь, вертя в руках тетрадь, чтобы электричество не отсвечивало, лежал Личинин. – Да, сорок два года! Что же меня заставляет взяться за дело, столь чуждое моему характеру – разговаривать с самой собой?

«О, конечно, – мое одиночество, звонкая тишина его, в которой я слышу бег мгновений, это звонкое позвякивание моих золотых часиков.

Как я буду его вести?

Отмечать дни? Нет.

Я буду вписывать в него мысли, не датируя их. Зачем это?

Ведь сегодня так похоже на вчера.

Что же случилось все-таки?

Ничего или "что-то"?

Конечно, что-то, последняя неудачная попытка сорокалетней женщины заставить полюбить себя. Посему же последняя? Не лги! Сколько их уже было и сколько еще будет, быть может!

Нет, нет! Никогда больше! Никогда (последнее слово подчеркнуто).

– Я самостоятельна, умна, хорошо зарабатываю. Лучше, чем многие мужчины, довольные своим положением и имеющие семьи.

И не урод же я. Ведь со мной мужчины охотно сходятся не "на раз или два", но ни в одном, ни в одном из них я не вызвала даже легкого чувства к себе.

Будет на сегодня...»

– Гм! – подумал Герасим Петрович, перелистывая страницу. – Холостячка! Товарищ по несчастию.

На второй странице рукопись продолжалась.

«Вчера опять был Александр, и я не могла его не принять, хотя дала себе слово, что не пущу его больше на порог. Один вид его наглых прекрасных глаз лишает меня воли. Ах, все было по-прежнему.

Его улыбка. Его первый поцелуй – и водоворот, водоворот, который дает такое счастье, такое наслаждение и так коверкает душу.

Потом, как всегда, Саша начал жаловаться на свои плохие дела. Курил, надувшись. Что ж, я дала ему денег».

– Дура! – мрачно подумал Герасим Петрович, и с досадой перелистывал страницу. – Старая дура! Не понимает, что он альфонс.

Ему почему-то стало жаль денег этой неизвестной женщины, которая до него жила тут.

– Почему же не пишет, сколько именно дала? – невольно подумал он. – Эх, женщины, женщины!

Дальше шло несколько страниц лирических излияний.

Потом снова стало для Герасима Петровича интересно.

«Я знаю, – писала женщина, – что среди своих знакомых он не стесняется смеяться надо мной. Александр, Саша!..

Ну, хорошо, смейся, пусть. Но я все равно люблю тебя и без тебя не могу жить.

Вчера я встретила его на улице. Он не поклонился, но я сама его остановила.

– Что вам надо? – надменно спросил он.

– Саша! – сказала я. – Я все знаю! Ты сошелся с другой. Ты ходил ко мне только из-за денег. Пусть! Я лучшего не заслуживаю. Молю об одном. Хоть раз в месяц, хоть раз в несколько месяцев заходи ко мне.

Я, вероятно, побледнела, и он испугался.

– Не делай мне сцен! – тихо прошептал он. – На нас смотрят!

Я ухватилась за его страх, сказала:

– Я устрою тебе скандал, если ты сейчас же не пойдешь ко мне. Клянусь тебе!

Мой голос был грозен и он испугался.

– Поедем! – с ненавистью согласился он.

Ах, какое счастье я пережила».

– На этой кровати переживала счастье! – сердито фыркнул Герасим Петрович, – Ну и ну! Однако, дальше...

«Я не могу дальше так уничтожать себя! Нет, нет. С меня будет!»

IV

Утром Герасим Петрович о чем-то настойчиво думал.

– Да! – сказал он себе. – Надо пожалеть бабу. Пишет, что хорошо зарабатывает. Чего ж ей погибать. У ней служба, у меня служба. Все по-хорошему! Не весь же век холостому по-собачьи жить. Да-с...

И он позвонил боя.

– Слушай, Василий, не знаешь ты, друг мой, что за дама тут до меня жила? – допивая чай, спросил Личинин.

– Знай! – ответил охотно китаец – Как не знай. Его фамилия – Скебловицкая.

– Скебловицкая?... – что-то смутно припоминая, наморщил лоб Герасим Петрович. – Постой, посто... Что-то знакомое!

– А как же! – с гордостью ответил бой – О нем все газеты писали. Его контрами себя! Убила, как же!

Подп. А. Арсеньев.
Опубл. и печ. по: Рубеж. 1928. № 46. С. 1–2.

ЛЕДЯНАЯ ГИБЕЛЬ

Повесть

Разговор на льду

Багровое солнце, опускавшееся на вершины скалистого хребта, протянувшего за бухтой свою драконью спину, предвещало на завтра тайфун. О нем же, указывая его силу и направление, предупреждали и сигналы — деревянные ромбы и кресты, поднятые на каланче порта.

Зеркальный лед бухты, окоченевшей два дня тому назад, казался стеклянным, освещенным снизу голубым и красным светом.

— Такой пол, — сказал художник Сормов, из-за кормы зазимовавшей шкуны выбегая на скользкий паркет бухты, — вот точно такой же пол, как этот лед, я видел в Шанхае, в их шикарном «Мажестике»…

— Ресторан? — спросил Алеша Грызин, весело забалансировавший на льду.

— Дансинг[1], — ответил Сормов. — Там и едят, но главным образом танцуют. Понимаешь, женщины в коротких легких платьях. Свет снизу… Если красивые ноги…

Ледяной ветер, бросившийся в лицо, заставил Сормова повернуться спиной к приятелю, и он не окончил фразы. Мельчайшая, стеклянно-звенящая пыль понеслась по льду. Метла приближающегося тайфуна еще раз начисто подмела бухту.

Алеша Грызин[2] и Сормов (первый — репортер Владивостокской газеты, другой — художник, работающий при Помголе[3], — дело происходило в 1922 году) из города, через бухту, перебирались на Чуркин мыс, к приятелю, прозванному ими «Камчадалом».

Сормов, разбежавшись по зеркальному льду, покатился, как на коньках, затем, споткнувшись о примерзший кусок человеческого помета, — «И здесь уже нагадили!» — чуть не упал, наклонился, замахал руками, выпрямляясь, а когда выпрямился, то восторженно закричал:

— Алексей, смотри! Ну и солнце же, черт его задави!..

Солнце было, действительно, необыкновенное. Обещая тайфун, оно висело, огромное, отяжелевшее, словно вишня в золотистом вермуте коктейля.

---

[1] *Дансинг* — зал для танцев, обычно при кафе, ресторане.

[2] *Алеша Грызин* — аллюзия, намекающая на имя А. Ачаира (Грызова). *Ачаир, Алексей Алексеевич* (1896—1960) —поэт, педагог, секретарь харбинского отделения ХСМЛ, организатор объединения «Молодая Чураевка», гл. редактор харбинской литературной газеты «Чураевка». Участник Белого движения. В 1922 г., после выхода в отставку, жил во Владивостоке, работал редактором газеты «Последние известия», органа сибирской областнической группы А.В. Сазонова. В 1922 г. перебрался в Харбин.

[3] *Помгол* (помощь голодающим) — название двух разных органов (ВКПГ — Всероссийский комитет помощи голодающим и ЦК Помгол — Центральная комиссия помощи голодающим), образованных в 1921 г. в Советской России в связи с жестоким неурожаем, поразившим обширную территорию страны.

Прикрыв глаза черными, побелевшими теперь ресницами, похожими на обмотанные ватой проволочки с загнутыми вверх концами, Сормов, любуясь солнцем, сказал:

— Посмотри, словно чужая планета всходит над землей.

Грызин молча смотрел на светило, которое, коснувшись круглой вершины черной горы, тихо поползло по ее склону, растворяясь в аспидно-синей мгле долины и заливая эту мглу потоками багрового огня.

Но долго любоваться закатом не позволял тайфун. Тысячами колких струек ветер прокалывал демисезоны молодых людей, так что тело уже не чувствовало теплоты одежды и ощущалось как голое. Преодолевая упругий напор воздуха, приятели побежали к скалистой черной стене противоположного берега бухты, возвышавшейся уже близко.

— А представь себе, что солнце завтра не взойдет, — сказал Сормов, карабкаясь на обледенелые камни.

— То есть как? — удивился Алеша.

— А так. Не взойдет, да и только. Вот бы рассказ написать. Занятно!

— Не напечатают, — профессиональным тоном ответил Грызин. — Теперь такие темы не в моде. Требуется, брат, производственное.

И молодые люди по скользким камням стали выбираться на дорогу, много лет назад проложенную крепостными инженерами для подвоза снарядов к бетонным казематам ближайшей береговой батареи, увенчавшей мыс еще в то время, когда Владивосток был крепостью, угрожавшей Японии.

Вечером, вернувшись в город с рыбой и червонцем, занятым у «Камчадала», приятели жутко напились в кабачке «Утиная Голова».

«Солнце забастовало»

В шесть часов утра на судостроительном заводе прогудел первый гудок. Еще не светало: декабрьская ночь бархатной синевой придавила город; звезды горели ярко, спокойно.

Но жизнь уже пробуждалась. Заработали динамо-машины городского трамвая; выполз из парка и подошел к павильону станции

первый вагон; открылись хлебопекарни; затопили печи жены рабочих, готовя завтрак мужьям… Завыл второй гудок на заводе, — половина седьмого…

Еще не светало.

В типографии «Рабочего дня» гудела ротационная машина, допечатывая последнюю, двадцать шестую, тысячу газеты. На дворе и в смежной с «машинной» комнате уже дожидались газетчики — целый батальон оборванных мальчишек, юрких, вертких, крикливых, ругающихся из-за очереди. Тут же были и старики — пять-шесть ветхих старцев, одетых в рубище, по-бабьи под шапками подвязавших от мороза платками головы; старики ругались, били мальчишек сверху по головам и, покрикивая, втихомолку продирались к дверям.

— Дяденька, дай покурить! — попросило лохматое существо, затерявшееся в коричневой латаной женской кофте; голосишко был хриплый, простуженный.

Старик, расталкивавший ребятишек, зло посмотрел вниз.

— Я те покурю! — проворчал он. — Такую те сигару отсыплю!..

Не договорил: мальчишка вырвал вертуху и, под общий хохот, исчез в толпе ребятишек.

— Так и надо: не сбивай очереди!

Теперь стариковой вертухой угощались у окна трое: махорка была крепкая, духовитая, пьяная на голодный желудок. Затягивались до отказу.

С завода в порту донесся очередной вой: это был третий гудок, семичасовой. Мальчишки взглянули в окно, — стекла чернели непроницаемо.

— Чего это совсем не светает? — удивился кто-то. — Часы в порту перевели, что ли?

А мальчуган, ограбивший старика и еще полный лихости и задора, по-рыбьи открыв рот, выпустил серый едкий махорочный дым, сплюнул на пальто соседу и лихо ответил:

— И вовсе не переводили… Солнце забастовало, оттого и не светает!

Кругом засмеялись. Потом всей массой затискались к белым, пахнувшим краской газетным кипам, загорланили, зазвякали медя-

ками и совсем забыли о том, что на дворе, несмотря на восьмой час утра, стояла непроглядная ночь и звезды на черном холодном небе горели так же ярко, как и в полночь.

Рассвет еще не наступал.

Художник Сормов

Проснувшись, Саша Сормов посмотрел в окно: было абсолютно темно, и голова очень болела.

— Обязательно брошу пить, вчера — это последний раз, — подумал художник и вновь заснул. Через некоторое время он опять проснулся, — стекла были по-прежнему непроницаемо черны.

— Рано, — подумал Саша. Но за стеной уже ворочались, даже очень усиленно, и, что всего удивительнее, слышался плач.

— Хозяйка! — решил Сормов. — Значит, опять муж приревновал и отутюжил… Не могут днем драться, идолы!..

Завернулся с головой и попробовал еще раз заснуть. Но теперь это уже не удалось: во-первых, мучило похмелье (кошки скребли внутренности), во-вторых же, оказалось, выспался. Да и плач за стеной не прекращался: теперь рыдала не одна хозяйка, — ноющий, причитающий бас мог принадлежать только хозяину, лысому бухгалтеру из финотдела.

Хозяйка, воя, говорила:

— Ты бы хоть вышел, посмотрел… Соседка-то, может, и врет еще!

— Иди сама, если хочешь. Я никуда не пойду!

— Боюсь я, — отвечала хозяйка, — еще пристукнет чем сверху-то!

— Так ведь и меня может пристукнуть! — не сдавался хозяин.

— Тебя!.. Ты — мужчина…

Еще ничего не понимая, но чувствуя, что произошло что-то интересное и совершенно необыкновенное, из-за чего стоит преодолеть мертвое похмелочное состояние, Сормов стал поспешно одеваться. Через три минуты он уже был на хозяйской половине.

— Переворот? — спросил он, блестя глазами и уже ликуя при мысли, что теперь, следовательно, не надо срочно отрабатывать аванс, взятый в Помголе под плакат «Пожертвуйте полтинник, и вы спасете голодающих». — Переворот? Кто захватил власть?

Хозяин — он был в одном белье и даже не подтянул вверх сползающих кальсон — только носом шмурыгнул. Но хозяйка досадливо мотнула головой.

— Какой там переворот! Светопреставление!.. Довели большевики…

Сормов вытаращил глаза, весь загораясь любопытством:

— Ради Бога, в чем дело?

— Да в чем, — очень просто: богохулили, церковь Божию позорили, вот оно и отпелось — солнышко-то сегодня и не взошло.

— Как не взошло?!

— А так: двенадцатый час дня, а на дворе как в полночь! — и она залилась слезами. — Хоть вы, Александр Петрович, выйдите на улицу, поспрошайте у людей, что такое творится… Может, телеграммы какие есть, — мой-то совсем раскис…

Бухгалтер, действительно, выглядел плохо. Ужас распустил его тело, как тесто.

— Что там телеграммы! — сопел он. — С неба телеграмм не бывает… В церковь Божию теперь надо, вот куда… И всем миром чтобы… «Всевышний граду Константина землетрясенье посылал!»[1] — хриплым, плачущим басом продекламировал он вдруг и упал лицом на стол. Завыла и женщина: не старая, недурная собой, она сейчас была страшна и противна.

У Сормова захватило дух, как от холодной воды. Страха он не чувствовал; гибель, которая была неминуема, если солнце навсегда покинуло землю, еще не представлялась; но был безумно любопытен город — люди и вся жизнь в нем, лишенном света, с огнями, горящими в домах в первом часу дня, с толпой, которая, — он слышал, — уже гудела за стенами дома, со всем, что должен он был увидеть сейчас, в эти дни, может быть, последние для человечества.

Невероятные картины зверского, мгновенного одичания уже рисовались в воображении Сормова. От этого и вздрогнуло его тело, словно облитое ледяной водой. Он схватил пальто и выбежал на улицу.

---

[1] Первые строки стихотворения Н. Языкова «Землетрясенье» (1844).

Сумасшествие улицы

Звезды были необыкновенно сочны. Безветренный горячий мороз обжигал щеки, заставляя непрерывно хвататься за лицо. Главная улица, гудевшая толпой, была темна: электрическая станция, как всегда, в семь часов утра остановила моторы. Магазины не открылись. Окна квартир робко желтели свечами и керосиновыми лампами, принесенными из кухонь, из чуланов.

Люди в толпе уже не могли говорить — они кричали.

— Кара Божия! — утверждали одни и звали в церкви, отворенные, освещенные, загудевшие похоронным звоном колоколов.

Другие смеялись.

— Затмение! — просто объясняли они. — Солнце закрыто пролетающим небесным телом. Это не может быть продолжительно. Через час, через сутки, наконец, солнце опять появится на небе.

Все злее становились крики. Вспомнилась вражда, еще не изжитая в сердцах. Прогремел выстрел, второй… толпа шарахнулась, завопила и опять сомкнулась, в своем движении ничего не понимая и уже всего боясь. Особенно страшно было оставаться в домах; в куче, на улице, страх не так щемил сердце…

Но появились конные разъезды и оттеснили толпу с мостовой на тротуары. Сначала всадники с трудом разбивали слипшуюся человеческую массу, но лошади, понуждаемые шпорами, упрямо протискивались между людьми, и те останавливались, сдавали, отступали, и улица, отбросив толпу на тротуары, постепенно очищалась.

Вспыхнули и загудели электрические фонари, — электрическая станция получила приказ пустить в ход динамо-машины. Стало веселей и спокойнее, — ведь можно жить и без солнца, лишь бы не делалось холоднее.

— Товарищи! — крикнул с лошади молодой голос. — Приказано приступать к обычным дневным занятиям. Прошу расходиться. Из Москвы получено радио, что солнце завтра взойдет.

— Что Москва! — крикнул кто-то. — Откуда она может знать?

— Там все знают! — весело кричал кавалерист. — Расходитесь, товарищи.

— А в церкви почему больше не пускаете? — кричали женщины. — Молиться теперь надо, а не телеграмм ждать!

Действительно, колокольный звон оборвался. Собор был окружен войсками, и молящиеся оттеснены: идея о светопреставлении дезорганизовывала восприимчивые уже к панике массы.

Бешено светя ацетиленовыми глазами, пронесся автомобиль. Военный, в шинели и в богатырке[1], стоя в нем, бросал в толпу летучки[2]. Сормов поднял одну и прочел:

«Товарищи! Ревком[3] призывает к спокойствию!

Явление исчезновения солнца не может быть долговременным и не носит характера мировой катастрофы. Можно предположить, что солнце заслонено от земли неизвестным астрономии мировым телом, гигантским метеором, пролетающим в междупланетном пространстве и заслонившем от нас светило. Продолжительность этого полета не может быть велика, и нашей планете, а следовательно, и СССР, затмение ничем угрожать не может.

Мы призываем пролетариат сохранять спокойствие и верить своим вождям. Будьте, товарищи, на своих местах!

Попы и буржуазия пытались бросить в массы идею о "кончине мира", скликая колоколами в церкви своих приспешников и, может быть, подготовляя там открытое выступление против рабоче-крестьянской власти.

С этим, товарищи, покончено.

Предупреждаем притаившуюся контрреволюцию, что с ней будет поступлено беспощадно. Все бандитские выступления будут караться расправой на месте.

Да здравствует мировой пролетариат!

Да здравствует мировая революция».

Сормов прочел воззвание, сунул его в карман и сразу успокоился.

Солнце исчезло; может быть, земля через несколько дней превратится в стальной от мороза кусок льда, но пока в городе ничего не изменилось, и, следовательно, надо подумать об обеде. Улицы

---

[1] *Богатырка* (буденовка, фрунзевка) — форменный головной убор военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, суконный шлем особого образца.

[2] *Летучка* — здесь: листовка. Летучки выпускались очень быстро, вслед за быстро сменяющими друг друга событиями, иногда по нескольку в течение дня.

[3] *Ревком* (сокр. Революционный комитет) — временные властные органы, создаваемые большевиками и наделенные чрезвычайными полномочиями, действовавшие во время Гражданской войны в России.

принимали нормальный вид; казалось, наступил обыкновенный вечер, и только башенные часы на здании комхоза, словно издеваясь, показывали половину второго часа дня.

По приказу ревкома открылись магазины нарпита[1] и рестораны. Начались занятия в учреждениях. Газетчики бежали по темным улицам с экстренным выпуском «Рабочего дня».

— Интервью с астрономом Заксом! — кричали они. — Закс о солнце! Солнце завтра взойдет!

— Все абсолютно по-старому, — разочарованно подумал Сормов. Ожидание необыкновенных картин, очарование непередаваемым драматизмом момента — не сбывались. Что оставалось художнику? Нужно было дописывать плакат и просить аванс на обед. Он так и сделал.

В кабачке «Утиная голова»

В угловом кабинете собрались завсегдатаи. У Павла Васильевича профиль был таким же каменным, как всегда; очки поблескивали так же холодновато, и водку он пил прежним аккуратным движением, опрокидывая рюмку в рот и вежливо ставя ее на стол.

Павел Васильевич придерживался мистической версии, но высказывался больше междометиями, местоимениями и жестами. По его словам выходило, что *это* совсем другое, что виноват во всем не метеор, что *оно* давно уже носилось в воздухе, и *некоторые* о событиях знали и даже предупреждали. Затем следовали флюиды, выделенные некоей злой волей и на три дня окутавшие солнце непроницаемой оболочкой.

Все помалкивали. Ведь гипотеза о метеоре, заслонившем солнце, тоже никого не удовлетворяла, а потому всякому объяснению были рады, особенно если оно через три дня обещало возвращение солнца с его светом и теплом.

Было немного жутковато, но вечер наступал самый обыкновенный, жареное мясо насыщало по-прежнему, водка по-прежнему пьянила, и, следовательно, была надежда, что все обойдется.

Когда пришел Сормов, все были уже навеселе.

---

[1] *Нарпит* — Государственная организация общественного питания (в СССР до 1930 г.).

Лобастый и широкоскулый Зыбин, в резиновом дождевике, несмотря на декабрь, — единственное его верхнее одеяние, не снимаемое ни зимой, ни летом, — Зыбин этот, уже пьяный до покраснения глаз, декламировал новые свои стихи «Об украденном солнце»[1], в такт ритму стиха ударяя пальцем по клавишам облезлого пианино.

Хозяин кабачка, толстый, огромный Сократий Димитрадзе, плакал навзрыд. На темном грузинском лице слезы блестели, как стеклянные шарики. Крахмальная грудь сорочки вздулась пузырем и раскрылась по клапану, обнаруживая розовое, волосатое тело в жирных складках.

— Термометр падает, — сказал Сормов, протягивая руку к графину. — Уже около сорока по Реомюру[2].

— В Реомюре и стольких-то градусов нет, — попробовал сострить Зыбин. — Это ты о водке вспомнил.

Сормов пожал плечами.

— Ртуть замерзла.

— Что ртуть! — кричал грузин. — Не в ней дело, господа. Пищи скоро не будет. У меня есть пять бычьих туш и муки на полгода. Завтра закрываю кабак и буду жить, пока хватит кушать… Потом… — он сделал круглый жест вокруг шеи, — секир башка. А сегодня всех угощаю. Чего хочишь, говори: виски пить будем, бенедиктин… Все пить будем, душа мой. — Васька!

Из-за плюшевого рыжего драпри[3], закрывавшего дверь, выскочил малый в лакейском смокинге. Согнулся, оттопырив зад, и заулыбался.

— Садись, душа! — сказал хозяин, — и ты сегодня тоже мой гость.

Малый сбросил фартук, кинул его, скомкав, в угол и сел против хозяина. Павел Васильевич, блеснув на него стеклами очков, налил рюмку золотистого желтого шартреза[1].

---

[1] Аллюзия на «Краденое солнце» К. Чуковского (1927).

[2] *Градус Реомюра* (°R) — единица измерения температуры, в которой температура замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов, соответственно. Предложен в 1730 г. Р.А. Реомюром. Шкала Реомюра практически вышла из употребления. 40 градусов по Реомюру ≈ 50 градусов по Цельсию.

[3] *Драпри* (устар., от франц. draperie, «драпировка») — то же, что портьера, занавеска (обычно со складками, из тяжелой ткани).

— Пей, Вася! — сказал он ему. — Пей в последний раз в жизни!

— Мы еще поживем, Павел Васильевич! — обидчиво сказал Василий. — У нас шуба теплая. Не как у прочих.

Это был намек на обтертый бушлатик соседа; но Павел Васильевич не пожелал принять намека на свой счет — сделал вид, что не понял. Его заняла сцена в углу.

Рыжеволосая Ядвига, — та самая, которой грузин предлагал остаться с ним «зимовать», — пьяная, кричала, расстегивая кофточку, что перо, — «вот это, на костяной ручке», — брошенное вертикально с высоты аршина, не вопьется, а отскочит от ее груди.

— Душка! — хохотал Зыбин, — уверяю тебя, оно вопьется.

— Никогда! Моя грудь упряма, как резина.

— Во-первых не упряма, а упруга, несчастная полька! Упряма не твоя грудь, а ты!

Кудлатый, завсегдатай «Утиной головы», — фамилию его забыли, а звали пуделем, — единственно с провокационной целью, поддержал Ядвигу. Она стала раздеваться. Груди выскочили из-под прошивки рубашки, как два розовых каучуковых баллона, наполненных воздухом.

Ядвига легла на диван.

— Бросай!

Зыбин встал на колени и поцеловал грудь.

— Ведь раскровеню же!

— Бросай, иначе — ботинком в нос!

— Хоть перо-то спиртом вымой, — заметил Сормов.

Зыбин улыбнулся.

— Неизвестно, что лучше — замерзнуть через три дня или умереть от заражения крови? Да и не успеет она, кровь-то, заразиться.

Он поднял перо высоко над округлым возвышением женской груди и разжал пальцы. Белая тяжелая костяная ручка скользнула вниз, и сейчас же раздался женский вскрик: перо глубоко вошло в тело.

---

[1] *Шартрез* — французский ликер, изготовленный монахами картезианского ордена в винных погребах Вуарона в Изере, на границе горного массива Шатрез. Желтый шартрез — один из трех основных видов, более сладкий, чем, например, зеленый шартрез, и менее крепкий (40 %). Пигмент, определяющий цвет напитка, — шафран.

Все засуетились. Грузин кричал низким и глухим басом; схватил столовый нож. Был момент, когда Зыбина могли убить, — круглая красная капля крови на женском теле взорвала мужчин, как крошка гремучей ртути взрывает динамит.

Спасла Ядвига.

Она вскочила, заслонив собою поэта, выставив на грузина свою окровавленную грудь.

— Спятил! — крикнула она. — Думаешь, если солнце погасло, так и убивать можешь, армянская колбаса?! Я ведь сама просила.

Она увела Зыбина в угол, и там они занялись друг другом.

Хлопнула дверь в общем зале, соседнем с кабинетом. Там было пусто. Кто пойдет в ресторан в ледяной вечер кошмарного дня?

Васька по привычке сорвался с места и исчез за драпри.

Через несколько минут он вернулся, пропустив вперед всю заиндевелую, повязанную башлыком женскую фигуру, нерешительно вошедшую в кабинет.

— Погреться просится, — хихикнул он. — Шла, говорит, и замерзать стала… Термометр падает.

— Садись, девушка, ешь и пей, — ласково сказал грузин, медленно двигая пьяными выпученными глазами. — Раздевайся, душа. Сегодня всех угощаю.

Но у пришедшей застыли руки, и Сормов встал — помочь ей раздеться.

Здесь он и познакомился с Раисой Николаевной.

На радиостанции

— Ну, поймали?

— Сейчас... Очень трудно. Со всех сторон вызовы... Сбивают... Есть!

Карандаш быстро забегал по бумаге, принимая депешу, начинавшуюся обращением:

«Всем, всем, всем...»

Телеграфист, с телефонным приемником на голове, весь ушел в слух: даже глаза, когда ухо изменяло ему, прятал куда-то под лоб, словно и их отправлял на помощь ушам.

Был он молодой и старательный, но совершенно измученный работой за сегодняшний день.

Председатель ревкома всем своим большим, в кожу одетым телом навалился на стол. Двое других затаили дыхание сзади; у рябого жгло отмороженную щеку, но он, боясь помешать телеграфисту, терпел, хотя надо было ее растереть.

— Ну?

— Готово! — телеграфист в изнеможении откинулся на спинку стула.

Все трое сгрудились над депешей.

Косыми, неразборчивыми буквами телеграфист вывел:

«Всем, всем, всем!

18 декабря, около двух часов дня по московскому времени...»

— По-нашему — в восьмом вечера, — прошептал предревкома.

«...земля по неизвестной причине вышла из солнечной орбиты и со скоростью, все возрастающей, движется по направлению созвездия Геркулеса. Все человечество стоит перед возможностью гибели. В этот момент перед нами единственная задача — везде на местах создать условия возможно дольшего сохранения человеческой жизни. Миллионы обречены на неминуемую гибель; для единиц, не теряя ни секунды времени, можно создать условия, при которых они еще могут некоторое время существовать. Приспосабливайте здания, по несколько в городе. Москва будет поддерживать радиосвязь до последней минуты. Не теряйте бодрости. Пусть рабоче-крестьянская власть покажет вселенной свою железную волю к жизни. Совнарком».

— Ехать! — крикнул предревкома.

Выросла медвежья, в дохе[1], фигура шофера.

— Нельзя ехать: карбюратор замерз!

— Тогда — пешком.

Телеграфист, сбросив с головы приемник, тоже стал собираться.

— А вы — куда? — спросил, ощетиниваясь, председатель. — Ваше место здесь!

— Мы еще в прошлом году требовали ремонта печей, — слезливым голосом сказал телеграфист. — А теперь на себя пеняйте.

И ткнул варежкой на термометр. В тонкостенной будке радиотелеграфа градусник показывал –26°!

---

[1] *Доха́* — шуба мехом и внутрь, и наружу.

«Идите ко мне»

Раиса Николаевна ночевала у Сормова. Город коченел от холода, и было немыслимо идти на улицу Мучеников Революции, удаленную от кабачка на несколько верст. Квартира художника была рядом.

Добрались не без труда. Зажгли свечу и, не раздеваясь, сели на диван, отдыхая от огненных укусов мороза. За стеной спали; бухгалтер во сне бормотал хриплые жалобы; под полом скреблись мыши, обеспокоенные заползающим в щели морозом.

Пар дыхания выходил изо рта, как плотный серый табачный дым.

Кто она, — замужем ли, девушка ли? — Сормов не спросил у Раисы Николаевны: все эти вопросы уже утратили смысл, как паспорта во время землетрясения. Разве не все равно?

Еще волновало и радовало, что женщина, обреченная эти последние дни существования человечества прожить с ним, — Сормов был уверен, что это так и что завтра Раисе Николаевне не удастся добраться до своей окраинной улицы, — что женщина эта молода и красива и, несомненно, если он этого захочет, будет принадлежать ему.

Но уже отмирало животное, телесное. Страх перед гибелью, даже забытый на время, не переставал давить подсознательно на психику, отрезая от нее вчерашнее — то недавнее, что гибко и живуче извивалось в ней при властительном солнце. Так веревка с тяжестью, незаметно для глаза, перерезает цельную глыбу льда.

Может быть, поэтому, несмотря на вопросительный взгляд женщины, Сормов отдал ей постель и одеяло, а сам лег на диване. Раиса Николаевна сняла шубу, бережно, чтобы не смять, расправила ее поверх одеяла, сняла сырые с меховой опушкой ботики и стала расшнуровывать высокие ботинки.

Потом Сормов закурил и погасил свечу. Долго еще гас и разгорался от затяжек красный уголек папиросы; потом он, описав дугу, полетел на пол.

По ровному, спокойному дыханию женщины Сормов решил, что она заснула.

Но сам он не мог: было холодно и тяжело от одежды. Промаявшись с полчаса, он потянулся к папиросам и спичкам и, закуривая, взглянул в сторону кровати.

Раиса Николаевна не спала — огромные темные глаза спокойно смотрели на художника.

— Идите ко мне, — сказала женщина. — Вам ведь холодно.

И они легли рядом.

Разделись; благостным показалось ласковое тепло чужого, прикоснувшегося и сейчас же прижавшегося тела.

Заснули крепко и сладко.

Проснулись в такой же темноте, но, должно быть, наступили уже дневные часы, потому что бухгалтер за стеной уже возился у печи.

— Ты слышишь? — сказала Раиса Николаевна.

На улице время от времени стрекотал пулемет и гулко бухали разрывы ручных гранат.

Дома-термосы

Мороз подошел к грани, за которой жизнь вне домов должна была скоро прекратиться. Всякое движение на воздухе становилось затруднительным, легкие обжигались воздухом, ноздри закупоривались ледяными пробками и, отмораживаясь, ломались, как гнилое дерево. Улицы были покрыты трупами замерзнувших.

Три четверти домов — деревянные жалкие постройки бедноты — вымерзли за ночь со всем своим населением. Жизнь в умиравшем городе судорожно билась лишь около трех огромных зданий — политехникума, дворца труда и правления трансазиатской железной дороги.

По плану власти, эти здания должны были занять члены профсоюзов с их семьями и там, запасясь углем и продовольствием, отсиживаться, борясь до последней минуты с замерзанием.

Вечером, вернувшись с отмороженным лицом с радиостанции, председатель ревкома сейчас же принялся за осуществление своего плана, но выполнить его, конечно, не удалось,

Телефонная связь еще была, но люди, получив приказание собираться в определенные места и бросившись на улицу, гибли от холода по дороге, чем и объяснялось огромное количество трупов на улицах.

«Термические укупорки», естественно, заполнились жителями соседних домов, захватившими оружие и продовольствие в свои руки и лихорадочно, всю ночь работавшими над герметической изоляцией их домов от внешнего мира. Вновь прибывающих не впускали. Толпа замерзавших выла у подъездов, но двери были уже заперты, обложены войлоком и заделаны изнутри.

Тогда толпа стала вышибать их, но мороз ликвидировал все быстрые движения, требовавшие глубокого вдыхания смертоносного воздуха, — двери даже не пошатнулись.

Люди, лишенные надежды спастись, решили погубить и спасшихся: они стали бить огромные стекла окон. Это было равносильно гибели для захвативших термические укупорки.

Но осаждающие успели разбить только несколько стекол... Осажденные ответили метанием гранат и пулеметным огнем.

Окна были заделаны. С углов, в обложенные войлоком щели, просунули пулеметы и непрерывным, всю ночь длившимся огнем отбрасывали пытавшихся подойти к зданиям.

Жители города, не потерявшие рассудка, стали принимать все меры к закупорке своих собственных домов. Но такие дома-термосы должны были быть снабжены углем, а его не везде было в достаточном количестве. Каждый термос, сосредоточив значительное количество защитников, предпринимал набеги на соседние дома. Разыгрывались потрясающие по драматизму сцены.

Нападение всегда начиналось с уничтожения стекол в окнах соседнего дома-термоса. Затем, перебив защитников, нападавшие врывались в дома и с величайшим трудом перетаскивали уголь в свои кладовые. Для облегчения работы деревянные постройки, не угрожавшие укрепленному дому, зажигались. При полном безветрии это было не опасно, и, к тому же, дома укреплялись исключительно каменные.

Кровавое пламя столбом взносилось в черное небо. Треск горевшего дерева смешивался со стонами раненых, умирающих от холода, сгорающих в огне... Закутанные в меха люди, отбрасывая черные шаткие тени на розовый плавящийся снег, торопливо катили тачки с топливом, переносили жестяные банки с керосином, перекатывали бочонки с нефтью...

Ночь трещала выстрелами. Со всех сторон зарева размахивали багровыми веерами, а над ними, в северо-восточной части неба, перекатывало синие, розовые и фиолетовые столбы великолепное северное сияние, никогда еще не виданное в городе.

Западный склон неба был, как и вчера, немного светлее — мутновато серел, готовый слиться своим цветом с общим, иссиня-черным тоном небосклона, уже изменившего карту созвездий.

Там, на западе, был последний след солнца.

Три выстрела

Отброшенные холодом обратно в квартиру, художник и Раиса Николаевна задумались. В комнате горела свеча. Казалось, была полночь, но часы показывали десятый час утра.

— У хозяина есть оленьи дохи и много мехов, — сказал шепотом Сормов.

— Надо взять, — так же тихо ответила Раиса Николаевна. От огненного укуса мороза она все еще дрожала.

— Не даст.

— *Надо взять.*

— Хорошо! — художник пошел к двери.

— Погодите. Возьмите вот это...

Раиса Николаевна подала маленький браунинг.

Когда голоса за стеной стали неистовы, — особенно женский, визгливый и страстный, — женщина села на диван и зажала себе уши. Все-таки выстрелы — их было три — она услышала...

Подождала четвертого, не дождалась и опустила руки. Была совершенно спокойна.

Вошел художник, швырнул на пол груду меховых вещей и опять вышел. Вернулся, с трудом протиснув в дверь новый ворох мехов и большой бумажный сверток. За стеной хрипло стонал мужской голос...

Около часу потратили на пригонку камчатской одежды. Надели мехом внутрь и наружу, совершенно закрыли рты, соединив их с меховыми мешками, куда положили угольные японские самогрелки: прежде чем поступать в легкие, воздух там должен был обогреваться. Рассовали самогрелки по всему телу, между меховыми слоями.

Самогрелки — они были в свертке — бухгалтер особенно защищал.

— Теперь, — сказала Раиса Николаевна, — так укутанные, мы можем пробыть на воздухе часа два. Остальное зависит от судьбы.

И они вышли.

— Не надо!.. — шепнула женщина, когда Сормов хотел затворить за собой дверь.

— Почему? — удивился он, но, услышав за собой стоны раненого бухгалтера, упрямо не хотевшего умирать, понял:

— Так скорее.

Над городом метались зарева. Догорающие пожарища рдели рубиновыми россыпями; но тишина была такая, что каждый маленький треск слышался уже издали и заставлял настораживаться. Снег под ногами хрустел, как стеклянный, его иглы ломались с звонким и решительным звуком. Северное сияние на северо-востоке бесшумно перекатывало свои фиолетовые столбы.

Раиса Николаевна и Сормов шли, почти не ощущая холода: японские грелки прекрасно делали свое дело. На улице было достаточно светло от мигающих зарев, настолько светло, что путники не спотыкались о валявшиеся вокруг трупы замерзших. Мертвецы лежали в самых неожиданных позах, как застала их смерть. Те, что погибли от пули, были особенно страшны. Поднятые и сжатые в кулаки руки говорили о бессильной злобе; открытые рты словно не вытолкнули последнего крика и одеревенели в судороге.

Впереди был дворец труда. Окна высоких этажей, освещенные изнутри керосиновыми лампами, краснели тускло. Островерхая кровля уходила в розовый веер зарева и отблескивала красным.

Едва Раиса Николаевна и Сормов вышли из-за прикрытия ближайших зданий, как, укрытый где-то внизу, застрекотал пулемет, и пули, с трудом преодолевая металлический от холода воздух, как ленивые пчелы, заныли у них над головами.

— Туда идти бесполезно, — подаваясь назад, крикнула Раиса Николаевна. — Они все равно не впустят!

Они отбежали за угол. Сормов поднял и развернул валявшийся у ног красный флаг и замахал им, — пули посыпались еще чаще. Так же реагировал дом-термос и на белый платок, поднятый Раисой Николаевной.

Было ясно, что политические группировки со всеми их окрасками уже не играли роли в глазах защитников домов-термосов.

К тому же, в темноте цвета сигналов едва ли можно было угадать.

Кабачок-термос

Сормов решил добраться до ресторана грузина и укрыться в нем. Иного выхода не было.

Дом «Утиной головы», небольшой, — теплой кирпичной кладки, имел цементированный подвал, набитый углем и продовольствием.

В нем-то и предполагал отсиживаться грузин, причем сам дом, закупоренный изнутри, играл роль пробки.

Грузин поставил внутри подвала великолепный непрогорающий чугунный камбуз, — он хвастался им в последний вечер, — а дымовую трубу вывел во внешние, прилегающие к стенам комнаты, герметически закупорив две внутренние. Люк в подвал был в одной из них.

Еще накануне, слушая грузина, Сормов сообразил, что внешние комнаты должны были иметь выход для дыма: иначе в подвале задохнулись бы. Этим выходом могла оказаться простая форточка.

— Если грузин сейчас топит, мы эту щель найдем, — подумал Сормов.

Взяв Раису Николаевну за руку, он, наклоняясь к ее закрытому лицу, крикнул: «Утиная голова». Женщина поняла, кивнула и пошла рядом. Еще раз они перебежали улицу, боясь подвергнуться вторичному обстрелу из дома-термоса, и уже шагом, — физическое напряжение не прошло даром, они задыхались, — пошли по знакомой дороге.

Город был мертв.

Северное сияние мерцало, не рассеивая мрака. В той стороне, где пылало несколько домов, еще слышались стеклянные хлопушки выстрелов, но уже надвигалась бездыханная тишина ледяной смерти.

Свернули в переулок; здесь трупов почти не было, но зато и тишина царила невыразимая. В одном окне нижнего этажа, совершенно обледенелом, был виден свет — жалкая, мерцающая желтизна. Кто-то боролся со смертью, сжигая последние остатки угля.

Раиса Николаевна замедлила шаг и постучала в окно.

Постучала так, просто: жизнь, последняя жизнь на земле, подала знак другой жизни. Но за окном свет сейчас же погас: человек, сидевший у огня, испугался.

Вышли на главную улицу и приблизились к пожару. Пересекли ее. Сормов на минуту замер...

На каменном приступке подъезда великолепного особняка иностранного консульства, в своем сером дождевике, сидел и смотрел на пожар поэт Зыбин. По лицу ползали красные отсветы зарева, глаза были открыты, руки зябко засунуты в рукава и прижаты к груди.

Раиса Николаевна, вздрогнув, схватилась за рукав Сормова. Потащила в сторону...

Лицо мертвеца, казалось, улыбалось...

Опять переулок, поворот на широкую базарную улицу и, наконец, между цинковыми низкими пакгаузами — тупая крыша «Утиной головы». Дом был невредим, — не было охотников проникнуть в эту малонаселенную часть города, да и небольшие, в сущности, запасы кабачка никого особенно не привлекали.

Путники остановились. Над крышей дома, со стороны двора, спокойная, прямая, поднималась струя дыма. Но как было войти во двор? Ворота оказались заперты изнутри, высокие железные ворота в гладкой ледяной стене. Осталось одно — разбить звено стекол в ближайшем окне, пролезть в отверстие и затолкать его меховыми мешками, приспособленными для дыхания. В них не было теперь надобности.

Так и сделали…

Во внешнем кольце комнат от каменноугольного дыма першило в горле, но уже было значительно теплее.

— Кажется, спасены! — еще не веря, но уже радостно вслух подумала Раиса Николаевна. Но Сормов оставался угрюмым; в струе выходящего из трубы дыма он отогревал маленький замерзший браунинг.

А под полом, в угольной яме, у жарко топившейся печки-камбуза, в одном белье сидел грузин и, время от времени отхлебывая из горлышка бутылки терпкое вино, — хриплой фистулой напевал грузинскую песню.

Вдруг он поднял выпученные белки к потоку — в них блеснули страх и недоумение: над своей головой он услышал шаги. Выругавшись, он стал быстро одеваться.

«Женщина… это хорошо»

Ощупью, опасаясь нарочитых препятствий и ловушек, вытянув вперед руки, продвигался Сормов; за ним, держась за его доху, следовала Раиса Николаевна. Они прошли через гулкую общую залу, и теперь перед ними был узкий коридор с выходящими в него дверями маленьких кабинетов. Он пугал путников, но нужно было продолжать поиски лазейки во внутренние комнаты.

Сормов понимал, что грузин не имел причин радоваться гостям. Прежде всего, это были лишние рты, во-вторых же, он, ничего не зная о намерениях посетителей, мог заподозрить в них угольных грабителей и разделаться с ними, расстреляв из какого-нибудь отверстия, преднамеренно открывающегося.

Поэтому Сормов решил дать знать о себе.

— Сократий! — закричал он. — Гоп, гоп!.. Сократий!

Так дело, по крайней мере, ставилось начистоту.

Голос художника гулко прокатился по пустым комнатам: где-то скрежещущим шорохом посыпалась штукатурка. Сормов почувствовал, что женщина прижалась к нему и дрожит.

— Кто там? — после короткой паузы услышали они почти рядом с собой.

Впереди была дверь — художник вспомнил ее — с падающим люком-столиком, через который из буфетной подавали в ресторан посуду. Видимо, грузин сторожил, приоткрыв люк.

— Художник Сормов и женщина!

Щелкнула дверца, открытая совсем: желтый колеблющийся свет свечи широким косым столбом лег на противоположную стену коридора.

— Лезьте! — спокойно сказал грузин. — Женщина — это хорошо.

Комната, в которой оказались Сормов с Раисой Николаевной, была превращена в кладовую, наполовину заваленную углем; тут же стояли мешки с мукой, вино в бутылках и бочонках, жестянки с маслом и консервами; мясные туши занимали целый угол.

Хотя через эту комнату проходила, местами докрасна накаленная, железная печная труба, температура здесь была ниже нуля: вода в огромных цинковых баках — их было шесть — подернулась льдом.

Но из соседней комнаты, дверь в которую осталась открытой, тянуло благодатным теплом. В полу красным четырехугольником зиял люк, как провал в преисподнюю.

Грузин, поставив свечу на бочонок, поспешно закрыл люк. Он был в дорогой песцовой шубе, накинутой поверх белья. В правой руке он держал длинноствольный тяжелый револьвер.

— Женщина — это очень хорошо! — повторил он. — Очень хорошо! Ядвига убежала с этим, с Зыбиным. Теперь, конечно, — сосулька... Но и ты пригодишься, душа, — снисходительно обратился Сократий Иванович к Сормову. — Ты слугой будешь.

Сормов взглянул на Раису Николаевну: она спокойно освобождалась от внешних меховых покровов, вытряхивая наполовину истлевшие японские самогрелки. Казалось, ничего не поняла.

Они вошли во вторую комнату, столь же заставленную, как и первая. Здесь было очень тепло: из люка подземелья шел сухой багровый жар.

Грузин объяснял: сначала он пользуется лишь припасами и углем из первой комнаты, затем, если холод станет невыносимым, он закупорит дверь и сосредоточит все запасы во второй.

— Потом — туда! — ткнул он пальцем в подземелье. — Можно долго продержаться!

Говоря это, он резал мясо, хлеб; потом налил две большие рюмки коньяку.

— С морозу — хорошо!

Раиса Николаевна уверенно поднесла рюмку к губам и выпила залпом. Потом стала жадно есть. Взгляд художника отметил острую красоту ее профиля и твердость движений.

— Предаст она меня или нет? — подумал он и только сейчас, впервые за все это время, вспомнил о трех выстрелах из револьвера, данного ему Раисой Николаевной. Теперь этот револьвер, уже согревшийся, лежал в его кармане, и рука как бы привычным жестом тянулась к нему. Сормов знал, что слугою он не будет. Он знал, что эту темнолицую, молчаливую женщину он, живой, грузину не отдаст.

И, словно поняв все, что делается в душе спутника, Раиса Николаевна повернула к нему голову и, заглянув в глубину его глаз, в расширенные злобой зрачки, ласково спросила:

— Устал, родной?

Сормов вскинул на нее благодарные глаза. Но она взглядом же остановила его, словно сказав: «тише!»

Сормов понял и разом успокоился. Грузин был огромен и страшен яростью и физической силой; но их двое, — с ним женщина, любящая и безжалостная, как дьявол. Они сильнее.

— Половина второго дня! — зевая, говорил грузин. — А может быть, ночи. Все время пил и спал, спал и пил... Спутался.

Он тяжело дышал от жары, от выпитого спирта. Багровое круглое лицо текло вниз складками сорокалетнего жира. Щеткой седеющей щетины пробивались щеки, и пахло от него чем-то острым, как от зверя в клетке.

Вот он полез вниз, подкладывать уголь в камбуз, потрескивающий и завывающий внизу. Было в трубе над головами. Сормова клонило ко сну. Нестерпимо хотелось спать; он пересел на какие-то мешки, готовый рухнуть в сон, как камень в колодец.

Засыпая, он слышал голос Раисы, становившийся неясным, как бы удалявшийся:

— ...Подумай, в два-три дня исчезнет все, что накапливалось миллионами лет. Может быть, останутся жить инфузории, микроскопические споры, жизнь будет тлеть в состоянии анабиоза и уж никогда не поднимется на высоту организованности солнечной эпохи. А может быть, землю тянет к себе огромное мертвое светило, и скоро, от невероятного толчка, земля превратится в бледное пятнышко туманности...

— Она — умная, — подумал Сормов и уснул.

— Спит? — спросил грузин, вылезая из подземелья.

— Уснул,— тихо ответила женщина.

Ее глаза были зорки: грузин приближался, распахивая шубу и обнажая сползающее с жирного тела белье.

Суд

Шли третьи сутки сиденья; вторую комнату пришлось еще накануне заделать: холод в ней становился нестерпимым. Оттуда перекатили баки со льдом из питьевой воды.

Окончательно спутали дневные часы с ночными; просыпались и вставали как попало и все-таки, по привычке, заводили карманные часы. У Сормова была половина шестого, у грузина шел третий час. Наконец, напившись, грузин швырнул свои часы в камбуз.

Художник, чтобы упорядочить жизнь, предложил вставать и ложиться в определенный час. В зависимости от этого назначалось и время обеда. Сормова категорически поддержала Раиса Николаевна. Даже здесь, в подвале, жизнь требовала определенной организованности, иначе подземелье грозило превратиться в зловонную звериную конуру.

Напиваясь, грузин был нестерпим.

Кроме того, его тянула женщина. Огромное жирное тело, позабывшее стыд, откровенное во всех своих естественных отправлениях, ставило вопрос ребром. Проснувшись после своего сна в первый день прибытия в кабачок, Сормов понял, что между грузином и Раисой что-то произошло.

Грузин был свиреп и настойчиво предлагал Сормову сейчас же приняться за переноску угля из второй комнаты в первую. Раиса Николаевна казалась спокойной, но глаза ее — Сормов ясно видел это — сторожили каждое движение грузина.

Потом — как будто обошлось. Грузин непрерывно пил, напившись — плакал, но даже в пьяном виде к женщине не приставал: казалось, он боялся ее. Грязный, полуголый, он отравлял жизнь.

В момент, к которому относится наш рассказ, в подвале все спали. Раиса Николаевна и Сормов лежали по одну сторону камбуза, грузин — по другую. Камбуз выл огнем; сквозь щели в дверце, сквозь неплотные круги вьюшек вырывался красный мерцающий свет: несмотря на жару от печи, из углов, где высились груды угля, острыми, колючими струйками пробирался холод, — земля начинала промерзать.

Грузин проснулся и натянул на себя сползшую шубу. Потянулся к бутылке, отпил несколько глотков и, открыв себя к стороне печи, стал греться. Огромные рачьи глаза красновато отблескивали.

Грузин слушал и смотрел.

На соседнем матраце, покрытая мехом, свернувшись, спала Раиса Николаевна. Блестящие глаза упрямо уставились на нее.

— Мой дом, мой уголь, мой хлеб, — думал грузин, — женщина — моя. Теперь она не хочет, потому что — Сормов. Если его не будет, она станет моей.

Воображение грузина приподняло доху над женщиной. Мягкое, молодое, теплое тело. Душистое, как только что выпеченный кавказский хлеб. И он, хозяин, привыкший так просто брать женщин, заходивших в ресторан, не может даже приблизиться, пересесть на соседний матрац... А через несколько суток — несомненная гибель от холода, от ледяной смерти.

Грузин не в силах был этого вынести.

Стараясь не скрипеть пружинами, он приподнялся на матраце.

Сделал вид, что поправляет огонь в камбузе, подложил угля. Взял маленький стальной топорик, которым колол растопку. Пять-шесть шагов вправо, верный удар по голове — и художник забьется в последних конвульсиях.

Шаг…

Раиса Николаевна повернула голову; глаза по-кошачьи пристальны.

Шаг… Грузин ясно видит всю фигуру спящего.

Шаг… Грузин приподнимает топорик… Но за ним — развернувшаяся пружина: гибкая, отклонившаяся назад для удара, фигура Раисы Николаевны…

Грузин рухнул, чуть не опрокинув камбуз. Бутылка разбилась вдребезги; кровь смешалась с кахетинским. Вскочил проснувшийся художник.

— Зажги свечу! — крикнула женщина. Она, нагнувшись, завладела уже длинноствольным револьвером грузина.

— Он — на тебя?.. Он… — бормотал Сормов, опуская предохранитель браунинга. — Будет!.. К черту его!..

— Осторожней, — он может очнуться.

Действительно, грузин застонал, приходя в себя. Замотал головой, под которой расплылось на матраце темное пятно. Но он был совершенно обессилен.

— Что же теперь? — весь дрожа, спросил Сормов.

— Что? Убить! — крикнула женщина.

— Не могу! — простонал Сормов, опуская револьвер. — Может быть, не надо? Он истекает кровью. Он беспомощен.

— Пусть так! Я не хочу, чтобы он был здесь. Пойми, мы живем последние часы. Это ужасное животное мешает мне любить тебя.

— Но, Раиса, мы же перестанем быть людьми.

— Неправда! Мы без него забудем то, что превращает нас в животных, — страх перед гибелью. Этот человек своей нечистоплотностью, скотством отравляет мне последние минуты жизни. Ты… не можешь?

— Раиса… Ведь это будет третий!

— Те все равно бы умерли.

— Родная!..

Но зашевелился грузин. Застонал, плача:

— Я — хозяин, а не вы… Мой хлеб, мой дом… Как же меня можно убивать?.. Вы ответите, — разбойничать не велено никому!

Огромный, в окровавленном белье, он был до слез жалок и отвратителен.

Лупоглазые белки поворачивались медленно, с прискорбной укоризной; вялое тело медленно и страшно поднималось на матраце, стараясь сесть. Может быть, он сошел с ума…

Слова из черного, по-рыбьи открывающегося рта вылетали нелепые, детские. Грузин грозил.

— Вы ответите, — настаивал он. — Разве можно бить хозяина!?

Становилось нестерпимо. Раиса Николаевна презрительно улыбалась.

Сормов выстрелил…

Кошмар бреда

Был день — или ночь? — Счет времени, связанный с солнцем, окончательно запутался, — были жестокие, медленные часы, когда, казалось, ледяная смерть решительно опускает в подвал свою беспощадную руку, ища спрятавшихся. Словно в агонии, металось пламя в камбузе: казалось, даже оно замерзало; бледно-желтые языки огня, вытянутые тягой в узкие жала, превращались в мертвые, негреющие ленты, цветом напоминающие серу.

Сжавшись под мехами, Сормов и Раиса Николаевна были уверены в близком смертном часе. Что могло отвратить гибель? Откуда можно было ждать чуда?

Вдруг температура выровнялась; камбуз завыл уверенно и низко; огонь окрасился в обычный красноватый тон. В погребе стало жарко, открыли люк; опять явилась возможность пользоваться первой комнатой, за время приступа холода превратившейся в настоящий ледник, в ледяную пещеру: лед местами едва ли не на четверть покрыл стены и теперь медленно таял.

Откуда шло тепло? Маленький камбуз уже решительно боролся с морозом, и победа, по всем признакам, была на его стороне. А это могло случиться, конечно, лишь в том случае, если температура воздуха поднялась.

К Раисе Николаевне вернулась любовь к порядку.

Хаос, внесенный в их жизнь нечеловеческим холодом, уступил место обычным требованиям. Вновь комфортабельно расположили сдвинутые к печи матрацы, освободили среднюю часть подземелья, сделали постель из груды мехов, которыми укрывались.

— Как думаешь, что значит это тепло? — спрашивала Раиса Николаевна; она откупоривала консервную банку с замерзшим персиковым компотом. — Я верю, что мы приближаемся к солнцу.

Сормов не думал этого. Температура не возрастала непрерывно. Слегка поднявшись, она все-таки за стенами дома была, вероятно, нестерпимо низкой.

— Ну, не солнце!.. Пусть — что-нибудь другое... Во всяком случае, мы можем любить друг друга, не корчась под одеялами.

Для Раисы Николаевны это было уже много.

Беззаботно веселая женщина извлекала из своего сильного тела все возможности необыкновенной любви. О мертвом городе, о ледяном доме, о трупе над ними — обо всем, что в часы самого острого наслаждения не переставало угнетать Сормова, — она не помнила. Багровый зной, гудение камбуза, прикосновения обнаженного тела к нагретым мехам, мертвая тишина, распростертая над ними, и даже, быть может, самая обреченность, делающая нелепой бережливость здоровья, — все это заставляло тело искать непрекращающихся наслаждений. Оно пело, как скрипка в руках сумасшедшего виртуоза, готового последним ударом смычка оборвать струны.

Когда усталость овладевала телом, Раиса Николаевна зажигала в рюмке зеленый шартрез и, как инкуба, глотала синее пламя ликера, чтобы быть опять неутомимой.

Иногда, в минуты все чаще приходившего упадка духа, в минуты тоски о солнце, в тягучие приступы сердечного страха, — Раиса Николаевна казалась Сормову ведьмой; но черные глаза, уже глубоко запавшие в синеву, приближались, нагое, красное в отблесках печи тело двигалось нежными округленностями, и страсть, казалось, утоленная, опять требовала того, что казалось до дна не исчерпанным.

— Пусть не угаснет память во вселенной о страсти, перешедшей за предел! — продекламировала Раиса Николаевна.

— Что? — удивился Сормов, пораженный жестокой приложимостью строк к их смертельному заточению.

— Это — Брюсов, — ответила Раиса Николаевна. — Разве ты не знаешь?

И она прочла все стихотворение о помпеянке[1], в объятиях возлюбленного забывшей о гибели города.

— Ты понимаешь, — медленно, словно смакуя, говорила Раиса Николаевна, — они были так счастливы, что забыли Везувий со всей его лавой. Перед великолепием наслаждения — чем была эта глупая гора с ее огнем и пеплом? Собачонкой, лающей на большого задумавшегося человека. Взглянул — и забыл...

Она губами перелила жгучий, маслянистый ликер в рот художнику. Легла в его руки тяжелым теплым телом. Продолжала почти во сне:

— Я любила лишь людей, забывающих о необходимом. Не все ли равно, что заставляет человека незаметно вступать в гибель? Архимед, под мечом воина думающий лишь о чертеже; офицер, пускающий карьером коня на проволочный редут; врач, пробующий на себе чумную прививку, — они равноценны...

Угадала по движению Сормова, что он хочет возразить.

— Знаю, милый!.. Они жертвовали собой ради другого... Человечество, наука и еще что-то. Нет!.. Порыв не допускает мыслей, рассуждений, он — только жест, дающий удовлетворение.

---

[1] Имеется в виду баллада В. Брюсова «Помпеянка» из сборника «Urbi et Orbi» (1901).

...И опять темная дыра подвала запылала багровыми огнями. Маленькое, верткое слово «страсть», затертое миллионами губ, вновь приобретало свою первоначальную значимость — наслаждения, сочетанного с болью разрушаемого им тела.

Сколько ночей, сколько дней, ничем не отличавшихся от ночей?!.

Два тела, крутясь, полетели в лишенный времени провал. В нем — испепеляющие ощущения, острые, как глубоко вонзающиеся иглы; и — душная тьма.

А потом что?..

***

Раиса упала навзничь...

Охваченный страхом, желая помочь и еще не веря тому, что вторично шло в душную угольную яму, — Сормов неловкими движениями стал поднимать Раису Николаевну.

— Оставь, — тихо сказала она. — Дай воды...

Грудь ее то высоко поднималась, то почти на минуту оставалась без дыхания. Глаза были открыты — внимательно, ласково смотрели на художника.

— Милый, ты останешься один. Прости меня... — и, после паузы: — Не клади меня рядом с грузином...

Грудь невероятно высоко рванулась вверх, и вдруг глаза, сразу разрушая всю красоту молодого женского лица, безобразно, как у удавленника, выступили из орбит. Грудь упала и осталась неподвижной...

Тяжелые, словно слоновьи, затопали над головой ноги.

— Грузин!.. — взвизгнул Сормов, отскакивая от трупа. Надо было бежать, и художник, почти расплющиваясь, повалив стоймя поставленный диванный матрац, прижался к холодным угольным глыбам,

А грузин уже лез в люк. Ноги в окровавленных кальсонах свесились вниз и неуверенно искали упора. Вот он появился весь... Белый, с темными кровавыми пятнами на рубашке, со страшной изуродованной головой.

— Вот, и опять будем жить втроем, — сказал он, садясь на свое обычное место, справа от печки. — Разве можно убивать хозяина?!.

Медленно, с трудом, хрипя и ворочая белками закатившихся глаз, — словно ища ими Сормова, — приподнималась и Раиса Николаевна.

— Боишься? — хриплым, старушечьим голосом спросила она. — Подойди же, дурачок. Теперь тебе со мной будет лучше.

— Ложись!.. — крикнул Сормов. — Это позор!.. Ложись! Будь мертвой...

Еще сильные отпрянув, он до острой боли вдавил в тело шершавые зубья угольных глыб.

Мертвецы смеялись тихим, ласковым смехом. Они повернулись друг к другу и уже не обращали внимания на Сормова.

— Теперь ты будешь меня любить? — вялым голосом спросил грузин.

— Конечно, — Раиса Николаевна говорила так же вяло. — Ты мне всегда нравился. Ты лучше его. Он верит в Бога, а я — ведьма. Он не догадывался об этом...

Покойница встала, шатаясь, и, нагая, злобно взглянув на Сормова, заскользила к грузину.

— Я знал, что ты ведьма! — крикнул Сормов. — Мертвые — при живом!.. Если хоть минуту любила — оставайся мертвой!..

Он бросился на покойницу...

Раздался грохот, — женщине показалось, что это вскочил грузин.

Красное светило

Люди в легкой меховой одежде с треском выломали дверь в первую комнату. Растаявший лед образовал огромные лужи на полу. Желтые световые конусы электрических фонариков сосредоточились на белой, уже разлагающейся груде.

— Труп, — сказал первый из вошедших. Голос был скрипучий, профиль каменный, эсквайерский. Поблескивали очки.

— Это ведь Сократий, Павел Васильевич! — равнодушно заметил второй из вошедших, заглядывая через плечо. — Нужно ломать дальше. Судя по дыму, люди все-таки есть.

Затрещала вторая дверь. Подавалась легко.

Опять забегали желтые световые конусы фонарей. Но вошедшие не успели ничего разглядеть. Они услышали женский голос.

— Кто там?

— Люди, — ответил Павел Васильевич.

— Тогда помогите! Меня душит сумасшедший!

Каждая женщина, уцелевшая на земле, — была драгоценностью. Давя друг друга, вошедшие бросились в яму. Мужчина, совершенно нагой, душил нагую женщину. Он рычал, и кусал ее, и наносил удары.

— Ты — мертвая! — кричал он. — Зачем же ты встала!? Любовь мертвецов при живом — ведь это же мерзость!..

В левой руке у женщины был револьвер.

— Почему же вы не стреляли? — спросил скрипуче Павел Васильевич, когда Сормов был связан.

И женщина тоскливо ответила:

— Я тоже боялась, что два мертвеца придут любить меня.

— Вас будут любить живые, — не понимая, заметил спаситель. — На много тысяч верст спаслось едва ли более пятидесяти женщин. И это — на семьсот мужчин. Вы — самая красивая из них.

О том же, что он в сумасшедшем узнал приятеля, Павел Васильевич не счел нужным заявлять: кого это могло интересовать?

Сормов, связанный, дрожал в углу; волчий взгляд его был жалок и затравлен.

Но людей так мало осталось, что даже сумасшедший представлял ценность. Поэтому его и не пристрелили. А может быть, о нем забыли, глядя на прекрасное тело медленно одевающейся женщины.

А над городом стояло большое желтовато-красное светило. В тени было еще холодно, но на припеке снег плавился, и по улицам по-весеннему бежали ручьи, омывая скорченные, всюду валяющиеся трупы.

Земля, пролетев огромное пространство, нашла новое солнце и уже вращалась вокруг него... Лето ли было, или зима, спасшиеся еще не знали, но светило правильно всходило и заходило; — только сутки стали теперь короче.

И все-таки земля была пустынной. Погибли звери и птицы: уцелело лишь несколько пар овец и коров. Они спаслись в глубокой каменноугольной шахте, в двадцати верстах за городом, куда их затащили люди. Шахта сохранила жизнь большей половине спасшихся.

Впрочем, остались и птицы — голубь и голубка: ребенок на своей груди пронес их в шахту.

***

— Ну, как? — спросил Грызин, когда Сормов, дочитав последнюю страницу рукописи, подровнял листы на ладони и положил их на подушку кровати, на которой сидел.

Опустив на прекрасные глаза свои черные изогнутые ресницы и наблюдая сквозь их решетку за натянуто-спокойным, окаменевшим в ожидании приговора лицом репортера, художник ответил:

— Очень хорошо, но...

Напряжение, судорогой «тетануса» сковавшее мышцы лица Грызина, мгновенно исчезло. Он вздохнул, как человек, скинувший с плеч тяжесть. Заулыбался радостной и чуть-чуть жалкой улыбкой. Он был награжден, «но» его не смущало.

Что бы ни стояло за этим «но», оно было уже второстепенным: самолюбие писателя уже не пострадает.

— Хорошо, но, знаешь ли, эту вещь «Красное Знамя» не напечатает! — решительно сказал художник.

— Ты прав! — торопливо от нервности и как будто даже радостно заговорил Грызин. — Товарищ Скоблин, ты знаешь его, — наш редактор... Он то же самое сказал: «Хорошо, но напечатать не могу».

— Вот, видишь. Тебе надо было бы показать, какую организованность проявил пролетариат в момент этой катастрофы, так мастерски тобой изображенной. Ведь он это тебе сказал?

— Да, да! — озабоченно развел руками Грызин. — Именно — это. «Вы, говорит, центром повествования сделали эротические переживания этой дамы и Сормова»...

— Мою фамилию, пожалуйста, выброси! — вспомнил художник.

— Хорошо... «эротические переживания этой дамы и Сормова, а о героизме рабочих, об их организованности, несомненно, проявленной в эти минуты, вы почему-то ни слова не сказали». По его мнению, повесть надо переделать, и тогда она станет замечательным произведением. Он так и сказал, ей-Богу!

— Ну, что же, — за работу? — равнодушно спросил Сормов, уставший от чтения и от мало интересовавшего его литературного разговора. Грызина он считал бездарным, и рассказ его ему не понравился.

— Да, я рассказ переделаю, — с готовностью согласился Грызин. — Как же, обязательно! Да, да, я покажу героизм рабочих...

Он соглашался, потому что был благодарен Сормову за его «Очень хорошо!». Повесть его уже не интересовала, да и знал он, что не сумеет ее переделать так, как ему советовали.

Опубл. и печ. по: Рубеж. 1929. № 35. С. 1-2, 4-5; № 36. С. 1-2, 4; № 37. С. 1-2, 4-5; № 38. С. 1-4; № 39. С. 1-2, 4-5.

ЗОЛОТО

I

Дим выбежал на крылечко и, заложив ручки за спину, — зеленая сарпинковая комбинация обтянула сытый животик, — стал любоваться морем, таким легким и голубым в утренние часы, с маленьким черным пароходиком, уходившим к горизонту и тянувшим за собой коричневую косицу дыма. Глаза у Дима были такие же, как и это июльское море, — бледно-голубые, с легкой белесинкой…

Но море было слишком пустынным, и оно скоро надоело Диму. Он перевел взгляд на домики, рассыпавшиеся на сопках по другую сторону бухты. Он знал, что эти домики называются Владивостоком, а он, Дим, живет на Чуркине. Когда же надоели и домики, Дим задом, упираясь ладошками о ступеньки крыльца, слишком высокие для него, спустился в садик и, осторожно ступая босыми ножками, направился к кусту сирени, за которым, он знал, была скамеечка.

Конечно, Дим немного боялся, — ведь не часто ему приходилось путешествовать по садику одному, да и неизвестно еще, как примет его этот косматый шелестящий куст, не сидит ли на скамеечке за ним то неведомое, что в тайфунные вечера грубым голосом воет в трубе… И Дим недоверчиво покосился на кадку под водосточной трубой, — в кадке что-то булькало и шуршало.

Дим шел долго и очень тихо: как котенок, — ставил босую ножку и замирал, выжидая. Несколько минут он стоял над травинкой, на которой качался жучок с бронзовой спинкой, долго следил глазами за бабочкой, отыскивавшей над клумбой свою медовую пищу. Из-за куста, к скамье, он вышел так тихо, что сидевшие на ней хозяин дома Николай Иванович и жена его Липа, Олимпиада Васильевна, даже не заметили приближения ребенка.

— Перекапывать не надо, — похрустывал шепчущим баском Николай Иванович, повернув к жене конопатое лицо. — Не надо перекапывать, и не думай об этом!.. Лежит у забора — и пусть лежит…

— Ближе-то к дому покойнее, — молящим шепотом возражала супруга. — Прямо, Коля, ночей я не сплю, — все думаю… Седни видела во сне, будто пес подошел к месту и лапами землю роет… Как хочешь, не к добру это!

— Глупая! — любовно притянув к себе жену, засмеялся Николай Иванович. — Золото не кость, чтобы пес его копал… А у забора лежать ему покойнее, — кто туда сунется?..

Дим глядел на супругов, как на жучка, как на бабочку: неотводно, чуть раскрыв ротик. Так смотрят котята, недавно прозревшие.

Потом в белесой голубизне его глазок что-то дрогнуло, осмыслилось, и, всплеснув ручонками, с криком: «Испугал, испугал!..» — он выбежал к скамейке.

И шаловливый крик ребенка был истинной правдой: оба супруга побледнели ужасно…

II

Все в повести было ходульно и лживо. Энтузиасты-ударники восхищались новой бетономешалкой в выражениях школьников, которым задано сочинение на тему о наступлении эры социализма. Благонравная рабфаковка словами очередного циркуляра ЦК растолковывала своему мужу значение пятилетки[1]. Влюбленный в рабфаковку инженер-американец начинал прозревать и благого-

[1] Героиня читает рассказ в духе первых ходульных опытов соцреализма. Действие рассказа происходит в период первой пятилетки (1928–1932 гг.). Несмелов, живущий в Харбине, изображает воображаемый им советский Владивосток тех лет.

вейно впитывал в пролетаризирующиеся легкие воздух сталинского ренессанса…

Ольга Николаевна бросила книгу на пол и вслух сказала:

— А, ну вас к черту… Какая тоска!

Вытянувшись на кровати, она закрыла глаза. Нет, больше так жить невозможно. Бедность и ложь, ложь, бедность и тоска. Собственно, что она такое, она, Ольга Николаевна Рыбникова? Безработная — раз, любовница носатого латыша из Дальрыбы, спеца-инструктора по запаиванию консервных банок, — два. Да и не любовница вовсе. Какая уж тут любовь!.. Всего-навсего — конкубина, «женщина для здоровья», как острят дружки Яунзема, то есть — почти вещь; проститутка по нужде, ибо надеется, что баночник протащит ее на постоянное место в учреждении, — не вечно же лишь случайная работа по вызову биржи труда… Да, жалкие подачки, жалкая плата, нужда и недоедание, ибо последний кусок хлеба, последний метр ситца — не себе, а ему, — розовому, кудрявому Димику, ее любви и гордости…

Но где же он?

— Димик!..

Дима не было.

— Дим! — громче крикнула женщина и, сев на постели, прислушалась.

Но уже топали ножки по коридору, и, как всегда, от этого мягкого торопливого стука у матери сладко и тревожно сжалось сердце. Сладко: вот ходит, бегает, — значит, здоров и растет. Тревожно: а что будет завтра, послезавтра, через месяц? И ребенок казался ей, давно покинутой жене, сладкой, но непосильной ношей.

А дверь уже задергали снаружи слабые ручонки, едва достигавшие до дверной ручки, и, наконец, справились с усилием: матери приятно было видеть, как Дим сам отворяет легкую дверь. Вот и он, — вкатился зеленый комочек с улыбающимся милым ртом, сейчас перепачканным чем-то коричневым…

С ужасом в голосе и глазах:

— Дим, что ты ешь?

И тут же удивленно поняла: шоколад!..

— Кто тебе дал, Дим?

— Тетя! — Дим с трудом ворочает языком в размякшей сладости. И, проглотив ее: — Ма-мо-чи-ка, что такое золото?

— Золото и есть золото. — Мать никак не ожидала такого вопроса. — Знаешь, такое… Ну, блестит, как эта дверная ручка…

— А зачем дверную ручку закапывать в землю?

— Дим, что ты бормочешь? — испугалась мать, опускаясь перед сыном на колени и одной рукой, с платком, вытирая ему ротик, а другой, левой, щупая лоб: не жар ли?

Но лобик Димика был прохладно-теплым, — жара не было.

III

Июльский полдень переполз через бухту и сжег все тени. Трехоконный домик белел под скалою неистово, и неистово звенели кузнечики. Диму казалось, что это звенит у него в ушах, как полгода назад, когда он сильно был болен. И Димик ковырял мизинчиками то в правом, то в левом ухе, думая выковырять оттуда звон. Но на мизинчиках ничего не было, а звон все звенел. И тогда, чтобы перекричать надоевший звон, Дим запел песенку, которую тут же сложил:

Золото, золото,
Золотое золото,
Золотая мамочка,
Золотая тетичка,
Золотой воробушек…

Голос ребенка был звонок, — песенка была услышана на кухне. Чистившая красноперку Олимпиада Васильевна закусила толстую, красную нижнюю губу и затаила дыхание, — сердце от волнения подпрыгнуло к самому горлу и стукнуло перебоем.

Ольга Николаевна даже обрадовалась — «так оно и есть!» — но и виду не подала. Засмеялась:

— Сегодня, знаете, мой Дымок с утра о золоте болтает… Даже вот песенку сложил.

И обе женщины внимательно посмотрели друг на друга. Ольга Николаевна ласково и спокойно, словно спрашивая: «Правда?»

Олимпиада первая опустила глаза, выдала себя, и лишь через секунду — такую долгую — усмехнулась, колыхнув обильной грудью:

— Уж дети, они такие… Услышат слово и носятся с ним.

И, справившись наконец с сердцем, рассказала, как какой-то мальчуган, при котором родители не поостереглись, разболтал своим сверстникам, что у его отца есть припрятанное золото. Ребятишки разнесли это дальше, и — пошла писать губерния…

— Полгода по тюрьмам мотали, — закончила Олимпиада свой рассказ, очень довольная тем, что сама перешла в наступление: не про мамашино ли золото болтает мальчишка? Ольга Николаевна смотрела на хозяйку просто и открыто, и та, успокаиваясь, подумала:

«Нет, не разболтал еще Димка про то, что услышал. Забудет, поди… Обойдется».

Но вечером, когда муж вернулся из порта, где он служил по охране, и супруги пили чай в садике, — Дим вышел на крылечко, постоял, поглядел на море, вздохнул и сказал:

— Тетя, а золото, оно какое? Всегда золотое?

Николай Иванович поперхнулся глотком, у Олимпиады опустились руки и заныло внизу живота. Надо было что-то предпринимать, и предпринимать, не останавливаясь ни перед чем.

IV

Ночь пришла красивая, синяя, со светящимися мухами, вспыхивающими, как крошечные электрические фонарики. Далеко за бухтой сиял город, и отражения его огней каплями золотого масла растекались по черной воде. Иногда из города долетал мягкий рокот медных труб, игравших «Интернационал»[1].

Уходя в свою комнату, Ольга Николаевна сказала хозяйке:

— Завтра я на биржу пойду, Олимпиада Васильевна… Уж вы не откажите посмотреть за Димиком…

— Хорошо, — ответила та и вдруг испугалась так, что задрожали руки, и, чтобы не выдать себя, она спрятала их под передник, крепко сцепив пальцы.

---

[1] Новый государственный гимн СССР был утвержден в 1944 г.

— Конечно, присмотрю… Не впервой!

«Что это она будто в лице изменилась?» — подумала Ольга Николаевна, но ничего не сказала, только молочную бутылку без нужды переставила со стола на окно. И, пожелав спокойной ночи, ушла к себе.

Дим уже давно спал, голенький, — сбросил с себя одеяльце и раскинул ручонки. Дышал глубоко и спокойно. Ольга Николаевна хотела его поцеловать, но побоялась разбудить и только блаженно на него посмотрела.

Стала раздеваться, стараясь не шуметь. Снимая кофточку, почувствовала ладонью твердую тяжесть своих грудей, и мелькнула грустная мысль о нелепо уходящей молодости. Вздохнула. Провела ладонями по прохладным бедрам. Подумала с горечью:

— Вся продажная!

Погасила свет и легла. Лежала с открытыми глазами и представляла себе: стоит на коленях у забора в садике и роет землю большим кухонным ножом, каким Олимпиада рубит мясо на котлеты. Вот нож чиркнул по твердому…

Ах, даже вздрогнула и чаще задышала.

…Не жалея ногтей, рвет землю руками, и вот он — клад… Наверно, круглая жестяная банка из-под монпансье… Ах, какая тяжелая, какая сладостно тяжелая, — едва вытащила из ямы! Скорей, скорей! Крышка не снимается, приржавела. Поддела острием ножа, и она, не звякнув, скатилась в яму. И вот рука глубоко, почти по локоть, погружается в холодные, скользкие золотые монеты…

«Возьму только одну горсть, — задыхаясь, думает Ольга Николаевна, — только одну горсть, и то не для себя ведь, а для Дима… Имею же я право! Все равно, это не их, — все это награблено: он ведь в чека раньше служил, — все знают… Нет, одной горсти мало, что одна горсть! Зачем им так много денег!..»

Ольга Николаевна уже сидит в постели; рука ее судорожно загребает байковое старое, давно не греющее одеяло — загребает воображаемые пятирублевики и империалы. Женщина тяжело, как в припадке, дышит, и глаза ее, устремленные на синий квадрат ночного окна, блестят даже в темноте. Она шепчет что-то и похожа на бредящую больную…

***

Но шепчутся, шуршат, как мыши, и в соседней комнате, куда, в одно из окон, заглянула луна и уперлась голубым лучом в портрет лобастого Ленина. Другой глаз портрета в тени, и от этого кажется, что вождь иронически подмигивает…

— По-твоему, она, стало быть, не догадалась? — спрашивает Николай Иванович, укладывая голову на обвившую его шею руку жены. — Не выспрашивала, не подбиралась со стороны, обиняком?

— Нет, этого нету, — шепчет жена. — Ей, кажись, и в голову не пришло. Конечно, ежели ее пащенок будет и завтра талдырить о золоте, — тут уж и дурак догадается… И такая у меня злоба на него, — своими бы руками задушила!.. Как кутенка, об угол бы!..

Олимпиада от злости задергала ногами.

— Дела! — вздохнул муж. — Чего делать-то теперь? Ежели бы откупиться, например, дать ей, скажем, рублей сто, и пусть катится в Харбин.

— И не говори ты мне про это! — в злобе вскрикнула Олимпиада и, опомнившись, торопливо зашептала: — Еще чего!.. Самим в пасть лезть? Лучше уж ты выгони меня и живи с ней, с образованной… Только так и знай, — она отпихнула мужа, — и тебя, и себя погублю: донесу!

— Что ты, что ты! — ловя жену, испуганно забормотал муж. — Разве же я к тому!

— То-то, смотри у меня!.. И до чего же я этого сопливого Димку видеть не могу, — прямо трясусь!.. Секачом котлетным пузо бы ему распорола! И распорю, ей-Богу, распорю, заикнись только он завтра про наш капитал…

Олимпиада трепетала, как от вожделения, и муж жадно потянулся к ней.

Затихли. Лунный луч медленно переползал через лицо Ленина, и вот портрет подмигнул уже другим глазом, левым. Тикал будильник на столе. Посвистывал носом Николай Иванович, безмятежно дышал Дим. Не спали только две женщины, но лежали тихо, не шевелясь, боясь нарушить каждая ход своих мыслей. А на полке в кухне тускло поблескивал лезвием огромный котлетный нож.

V

Утром, через полчаса после того, как Николай Иванович ушел в порт, Ольга Николаевна поцеловала еще спящего Дима, попрощалась с хозяйкой и, завернув в газетную бумагу пару картофельных лепешек, отправилась на биржу, сказав, что, быть может, не вернется до вечера.

Но до города она не дошла. Когда домик скрылся за поворотом дороги, она, убедившись, что никого вокруг нет, повернула обратно, но уже не старым путем, а карабкаясь все выше по сопке, которая крутым скалистым склоном нависала над домиком. Чтобы не быть слишком заметной в кустах, Ольга Николаевна сняла свой старый дождевик, от времени и приморских дождей из синего ставший бледно-голубым, почти белым.

Скоро домик выглянул снова, но уже внизу, чернея старой железной кровлей, с квадратом садика впереди него. Прячась в кустах, женщина подошла совсем близко и теперь, никем не видимая, наблюдала за собственным жилищем…

Расчет ее был чрезвычайно прост и, казалось бы, безошибочен: Ольга Николаевна думала, что хозяйка, потревоженная болтовней Димика, оставшись одна и не ожидая за собой слежки, так или иначе обнаружит место, где зарыт клад. Может быть, она захочет убедиться, цело ли золото, не вскопано ли место; может быть, просто бесцельно подойдет к нему… Пусть даже этого сегодня не случится, — Ольга Николаевна придет сюда завтра, послезавтра, через неделю… Но она добьется своего — узнает, где зарыты деньги… Она сумеет быть терпеливой!

И, выбрав место, удобное для наблюдения, Ольга Николаевна села на траву, подстелив под себя плащ. Моральной оценки того, что она затеяла, совесть ее не делала, — ни одной мысли не было об этом. Наоборот, в женщине проснулся азарт охотника, выслеживающего добычу, — темный инстинкт. Ей даже стало весело и очень спокойно, потому что в душе ее зрела крепкая вера в удачу.

Далеко в море дымил пароход, уходивший в Японию.

— Буду и я там! — прошептала Ольга Николаевна. — Буду с Димом. Буду, буду, буду!..

И женщина стала упорно глядеть на домик, словно гипнотизируя живущих в нем. Звенели кузнецы в траве, солнце, поднима-

ясь выше, начинало жечь землю, и шоссированная дорога, проложенная еще царскими военными инженерами, зажелтела атласно, словно шелковая лента. В одном месте, недалеко от домика, дорогу пересекал белый бетонный мостик, и по обе стороны его, как спичечные головки, торчали столбики. Ими, с левой стороны, дорога ограждалась от десятисаженного обрыва к морю, которое шумело внизу, темно-синее, почти черное, цвета спелой сливы.

На руке Ольги Николаевны тикали старые часики, звенели, как кузнечик: это шествовало время.

VI

Солнце поднялось уже высоко над сопками Владивостока, когда в садик выбежал Дим, и Ольга Николаевна, увидев его, подумала:

«Хорошо спал сегодня… Как поздно встал!»

Потом вышла на крыльцо и Олимпиада, и Ольга Николаевна инстинктивно подалась назад, хотя снизу ее, спрятанную в кустах, никак нельзя было заметить. Олимпиада сказала что-то Диму, и Дим побежал за нею снова в дом.

На секунду стыд бритвенным лезвием скользнул по сердцу Ольги Николаевны:

«Ведь вот, — подумала она, — Олимпиада заботится о Диме, доглядывает, а я, как сыщик, караулю ее опрометчивый шаг».

Но стыд был подавлен, ибо сейчас же всплыло в памяти носатое лицо спеца по заделыванию консервных банок, который будет ее ждать сегодня, после службы, на скамеечке у бывшего памятника Невельскому[1]. У спеца необходимо было выпросить хотя бы два червонца, — на башмачки Диму, — а это было затруднительно, ибо скупой латыш только на прошлой неделе дал ей пятнадцать рублей и предупредил, что до получки у него денег не будет…

---

[1] *Невельский (Невельской), Геннадий Иванович* (1813–1876) – мореплаватель, исследователь Дальнего Востока, адмирал. Памятник Невельскому – первый монумент во Владивостоке – открыт в 1897 г. (скульптор Р. Бах, архитектор А. Антипов). В 1922 г. с памятника снят двуглавый орел, бюст и мемориальные доски. В 1927 г., увенчанный металлической красной звездой, переименован в «Памятник жертвам революции». Восстановлен в 1960 г.

VII

В то время, пока мысли эти суетливо сталкивались в голове Ольги Николаевны, Олимпиада стояла на кухне и соображала. За десять минут до этого мальчишка, ловя на стене солнечный зайчик, опять пролепетал что-то о том, что этот зайчик золотой и его надо закопать в землю…

Вне себя от ярости и в то же время имитируя порыв нежности, Олимпиада схватила Дима с пола и так сильно прижала его к горячему жиру своих скатившихся к животу грудей, что ребенок запищал, отпихиваясь ручонками. Тогда, тяжело дыша, с потемневшими глазами, Олимпиада стала целовать Дима в ротик, и ребенок доверчиво отвечал ей на поцелуи. Потом, не выпуская Дима из рук, женщина почти упала на стул и, посадив Дима на колени, сначала легко, потом все сильнее стала сжимать рукой его нежное горлышко с артерией, пульсирующей как раз под ее большим пальцем.

Сначала Диму было приятно, и он, жмурясь, поднимал подбородок, но когда стало немного больно, он неожиданно, ловко оттолкнувшись ручонками, вырвался и убежал в сад. В этот момент его и увидела мать, прятавшаяся на сопке… Олимпиада была даже рада, что Дим убежал, — от волнения она едва не потеряла сознания.

Придя в себя и успокоившись, Олимпиада поняла, что едва не совершила безумного поступка. Безумие было не в том, что она едва не задушила ребенка, — это доставило бы ей лишь наслаждение, и, гарантируйте ей безопасность, она бы повторила все сначала, но уже с роковым для Дима концом… Не в этом было дело, — Олимпиаду устрашало наказание.

Тогда на глаза ей попал тяжелый, блестевший на полке котлетный нож, и она, достав его, взвесила на руке и представила себе, как это холодное широкое лезвие полоснет по горлу Дима… Но в глазах мелькнула струя крови, и кровь напугала женщину…

— Ох, задушила бы, ох, как задушила бы!.. — простонала она и заплакала, вытирая слезы полосатым передником. И вдруг простой и совершенно безопасный способ избавиться от ребенка был ею найден.

Утерев слезы, Олимпиада вышла на крылечко и кликнула Дима, — и это видела Ольга Николаевна и чуть было не растрогалась

заботливостью об ее сыне… Олимпиада же была теперь спокойна: садистический порыв, неожиданно опрокинувшийся на нее, был исчерпан слезами.

— Димка, — крикнула она, — ступай домой!.. Сейчас пойдем, — покажу тебе золото.

И подумала: «Будешь доволен, пащенок лягавый!»

Собственно, звала она Димика домой напрасно — могла бы и сразу вывести на дорогу. Минуты три Олимпиада все-таки медлила, бесцельно передвигая посуду на полке: собиралась с силами.

VIII

Со своей горы Ольга Николаевна увидела, как Олимпиада, держа Дима за ручку, вышла из садика, и удивилась:

— Куда же это они?

Даже встала и машинально подняла с земли свой выгоревший, почти белый дождевичок. И чем дальше от домика удалялась Олимпиада с ребенком, тем напряженнее, тревожнее становилось лицо матери. Подозрение недоброго властно захватывало ее сердце, и, уже не боясь, что ее увидят, вся на виду, Ольга Николаевна шла по горе за ними.

Дойдя — пред бетонным мостиком — до столбиков, охраняющих дорогу от обрыва, Олимпиада остановилась…

— Ну, Димка, сейчас и золото увидишь! — сказала она. — Интересное золото!

— Золотое? — поворачивая к женщине личико, улыбнулся Дим.

— Самое настоящее золотое, — хрипловато ответила Олимпиада. — Девяносто шестой пробы… Вот я камушек брошу, а ты, что есть силы, — за ним… Кто кого догонит?

И, подняв с дороги камень, Олимпиада бросила его за столбики.

Розовый, сияющий Дим, взвизгнув от радости игры, бросился за ним — в пропасть.

И одновременно с этим длинный крик, как необыкновенно высокая по тону, с ума сошедшая сирена маяка, вонзился в голубое небо, и, в ужасе подняв голову, Олимпиада увидела как бы огромную белую птицу, несущуюся на нее с высоты горы.

И Олимпиада бросилась бежать, оглашая пустынные сопки воем звериного страха и бешенства…

А белая птица, докатившись с горы до дороги, на секунду задержалась над пропастью и ринулась туда, где бездыханным кровавым комком лежал трупик Дима.

Опубл. и печ. по: Рубеж. 1932. № 39.

ДВА ПОЦЕЛУЯ

Василию Обухову[1]

I

Патроны, выданные к манлихеру, оказались от русской трехлинейки: затвор заталкивал их в патронник без приятной для руки упругости, и заряжать винтовку пришлось не обоймой, а по одному патрончику. Николашка свирепо выругался, скаля зубы от злости.

— Зачем же ты выбрал эту дрянь? — несколько сквозь зубы, но внятно сказал отец, кивнув на австрийское ружье.

Николашка ничего не ответил. Стыдно же было признаться, что в словах: манлихер, винчестер, ремингтон (есть и такая винтовка) для его двадцатидвухлетнего сознания скрывалась еще та же непреодолимая прелесть, что очаровывала его и в героях рассказов Грина и Джека Лондона. Австрийская винтовка была выбрана им за красивое свое название, и Николашка платился за свой не изжитый еще гимназический романтизм тем, что патроны к манлихеру оказались от прозаической трехлинейки.

Отец отлично понимал все это. Суховатый, даже в штатском костюме — военный, офицер, он прошел дальше, туда, где у ворот, разматывая бунты колючей проволоки, суетилось несколько служащих завода и какие-то незнакомые люди.

Уже вечерело. Красноватые от вечернего солнца, шуршали кусты за воротами, и за ними, внизу, чуть дымилась туманом скудная маньчжурская степь.

---

[1] *Обухов, Василий Константинович* (1905–1949) – поэт и прозаик, последователь акмеизма; автор сборника «Песчаный берег» (Харбин, 1941).

— Успеем приготовиться, Олег Иванович; не застукают врасплох! — весело улыбаясь, сказал отцу Николашки рыжий красавец студент Жигалов. — А нагрянь они час тому назад — чего бы было-то, а?

Толстопузый конторщик со станции, сося палец, пораненный проволочной колючкой, спросил, не вырыть ли окопчик. Подошел еще кто-то, окружили, спрашивали…

Почти все вопросы были пустяшные, нестоящие, и спрашивающие, люди пожилые и интеллигентные, могли бы и сами их решить… Но происходило то, что всегда происходит перед лицом опасности: люди, как бы зачеркивая свою волю, искали волю сильнейшую, чтобы предоставить ей право распорядиться собою.

Олег Иванович поднял к глазам бинокль, шаря им по степи. И сейчас же глаза всех, работавших над возведением баррикады, поднялись к его лицу, к его губам, ожидая, что скажет им этот человек, который как-то сам собой, не выбираемый никем, с невысказанного молчаливого одобрения всех, — становился, видимо, их начальником.

Олег Иванович рассматривал степь долго, внимательно и спокойно: привык за годы войны отыскивать врага в эти оптические стекла… И когда он опустил бинокль, и тот, качнувшись на ремешке, замер на груди, — глаза его поймали на своем лице несколько вопросительных взглядов. Но Селезнев молчал, и никто не задал ему вопросов.

Олег Иванович понял: не решаются. Так солдаты на войне молча ожидают слова начальника, не решаясь спрашивать. Родилась дисциплина, родился командир.

Олег Иванович глубоко вздохнул и вдруг, неожиданно легко для своих пятидесяти лет, спрыгнул с цементных бочек. Словно пятнадцать лет спало с плеч, словно не маньчжурская степь пылала перед ним закатом, а влажная зелень галицийских полей…

— На горизонте арбы и люди! — звонко крикнул он. — Придется, видимо, пострелять… Живо, живо, ребятки, с проволокой!

Он уже не цедил слов сквозь зубы, в чем, может быть, бессознательно выражалось презрение ко всему окружающему, столь наскучившему. Голос был крепок и звонок, — голос командира, — и этот голос говорил: «Теперь я приказываю. Слушайте меня!»

И люди задвигались быстрее, энергичнее заскребли грунт лопаты.

Николашка любовно посмотрел на выпрямившуюся, словно выросшую фигуру отца и, встретившись с ним глазами, улыбнувшись, подумал:

— Молодец, папашка… Вот парень!

Потом, под кустами подстриженной акации, у самой изгороди из колючей проволоки, Николашка опять ругал свой манлихер и завидовал Ваське Жигалову, успевшему подцепить маузер.

— Всегда и во всем мне не везет! — ворчал он. — Знаешь что, — давай, по-товарищески, стрелять по очереди…

II

Когда во дворе его завода появились первые посторонние русские, — мистер Джон Мак-Кеббл сделал такое кислое лицо, как будто проглотил хороший кусок лимона. Обуреваемый от плохих дел сплином[1], он не желал бурных впечатлений, тем более — боевых. Голосом умирающего он сказал Олегу Ивановичу, своему управляющему:

— Я совершенно не желаю воевать!

— Сэр, — ответил тот по-английски, — защищая себя, мои соотечественники защищают и ваш завод, а также и вас самих с вашей супругой…

— Меня защищает мой фляк[2]! — по-русски ответил мистер Мак-Кеббл, но без большой уверенности в справедливости своих слов: он лишь кочевряжился, и это было результатом сплина, бушевавшего в его жилах и нервах.

Олег Иванович улыбнулся.

— Так или иначе, — ответил он, — но завод уже занят вооруженными людьми. Я не имею достаточно силы, чтобы заставить их покинуть ваши владения. Что прикажете мне делать, сэр?

— Если дело обстоит так, как вы докладываете, нам остается лишь предоставить все руке Божьей, — кисло ответил мистер Мак-

---

[1] *Сплин* (англ. spleen) — меланхолия, тоска, хандра. У шотландца британского происхождения должен быть именно сплин – в соответствии с русской литературной традицией (А.С. Пушкин, И.А. Гончаров).

[2] *Фляк* (искаж.) – флаг.

Кеббл. — Прошу вас не беспокоить меня до тех пор, пока вы не сможете снова приступить к исполнению ваших обязанностей как управляющий моего завода. До свидания.

И м-р Мак-Кеббл удалился в свой кабинет, чтобы в ожидании окончания «тробла»[1] предаться тому занятию, к которому, в сущности, он только и имел истинное призвание, а именно — уставившись мутно-блеклыми глазами в угол комнаты, пить содовую воду, наполовину разбавленную виски «Белая лошадь»…

Иначе отнеслась к происходившему миссис Мак-Кеббл. Тридцатилетней Джэн давно уже надоели и муж, и завод, и унылая Маньчжурия, куда ее закинули коммерческие расчеты ее угрюмого супруга. Очень добрая, мечтательная и некрасивая, она к развертывающимся событиям отнеслась просто, как к незаурядному развлечению, о котором будет приятно написать в Лондон, своей бывшей школьной подруге.

И, вооружившись охотничьей винтовкой, а кстати уж и револьвером в желтой замшевой кобуре, миссис Джэн вышла в сад. Отсюда, подумав немножко, она направилась к южным воротам, где, хохоча и дружески переругиваясь, Николашка с Жигаловым все еще торговались из-за маузера.

А над заводом улеглась уже ночь и задавила его синей, тяжелой, влажной мглою. Над грудой заводских корпусов, похожих на строения средневекового замка, как высокая, тонкая башня, маячила лишь труба; господский дом глядел в ночь лишь тремя желтыми окнами кабинета мистера Мак-Кеббла, где он тщетно пытался вызвать на задушевный разговор белую лошадь, нарисованную на этикетке литровой бутылки. Деревья в саду покачивали вершинами неодобрительно, мрачно, словно осуждали все, что творится вокруг них.

Но Николашку душил смех. Да и нельзя было не смеяться, слушая, как Жигалов, ни слова не говоривший по-английски, коверкая русские слова на харбинский лад, словно с ходей[2], объяснялся с англичанкой.

---

[1] *Тробл*, точнее – трабл (англ. trouble) — неприятность.

[2] *Ходя* – разговорное именование русскими китайцев в Северной Маньчжурии.

— Его идут есть! — говорил он, стараясь объяснить англичанке, что хунхузы полковника Ли уже подходят к воротам. — Ваша ложись надо… Понимай?

И он за юбку тянул барышню книзу.

— Уот?[1] — громко спросила англичанка, словно икнула.

— Ой, умру! — прыснул Николашка. — Да ну тебя! Миссис, сит даун, плиз[2]. Компреней ву?[3] Сит даун!..

Он мобилизовал все свои знания иностранных языков, и миссис Джэн наконец поняла, чего от нее хотят, и опустилась на колени. Васька и Николашка отодвинулись друг от друга и дали ей место между собой. Затем молодые люди постарались объяснить, что ствол винтовки надо подать вперед и положить удобно на проволоку. Однако англичанка скоро и сама разобралась в обстановке и, ловко примостившись, сказала по-английски, что она видит кусты и будет стрелять, как только хунхузы выползут из них на полянку перед воротами.

Слов ее ребятки не поняли, но уверенные движения англичанки и ее спокойный голос, который она так и не снизила до шепота, — им понравились.

— Кажется, толковая баба! — сказал Василий.

— Тише ты, черт! Еще поймет! — строго оборвал его Николашка и похвалил соседку, одобрил:

— Вэри гуд[4], миссис!

От англичанки пахло духами, очень приятными, нежными, вероятно, дорогими. И запах их, смешиваясь с запахами сада, цветов и травы, так сильно благоухавших в эту сырую августовскую ночь, — был удивительно трогательным.

Он заставил Николашку вспомнить о Раисе, девушке из Харбина, о которой знакомые безразлично говорили: «Ничего себе, славненькая!» Николашку же это добродушное безразличие доводило до ярости и желания драться, потому что в серых ласковых глазах девушки он видел и небо с ангелами, и землю с океанами и пароходами, землю, на которой можно жить, как жили герои

---

[1] Что? (*англ.* What?).

[2] Садитесь, пожалуйста (*англ.* sit down, please).

[3] Понимаете? (*фр.* Comprenez-vous?).

[4] Очень хорошо (*англ.* very good).

Грина и Джека Лондона, — мужественно, отдавая свою кровь за любовь женщины и друга.

И однажды, когда Раиса позвала его в сад — взглянуть на расцветший розовый куст, и они сблизили лица, — Николашка поцеловал ее в щеку… И это мгновение было райски благоуханным, ибо с запахом цветка юноша вдохнул и сладкий, кружащий голову запах девичьей кожи.

Потом Раиса вышла замуж за француза, чернявого, франтоватого, имевшего в городе много дешевых любовниц, за тонконогого развратника. И Раиса исчезла для Николашки, но оставила в сердце боль, как от ожога, — саднящую, противную. Николашка не мог простить Раисе, что она такая ничтожная, что она не поверила в него, в его силу, в его гордую молодость и, как кельнерша из кафе, поволоклась за разглаженными брюками француза.

И Николашка стрелялся. А когда очнулся в больнице — увидел в ногах кровати сухую, до остроты прямую фигуру отца, увидел его худое лицо со сжатым ртом и услышал издалека прилетавшие, похожие на птиц, клюющие сердце слова:

— Промахнулся, мальчик, на сантиметр… Рад жизни?

— Рад! — прошептал Николашка.

— Значит, будешь жить…

III

Кричала ночная птица, словно женщина вскрикивала: высоко, тонко, плаксиво. Перебирал ветер листву, листик к листику, словно считал. Николай отмахнулся головой от воспоминаний и от духов англичанки. Отодвинулся и стал глядеть вперед.

«Почему не Раиса сейчас со мной, а эта чужая женщина? — горько подумал он. — Ах, как было бы хорошо, как дивно было бы! Хоть бы Раиса сейчас подумала обо мне!..»

Но Раиса не думала о нем. Она сидела на террасе харбинского ресторана, за которой сияла отражением огней многоводная река. Раиса отхлебывала из рюмки, в которой тяжело желтел коктейль. Раиса ждала, когда заиграет оркестр, чтобы идти танцевать с французом…

А к кустам, с той стороны, из степи, подходили люди. Они шли осторожно, стараясь мягко ступать своими кожаными улами[1], стараясь тише дышать. В руках они несли винтовки, наклоненные вперед, и стволами раздвигали мокрые от росы ветви кустов. Люди эти были голодны и злы и верили в то, что молитва, начертанная иероглифами на их нагрудниках, делает их бессмертными, что даже если сердце будет пробито пулей — они все же воскреснут, встанут с обагренной их кровью травы еще более крепкими, сильными, мужественными.

Их вел полковник Ли, мятежник, сорокалетний человек со шрамом через всю щеку.

Ли не верил в бессмертие, Ли был образованным китайцем, учившимся в Париже… Ли знал, что он скоро погибнет, а от пули или от меча палача — не все ли равно! В его душе звенела пустота огромной безнадежности, и потому был он бесстрашен и вел за собой других мятежников…

Выйдя из кустов на поляну, он встал во весь рост. Он знал, что за этими воротами враг, ненавистные «ламоза»[2], презираемые «ламоза», оружие которых он не удостоит того, чтобы склонить свой могучий стан. И он закричал что-то своим людям, и в этот миг зоркие глаза Николашки разглядели его и взяли на мушку. И трехлинейная пуля, слишком свободная для ствола манлихера, снесла половину желтого черепа мятежного офицера.

Собственно, это было уже победой. Ожесточенный, но бестолковый огонь из кустов говорил лишь о панике. Мятежники, стреляя, отходили влево, к отряду, атаковавшему другие — северные ворота…

Но толстопузый конторщик, сидевший на фланге, испугался и закричал:

— Обходят, обходят!.. Влево подаются!

В кустах вспыхивали огоньки. Пули, как хлысты, секли воздух с визгливым свистом. Около левого уха Николашки методично стукали выстрелы англичанки — неторопливые, выдержанные. Следуя стволом за уходящими влево вспышками выстрелов противника, — она прижалась к юноше и перекинула правую ногу через его левый сапог.

---

[1] *Улы* – обувь из оленьей или лосиной шкуры, сшитая мехом внутрь.

[2] *Ламоза* (лаомаоцзы, кит. – волосатик) – китайское разговорное название русских.

— Какой молодец! — с восторгом подумал Николашка о соседке. — Ах, какой молодец!.. Вот — женщина! Каким другом она может быть!.. Ах, Раиса, Раиса! — снова, с острой болью вспомнилось ему.

— Обходят, обходят! — кричало уже несколько голосов. — Обходят же… Селезнева, Глеба Ивановича упредить надо!

И умело завернутая русская брань подкрепила фразу.

— Бегу! — басисто крикнул Николашка, вскакивая. — Бегу, ребятки. Держись!..

Но свистящий хлыст резнул его по плечу и опрокинул на пахучую, росистую траву. Николашка упал, широко раскинув руки, и англичанка, повернувшись к нему, спросила по-английски:

— Что с вами? Вы ранены?

Николашка молчал, и англичанка, взяв в руки его голову, мокрую от росы и такую тяжелую, положила ее себе на колени. И когда миссис Джэн дотронулась до шеи Николашки, — ее пальцы, захолодевшие от ружейной стали, ощутили горячую, липкую, пульсирующую струйку. Но она без брезгливости зажала ладонью рану, стараясь удержать кровь и в то же время понимая, что это бесцельно.

И она по-русски сказала людям, склонившимся, чтобы поднять отяжелевшее тело юноши:

— Не надо… Николяш все равно плох.

И — по-английски:

— Он умирает. Перебита артерия, а доктора здесь нет.

Но Николашка открыл глаза, — ах, как тяжело было поднимать веки! — но ничего не увидел, не понял уже ничего… Только показалось ему, что он на качелях, и они плавно поднимают его так высоко, что захватывает дух, и так же плавно опускают в темную, холодную глубину. Это, с каждым толчком сердца, кровь уходила из тела. Но где-то, между взлетом и падением, сознание все же уловило запах духов, сладкий и томный…

И Николашка сказал, простонал длинным стоном, — англичанке показалось, что сиреневый дымок отлетающей души поднялся с его губ:

— …аиса, поцелуйте меня, пожалуй…

«Аиса» с этим растянутым, изнемогающим, умирающим «С» англичанка приняла за «миссис». Русское слово «поцелуй» она

знала, ибо, несмотря на свою некрасивость, была женщиной, и первые русские фразы, которые она выучила, были: «Я люблю вас» и «поцелуйте меня». Ей было забавно обращаться с ними к унылому мистеру Мак-Кеббл, который давно уже, однако, не целовал ее ни по-русски, ни по-английски.

И добрая мужественная женщина не отказала своему соратнику в невинном поцелуе под поникшими от тяжести росы ветвями кустов, под мутно-светлеющим небом, под печальными взглядами вооруженных винтовками мужчин чужой ей страны. Она заплакала, эта англичанка. Ведь смешливого «Николяш», сына управляющего их завода, она немного знала; и она приблизила свои губы к его холодеющим, раскрытым губам, безнадежно ловившим последний глоток воздуха.

И это был первый поцелуй, которым прикоснулась к Николашке женщина. Ответить на эту ласку он уже не мог. И он умер.

V

Знаете ли вы, что такое — потерять любимого? Это — слезы и реки слез, если теряющий малодушен; это — голова, бьющаяся о камень стены; это — вопль длинный и высокий, от которого содрогаются даже плечи.

Но это — сжатые губы и огненный уголь в сердце, когда теряющий мужественен. Это — молчание и запавшие глаза, которым что-то мешает смотреть в шестикратный бинокль Цейса, хотя стекла его протерты замшей и фокусное расстояние развинчено правильно…

— Да! — сказал Глеб Иванович. — Так!.. Смерть ему была написана от пули.

Острая боль прыгнула от сердца к горлу и осела там колючим клубком, свитым из терновника. Глеб Иванович крепко сжал глаза, чтобы осушить их, и снова взглянул в Цейс. Теперь стало видно хорошо. А была видна маньчжурская степь, на десять верст открывающаяся из чердачного оконца завода. Вот — поля свекловицы, вон, на горизонте, — китайская деревушка и несколько куп деревьев над нею. А справа — река, поворачивающая свою серебряную ленту за отлогий холм. А на холме?..

На нем люди, цепи… А что перед ними? Арбы? Нет!

Глеб Иванович подкрутил винт бинокля до предельной резкости и понял: танки или бронированные автомобили. А над ними огромные, горделиво развевающиеся белые флаги с красной сердцевиной: приближается японский отряд, — завод спасен.

И только теперь, поняв, что он больше не нужен тем, кто укрывается на заводе и кого укрывает завод, — Глеб Иванович бессильно опустился на печной боров, чтобы в кипящих слезах отчаяния расплавить стальные крючья горя, впившиеся в его уже стариковское сердце.

Опубл. и печ. по: Рубеж. 1932. № 44.

БОЛЕЗНЬ НИНЫ ПАВЛОВНЫ

I

Когда первые комья земли гулко грохнули о крышку гроба, Нина Павловна вскрикнула, откинулась назад и, подхваченная окружающими, упала на их руки. В карете автомобиля она пришла в себя, и вновь в ее душе повторился этот ужасный звук удара земли о пустоту, о страшный ящик гроба, в котором, скрестив руки на груди, лежит дорогой человек… И Нина Павловна снова залилась слезами.

Те, кто везли ее, давали ей нюхать спирт, от бьющего запаха которого она откидывала голову назад, что-то, утешая, говорили ей, а дома пришел доктор, сделал Нине Павловне укол морфия, и она заснула.

Проснулась Нина Павловна поздно ночью, проснулась страшно слабая, обо всем забывшая. И снова, откуда-то из глубины их большой квартиры, принесся, хлынул в душу женщины ужасающий звук, опрокинувший ее днем, и из тьмы, как из могильной ямы, засеребрилась крышка гроба, на которую лился поток черной земли.

И с ясностью необыкновенной, с четкостью фотографической Нина Павловна увидела, как мертвый ее Сережа лежит под нависшей над его лицом гробовой доской, как он, разбуженный ударом земли по этой доске, медленно открывает глаза и ищет глаз жены

тем укоризненным взглядом, которым он стал смотреть на нее, Нину Павловну, после того дня, когда понял, что болезнь неизлечима, что он должен скоро, очень скоро умереть.

И это было все, о чем Нина Павловна помнила, о чем она на другой день могла рассказать родным и доктору… Когда на ее крик перепуганные домашние вбежали в спальню, они нашли Нину Павловну, бившуюся в истерическом припадке, на ковре около кровати. Несколько успокоившись, молодая женщина пыталась что-то рассказать, объяснить, но речь ее была так бессвязна, что домашние ничего не могли уяснить и заметили лишь, что Нина Павловна боится даже называть по имени своего покойного мужа и говорит о нем, как простонародье о нечистом, в третьем лице: «он».

Никто так и не понял, что же, собственно, напугало Нину, никто, кроме Аграфенушки, шестидесятилетней старушки, выкормившей и вынянчившей молодую барыню. Старуха вдруг охнула, закачала седой головой, разлохмаченной от ночной беготни за водой и мокрыми полотенцами, а потом, когда все перешли из спальной в столовую и, не расходясь по комнатам, стали шептаться о припадке, — Аграфенушка вдруг появилась с бутылочкой святой воды в руках и стала кропить ею порог и дверь в комнату «выкормышки».

— Стало быть, Сергей Александрович приходил! — мрачно бормотала она, сгорбленная, похожая на ведьму. — Стало быть, так, не иначе! Обязательно надо завтра молебен отслужить — так ведь и замучить он Нинушу может… Свят, свят, свят, да воскреснет Бог и расточатся все врази его!..

И никто из домашних не возражал против таинственных действий старухи, никому не показалось странным, что кроткий Сергей Александрович, которого все так искренно жалели и чью смерть от сердца оплакали, вдруг превратился в духа вредоносного и страшного, против которого надо было применять эти жуткие заклинания.

А старушонка уже рассказывала об одном покойнике, который (Аграфенушка-то тогда еще молода была, девчонка совсем) каждую ночь прилетал к своей вдове в виде огненного змея и совсем было замучил бабенку, если бы не надоумила мужиков одна старушка — вбить в могилу осиновый кол.

И все — барышни Валя и Сима, студент Павлик, Марья Степановна и даже Илья Павлович, старший брат Нины, юрист, — все они, ежась в халатах от жути и ночного холода, недоверчиво поглядывая на дверь в гостиную, где еще вчера стоял гроб с мертвецом, покорно слушали зловещий шепот старухи.

А в спальной, на широкой кровати, на краешке ее, боясь того места, которое занимал живой Сергей Александрович, — беззвучно плакала молодая вдова.

Комната посерела от рассвета. И вместе с его первыми лучами прошел страх. Ах, как Нина Павловна стыдилась теперь своего припадка, своего испуга! Она кляла себя за него, называя свою болезнь позорной и отвратительной. Как смеет она гнать своими истериками кроткую тень покойного мужа, если бы тень эта и вправду покинула холодную, ужасную могилу и появилась здесь. Ведь Сережа вернулся к *себе*, в ту комнату, где он спал вместе с ней, Ниной Павловной, своей любящей и любимой женой! Как позорно бояться, отвергать его, гнать его снова в холод могилы, под нависшую над его лицом гробовую крышку! И все-таки Нина Павловна знала, что она не останется больше в этой милой и в то же время ужасной комнате, где она впервые отдалась мужу и из которой его унесли на стол в гостиной.

II

Так началась болезнь Нины Павловны.

Припадком этой ночи душа ее оказалась как бы разрезанной на две половины. Одна из них — и в ней была прежняя Нина Павловна — укоряла и порицала новую душу, отделившуюся от прежней и заживщую самостоятельной, враждебной жизнью. Прежняя душа говорила: «Как можешь ты бояться тени человека, который так тебя любил и которого сама ты искренно любила? Ну не позорно ли это, не стыдно ли? И чего боишься, чего пугаешься ты по ночам? Разве можешь ты верить в то, что мертвецы встают из своих гробов и ходят по ночам, чтобы терзать живых? Подумай, как нелеп твой страх, и разве не стыдила бы ты сама ребенка, который проявил бы такого же рода боязнь?..»

— Да, да! — печально соглашалась женщина. — Все, что ты говоришь, совершенно верно. Мне мучительно стыдно, что я могу бояться Сережи; я сама не знаю, откуда поднимается страх, но он сильнее меня, сильнее воли моей и моего разума.

Бедной женщине казалось иногда, что ее душа больна гангреной, что она наполовину сгнила, почернела, и страх таится именно в этой отмершей части души. Со страхом, посылаемым ею, невозможно было бороться рассуждениями, доводами, потому что с ним в мозг не проникало никаких мыслей, плыли лишь обрывки каких-то образов, ощущений, может быть, виденных и испытанных еще в детстве, может быть, когда-нибудь лишь приснившихся.

И, пытаясь разобраться в своих переживаниях, докопаться до основы их, увидеть то, что кроется за страхом, что взращивает его, Нина Павловна добиралась лишь до чрезвычайно смутного *нечто*, до уверенности, что это нечто таится где-то поблизости, подкрадывается и по ночам готово вот-вот обрушиться и задушить. И за всем этим, над всем этим был опять страх.

Стоило Нине Павловне проснуться ночью, как сейчас же в ее душе появлялось ощущение присутствия в комнате мужа, возникал страх, и женщина будила криком кого-нибудь из тех, кто теперь должен был спать в ее новой спальне. Прежнюю, где умер муж, доктор велел ей оставить.

Затем у Нины Павловны появился *страх перед страхом* — боязнь того, что она вдруг испугается, и болезнь стала быстро прогрессировать. Нина Павловна не решалась уже оставаться одной в комнате даже днем: страх совершенно парализовал ее волю, все движения ее души протекали под вызванной им депрессией. Пошатнулось и физическое здоровье.

Молодую женщину стали серьезно лечить, но лечение не приносило пользы. Как бы ни называли врачи ее болезнь, каких бы новомодных наименований ни выкапывали они из своих журналов для обозначения ее недуга и каких бы средств ни применяли, — ничто не помогало. Да и сама Нина Павловна чувствовала, что не туда, куда следует, направлено их усердие, не во впрыскиваниях дело, не в обтираниях и не в режиме, который врачи ей предписывали, что надо лечить самую душу, ее сокровенные глубины…

Но врачи лишь снисходительно улыбались на ее слова и объясняли, что дело не в душе, а в том, что в ее крови и в нервной ткани нет такого-то нужного вещества, и достаточно будет Нине Павловне попринимать вот этого нового лекарства, как нужное вещество появится, и все как рукой снимет.

И все-таки врачи, сколько ни было их, не помогли, и Нина Павловна, измученная своею болезнью, стала думать о самоубийстве.

— Хорошо! — говорила она, мысленно обращаясь к тени Сергея. — Пусть будет так. Если ты хочешь, чтобы я умерла, если ты не можешь простить мне того, что я живу, когда ты лежишь в могиле, — я умру. Мы будем лежать вместе, наши гроба поставят рядом…

Но это решение, которого требовала отмершая половина души, вызывало бурный протест со стороны половины еще здоровой.

— Разве ты виновата в том, что живешь, а он умер? — кричала эта половина души. — Разве ты желала смерти Сергея? Зачем же ты должна губить себя, молодая, красивая, добрая? Губить себя в угоду гниющему трупу!..

И тогда в сердце Нины Павловны начинала шевелиться ненависть к покойному мужу; женщина ощущала его демоном, угнетающим и страшным. В одно из таких мгновений она схватила фотографический портрет Сергея и разбила его, в ярости бросив на пол.

Этот поступок Нины Павловны очень напугал домашних. Они сочли его за признак начавшегося буйного умопомешательства и стали серьезно подумывать о помещении больной в специальную больницу.

В этот день Аграфенушка была особенно ласкова с Ниной Павловной и даже всплакнула над ней, что делать ей было строжайше воспрещено.

— Голубушка ты моя бедная! — причитала она над своей выкормышкой, гладя ее по волосам. — Не дам я тебя в обиду, ой, не дам больше покойнику мучить тебя! Есть средство. Согрешу, сделаю!..

И ушла, отпросившись к знакомой старушке, но, уходя, улучила минутку и шмыгнула в комнату, бывшую раньше кабинетом Сергея Александровича, на которую теперь усиленно метил Павлик…

Все в этой комнате осталось еще как было и прежде… Большой письменный стол сиял бронзовым прибором, слева лежали книги

и папки, и на них огромный карандаш — карандаш-чудовище, кем-то подаренный покойному.

Старуха перекрестилась, прислушалась и решительно шагнула к письменному столу.

III

В этот день, как всегда теперь, отобедали молча, угрюмо. Происшествие с портретом испугало всех не на шутку, и Марья Степановна, всегда, между прочим, недолюбливавшая красивую Нину, уже намекнула родным, что «псих» золовки переходит, вероятно, в настоящее сумасшествие, и, следовательно, надо поторопиться с разрешением вопроса о санатории.

И вот, за обедом, Валя и Сима с нескрываемым испугом посматривали на сестру, одиноко сидевшую на противоположном конце стола, Илья же Павлович, пытавшийся, с целью поднять настроение обедающих, шутить и рассказывать анекдоты, делал это так неудачно, что больная скоро поняла причину всеобщей натянутости и, крикнув:

— Вы, господа, ведете себя так, точно я сумасшедшая!.. Могу избавить вас от своего общества! — швырнула салфетку на стол и убежала в свою комнату.

Все молча переглянулись.

— Да, кажется, надо ее в больницу… Она становится совсем невозможной! — вздохнул Илья Павлович. — Что поделаешь, жалко, но надо…

— Я же давно говорила. Там ей лучше будет, — напомнила Марья Степановна мужу свои недавние речи. — Не навсегда же!

И, обращаясь к Симе, сказала:

— Поди, посиди с ней. Сейчас, верно, опять кричать начнет.

IV

Но, к удивлению всех, Нина Павловна на этот раз отослала сестру, пожелав остаться одна.

— Опять причуды! — пожала плечами Марья Степановна. — Не сделала бы чего над собой… Надо присматривать.

Но она опасалась напрасно. В этот день Нина Павловна была далека от мыслей о самоубийстве — ее болезнь подошла к переломному моменту, обозначился кризис.

Темный страх, в течение всех этих недель наполнявший все ее существо, вдруг, после выходки с портретом покойного мужа, сменился новым страхом, уже не темным, непонятным, а вызванным теперь реальной причиной, опасением за себя самое, сознанием отчаянности своего положения. За всем этим стояло страстное желание освобождения, исцеления.

И как кризис телесной болезни сопровождается резким повышением температуры тела, так и этот, несомненно, наступивший кризис болезни душевной был сопутствуем своеобразным явлением: приступом сильнейшей ненависти к покойному мужу, столь мучительно терзающему ее из-за гроба. С наслаждением мщения вспоминала Нина Павловна предсмертные страдания мужа, с отвращением — его беспомощность, нуждавшуюся в самых некрасивых услугах с ее стороны, вспомнила все это и поняла, что в укоризненном взгляде умиравшего мужа не было ничего, кроме зависти и злобы к ней, здоровой, молодой, красивой, остающейся жить.

И снова земля грохнула о крышку гроба, но теперь этот звук не испугал уже Нину Павловну. С гримасой злобы на лице она вскрикнула:

— И слава Богу! Умер — и конец!

И, откинувшись на подушки, почти мгновенно заснула, и сон ее теперь был освежающим сном больного, только что справившегося с болезнью.

Проснулась Нина Павловна часа через два и с радостным удивлением почувствовала, что душа свободна, что в ней нет и следа от того, что столько времени угнетало ее и терзало. Больше того, об этом, так тяжело заполнявшем душу, теперь трудно было даже вспомнить, как о мучениях зубной боли уже через пять минут после того, как она прошла. В первый раз за много дней Нина Павловна поднялась с постели легко, без вздохов, без тоски в теле и подошла к туалетному зеркалу. Из его овального оконца на нее глянуло исхудавшее лицо, но глаза на этом лице светились, блестели.

Потом, все еще наслаждаясь ощущением покоя и свободы, возвратившимся в душу, она снова легла на кровать и взяла с ночного

столика книгу, которую утром прислали из библиотеки. И первые же строки английского романа заинтересовали ее так, словно были написаны именно о ней…

V

…По обычаям племени, после смерти Каталу жена его Аула, оплакивавшая мужа и прикасавшаяся к его трупу, была объявлена табу и на семь дней заключена в хижину, выстроенную нарочито для запрещенных на противоположном берегу реки. Вода считалась преградой: дух Каталу не смел переправляться через нее и не мог, следовательно, вредить бывшим односельчанам.

Теперь, завистливый к тем, кто наслаждается жизнью, он мог мучить только Аулу, если она не будет соблюдать всех правил запрещения. В течение многих месяцев, чтобы обезопасить себя от духа мужа, вдова не должна была брать пищу руками, ибо руки ее были осквернены прикосновениями к трупу. Кроме того, она не должна была, даже в мыслях, произносить имя мужа, а если мысли о нем все-таки появлялись, она могла называть покойника лишь в третьем лице: «он».

Как собака, ложась на живот, Аула хватала пищу прямо ртом, — лишь через семь дней ей будут протягивать ее на длинной палке. Но и это было еще не все. Спать Аула должна была на ложе из ветвей терновника, чтобы дух ее мужа побоялся бы острых колючек и не возлег бы с ней ночью; а чтобы он не набросился на нее, когда она выйдет из хижины, ее бедра были опоясаны своеобразными «панталонами» из очень крепкой сухой травы.

В течение этих семи дней Аула только в сумерках может выходить из хижины, чтобы избежать случайных встреч с кем-нибудь из односельчан, ибо, если она увидит мужчину ближе, чем на тридцать шагов, — смерть ей от духа Каталу. Вечером, идя к реке, чтобы напиться, Аула должна стучать палкой по стволам деревьев, предупреждая всех, что идет женщина табу; и от ударов ее палки засыхают деревья.

И Аула строго выполняла все запреты.

Правда, днем она не испытывала особенных неприятностей от своей изоляции: днем она или спала, или, сквозь щели в плетеных стенах своей хижины, наблюдала за жизнью деревни. Днем Аула даже иногда улыбалась и думала о том, кто же из односельчан

возьмет ее в жены, когда кончатся сроки табу. Ведь ей было только четырнадцать лет, и мужчины при жизни старого Каталу всегда жадными глазами посматривали на ее приподнятые груди и круглый живот. Днем было бы совсем неплохо, если бы не запрет касаться руками головы, волос, а голова ужасно чесалась от насекомых.

Но здесь Аулу выручила догадливость: женщина нашла острую ветку, высунувшуюся из плетенки стены, и с наслаждением драла ею зудящую кожу на темени…

Да, днем было, в общем, сносно, но ночью, когда смолкали крики попугаев и обезьян, когда лес наполнялся таинственными, осторожными звуками, — на Аулу нападал обезволивающий, потный ужас. Женщина знала, что дух Каталу вышел теперь из чащи и бродит вокруг хижины, пробует, приперта ли дверь изнутри колом, и мертвыми пальцами, на которых отросли уже когти ягуара, подкапывается под стены.

И Аула начинала еженощную беседу с мертвецом:

— Почему ты ненавидишь меня? — спрашивала она, не произнося запрещенного имени. — Что я сделала тебе? Чем заслужила я твой гнев? Не я ли до последнего твоего вздоха усердно трудилась для тебя и исполняла каждое твое желание?

Но Каталу молчал, иногда тяжко вздыхал, иногда свистел, как большая змея, или выл, как гиена.

И опять говорила Аула:

— Даже табу не побоялась я! Я не оставила тебя даже мертвого, осквернив себя плачем по тебе и прикосновениями к твоему дурно запахшему телу. Почему же ты ненавидишь меня?

И Каталу отвечал:

— Ты желала моей смерти, скверная Аула! Когда я просил пить, когда я просил тебя отгонять от меня москитов, ты говорила про себя: «Я ненавижу тебя, Каталу, я очень устала от тебя, почему же ты так долго не умираешь?»

— Я никогда не говорила этого! — уверяла мертвеца Аула. — Я не говорила этого даже про себя. Это дурной дух иногда вселялся в меня и шевелил моими мыслями. Я не виновата в этом!

И до зари говорили так женщина и мертвец, до первых криков попугаев и обезьян, и лишь после того, как скрывался в чащу дух Каталу, Аула засыпала на своем вдовьем терновом ложе.

В шестой, то есть — предпоследний день своего заточения, уже под вечер, Аула, сквозь щели в стенах хижины наблюдавшая за жизнью деревни, увидела, что молодой Тодду, тот самый, которому белые охотники подарили ружье, стреляющее пять раз подряд, неустрашимый Тодду, помогавший чужестранцам ловить ягуаров и пантер, — переплывает в челноке реку и все время поглядывает на ее хижину. Так как до Тодду было во много раз больше, чем тридцать шагов, то женщина могла любоваться красивым охотником, не боясь нарушить запрета табу.

— Тодду тоже всегда смотрел на меня! — не без удовольствия подумала Аула. — Он очень красив, особенно когда надевает белую курточку и головной убор из пробки, которые подарили ему белые. Я была бы очень рада, если бы он взял меня в жены… Но куда он спешит, когда скоро уже вечер и на этом берегу бродит «его» дух?

Когда стемнело настолько, что не стало видно деревни, скрывшейся в тумане, поднявшемся над рекой, но ночь не пришла еще окончательно, и зверье не полезло еще из всех своих нор и берлог, — Аула вышла из хижины и направилась к реке, чтобы напиться и запастись водой. Сосуд для воды она подняла с земли зубами и так понесла его, постукивая палкой по стволам деревьев.

И все-таки Тодду появился перед женщиной, неожиданно выйдя из-за дерева, и Аула упала перед ним ниц. Она увидала его рядом с собою и, следовательно, должна была теперь умереть.

— Ты погубил меня, Тодду! — сказала Аула.

— Неправда! — ответил Тодду. — Ты не умрешь! Я верю белым, а они не боятся табу. Они ничего не боятся, и я тоже у них научился быть храбрым. Не боюсь я и духа Каталу. Видишь, здесь, на его стороне реки, я произношу имя твоего мертвого мужа, а он даже не отзывается.

— Ты погубил меня, Тодду!

— Не дрожи так и встань. Все равно ты уже видела меня. Я дотрагиваюсь до тебя и становлюсь тоже табу. Я проведу с тобой в хижине всю эту ночь. С первыми криками дневных птиц я покину тебя, поплыву к белым, ты же в полдень вернешься в деревню. Когда я возвращусь, я привезу для тебя много прекрасных вещей и после возьму тебя в жены. Идем!

— Ты погубил меня, Тодду! Он ждет нас в запрещенной хижине и растерзает меня.

— Я прогоню его моим ружьем, которое на двести шагов убивает пантеру!

— Я не могу идти, Тодду, я уже в смертном поту. Он мстит мне за то, что ты приглянулся мне еще при его жизни, и, подавая ему, больному, пищу, я однажды пожелала, чтобы он поскорее умер. Ты погубил меня, Тодду, — ты не подождал одного дня!..

Тодду поднял Аулу на руки и испугался ее неподвижной, неживой уже тяжести — так тяжел становится человек только тогда, когда из него уходит душа. И храбрый Тодду подумал, что что́ бы ни говорили белые, а вот на его глазах умирает женщина, нарушившая табу, и теперь уже два духа будут мстить ему, и, наверно, умрет и он, если не бросит сейчас же Аулу, не побежит скорее к челноку, чтобы, сгибая весло, плыть на факторию белых, у которых есть огненная вода, прогоняющая страх, и прозрачные сосуды, заключающие в себе маленькие солнца, от лучей которых бегут духи и тьма…

* * *

Дальше Нина Павловна читать не стала, не могла читать дальше… Весь роман не мог ей дать больше того, что дали эти две страницы, прокричав ей, что то, что убило Аулу, могло легко убить и ее, что в ее душе, душе культурной женщины, таилась та же самая тяжелая полночная жуть, что и в робком сердце несчастной дикарки. Бороться с этой жутью так же тяжело в этой комнате с электрической проводкой и паровым отоплением, как и в тростниковых хижинах африканской деревушки…

Скрипнула дверь. Это вернувшаяся Аграфенушка любопытствовала, как чувствует себя ее доченька. Старушка подкатилась к кровати довольная, сияющая…

— Поспала, говорят? — зашептала она, припадая губами к щеке любимицы. — Не боялась одна, вот и умница! Теперь уж не будешь больше пугаться, вот тебе мое верное старушечье слово!

— Не буду! — тоже почему-то шепотом ответила Нина Павловна, обнимая старуху и счастливо закрывая глаза. — Я так, Аграфенушка, сама себя теперь стыжусь!..

VI

В конце мая Нина Павловна, в первый раз после похорон, поехала на могилу мужа. На кладбище было хорошо — тихо, солнечно; над могилами порхали белые и желтые бабочки. Веселая, легкая, радостная, вся в белом, Нина Павловна и сама была похожа на одну из этих бабочек, порхавших над могилами. От того, что принесла с собой болезнь, не осталось и следа, — как гроза нахлынула, как гроза пронеслась.

Вот и голубая ограда вокруг могилки Сережи, в ограде скамеечка. Как хорошо будет приходить сюда, чтобы тут погрустить, подумать о большом, вечном, может быть, поплакать у этого креста, на сером камне которого сияют золотые буквы: «Инженер путей сообщения Сергей Александрович Калязин. — Спи спокойно, милый, любимый муж!..» Да, как хорошо здесь, как тихо и спокойно. И прокрадывается мысль: как, должно быть, интересна со стороны она, Нина Павловна, загрустившая над этой нарядной могилой.

Но могила сегодня не особенно нарядная. Дождь, прошедший этой ночью, размыл немного холмик, и один из горшков с цветами вот-вот упадет набок…

— И как только я могла бояться его, моего милого Сережи! — удивляется Нина Павловна, наклоняясь к могиле, чтобы поправить цветы. — Совсем, совсем как та жалкая дикарка из английского романа…

И вдруг ее рука касается странного предмета: из желтой земли высовывается коричневый конец какой-то не очень толстой палки, может быть, трости… Что это такое?

— Господи Боже! — холодеет Нина Павловна. — Ведь это же тот самый огромный карандаш, который кто-то подарил Сереже незадолго до его смерти… Огромный, больше, чем в аршин… Еще Сережа так смеялся, показывая его мне… Потом его спрашивал и искал Павлик, но карандаш пропал…

Эти мысли вихрем проносятся в голове молодой женщины, и вот она, осмысливая нечто, бледнеет и беспомощно опускается на скамью. Она вспоминает последний день своей болезни, таинственное путешествие Аграфенушки к знакомой старушке, свое внезапное исцеление и многозначительные уверения возвратившейся старухи, что никаких страхов больше не будет.

— Надо вытащить, надо сейчас же убрать! — побелевшими губами шепчет Нина Павловна. — Ведь это — то же, что и осиновый кол. Боже мой, какой ужас, какой позор!..

Но воспоминания о страшной, только что переборенной болезни всплывают в памяти, и она отдергивает руку от вбитого в могилу карандаша, словно от опасного предмета, могущего обжечь, убить. А через минуту Нина Павловна встает, крестится, выходит из ограды и торопливо идет по аллеям к воротам кладбища. Больше она никогда не придет к этой могиле.

Опубл. и печ. по: Рубеж. 1933. № 22. С. 1-2, 4-6, 10-12.

РУКОПИСЬ ПРАДЕДА

> Смерть как будто обнажает любовь, снимая то, что скрывало ее, и всегда огорчаешься, жалеешь, удивляешься, как мог так мало любить.
>
> *Лев Толстой*

Перебирая в шкатулке какие-то лоскутки, мотки разноцветной шерсти и прочую стародевическую дребедень, Ольга Семеновна зацепила ниткой за крошечную кнопочку на внутренней стенке шкатулки, сердито сжала губы и нетерпеливо потянула нитку к себе. Нитка, правда, оборвалась, но и кнопка, никогда до сего времени не замечаемая, вдруг подалась со своего места, и дно шкатулки приподнялось и обнаружило тайничок.

— Ах! — испуганно вскрикнула Ольга Семеновна. — Господи!.. Господа, идите, идите сюда! Боже мой, там что-то есть!

Прибежали все: и Кока, и Валя, и даже Дуняша из кухни. Кока первый пришел в себя, все сообразил и сурово сказал:

— Нечего ахать. Давайте-ка! Нет ли там бриллиантов…

Старинная, карельской березки, сработанная еще крепостными руками, прадедушкина шкатулка быстро была опорожнена, и на дне ее, освобожденном от тряпочек, пуговиц и катушек, свободно зажелтело нечто — сверток или бумага, — что много десятилетий ревниво хранил тайничок.

Крепкие Кокины ногти заскребли о днище и извлекли из тайничка несколько четвертушек бумаги, сшитой в тетрадку. Кока, Валя и Дуняша сунули носы в шкатулку, но на дне ее, ровном, темно-коричневом, было пусто. Лишь в ноздрях защекотало от пыли, пахнуло запахом, напоминающим засушенные цветы. Тогда, явно разочарованные, все занялись тетрадкой, с трудом разбирая выцветшие строки, почти такие же желтые, как и бумага: чуть-чуть темнее, коричневатее… Строки, писанные еще гусиным пером.

Ясна, бесспорна была лишь подпись, искусная, вся в мудрых завитушках. И дети сказали:

— Прадед. Должно быть, дневник…

Потом пришел я. Мне рассказали об открытии. Как человека газетного, бывалого, попросили посмотреть рукопись — не представляет ли какой-нибудь исторической ценности: прадед-то, мол, служил при Николае Павловиче в гвардии и знакомства имел обширные. За всеми этими словами я угадывал другое. Коке нужно было платить за ученье, Валя же вторую зиму ходит в таком пальто, что даже Дуняша жалеет.

Беженская нужда осведомлялась: не дадут ли чего кому нужно за эти строки, выцветшие в склепе шкатулочного тайника, за эти кости когда-то живых человеческих мыслей.

Я взял рукопись и унес с собой. И всю ночь просидел над нею под своей зеленой лампой, щурясь в написанное через увеличительное стекло. И вот что я прочел:

«Генварьской ночью по городу Парижу следовал к себе домой кавалер Дюваль, молодой моряк, недавно в свое отечество из Америки вернувшийся. Дойдя до своего дома и разбудив стуком дверного молоточка привратника, оный кавалер со свечою в руке стал подниматься по лестнице в свою холостую квартиру о четырех комнат. Перед тем же, как вернуться домой, кавалер ужинал у адмирала де Кронэ и по сему случаю оказался навеселе.

Надо заметить, что г. Дюваль был молод, в достатках, хотя и небольших, — и одинок. Говоря короче, если кавалеру чего и недоставало, так только любовницы. Ею, недавно прибыв в город Париж, он еще не успел обзавестись, да и то исключительно в силу своей разборчивости и высоких требований, предъявляемых им к прекрасному полу.

Путь на четвертый этаж был совершен кавалером не без труда. Вино, выпитое у адмирала, было достаточно старо, и теперь лестницу качало, как палубу того корабля, на котором г. Дюваль отважно пересек Атлантический океан. Все же, в конце концов, лестница была преодолена.

— Черт возьми, опять портрет! — воскликнул г. Дюваль, вступив на площадку перед своей дверью: на темном фоне последней белел лист бумаги с карандашным, грубо сделанным портретом кавалера, криво приколотый двумя булавками.

Дюваль отпер дверь, отделил портрет и, засветив канделябр в передней, оторвал от листа узкую полосу чистой бумаги. Карандаш у кавалера имелся, но немалого труда стоило ему, пьяному, нацарапать ниже следующие игривые слова:

"Я очень хотел бы познакомиться с художницей, вторично нарисовавшей мой портрет".

Почему с художницей, а не с художником? Дюваль знал, почему: как раз над его квартирой помещалась спальня мастериц владельца большого магазина мод г. Лабаля, жена которого давала уроки рисования.

Записку кавалер прикрепил к своей двери, после чего, окончательно обессилев, предал себя в руки своего уже проснувшегося слуги Жюля. Утром этот Жюль принес кавалеру женский портрет, нарисованный столь же плохо: это был портрет девушки, о красоте которой, однако, можно было судить даже по грубым штрихам неумелого карандаша. Внизу, под изображением, было написано: "Это — я".

Кавалер, разборчивый и щепетильный, решил, что девушка вполне достойна его внимания, и в то же утро, лишь только оделся, поспешил в магазин г. Лабаля, чтобы узнать оригинал портрета. Заказывая бант для шпаги, он рассмотрел всех мастериц и, благодаря улыбке на губах одной из них, а именно — мамзель Лансон, он, вглядевшись, узнал в ее лице черты плохого наброска. Если плохой портрет подействовал так, что кавалер с утра уже не мог мешкать у себя дома, то легко понять, какое впечатление произвел на него пленительный образ самого оригинала.

На этот раз, уходя из дому, он написал мелом на двери:

"Когда же придет художница окончить мой портрет?"

И прочел, возвратившись:

"Ваш художник готов прийти к вам завтракать в воскресенье, в девять часов утра. Оставьте дверь открытой".

В назначенный час, в воскресенье, услав Жюля, Дюваль прислушивался к каждому шороху на лестнице. Но все же он не успел сам, как мечтал, отворить дверь своей гостье, хотя, когда последняя впорхнула в переднюю, и поспешил дверь запереть, вообразив себя обладателем прелестнейшего создания в мире…»

* * *

На отдельном листке, вложенном в тетрадку:

«Вот как описывает наружность мамзель Лансон г-жа Гурдан, старая хозяйка отменного заведения, обслуживавшего в первой половине прошлого века придворную парижскую знать и буржуазию, а также охотившаяся и за девушками:

"Я увидела божественное создание, какое редко можно себе даже вообразить. Девушке было на вид лет шестнадцать: дивно сложенная, с точно выточенным овалом лица, большими открытыми глазами и кожей ослепительной белизны. У ней был красивый рот, маленькие изящные ножки, роскошные громадные волосы, которые я не могла обхватить своими руками... Понятно, что я не хотела выпустить из своих рук такое сокровище"…

Но старой мегере не пришлось воспользоваться девушкой. Во всяком случае, фамилия мамзель Лансон не была помещена в списках, в которых парижская полиция регистрировала имена женщин веселого поведения».

* * *

«Но вернемся к кавалеру.

Итак, приготовив все для завтрака, Дюваль принял все меры, чтобы им никто не мог помешать. Однако свидание, приятное и оживленное, все же не было интересно в той мере, как ожидал молодой человек. В гризетке было больше игривости, чем влюбленности; несмотря на пылкость своего темперамента, она умела владеть собою. Девушка не сдавалась, хотя и часто повторяла свои визиты. Однажды, когда кавалер особенно приставал к ней, она сказала:

— Я люблю тебя и хотела бы сделать счастливым. Ты понимаешь, что я сопротивляюсь не из-за добродетели, но… Я стану твоей лишь в том случае, если ты будешь меня содержать, только, пожалуйста, не пугайся этого слова!

— Но я не богат, — улыбнулся кавалер, которого забавляла и злила расчетливость этого прелестного тигренка.

— Я знаю! — поспешила согласиться Лансон. — Но ведь я не хочу многого. Ты можешь мне устроить квартиру… Какие-нибудь сто франков в месяц на мои тряпки и мелкие расходы тебя не разорят…

И затем, страстно глядя (конец фразы нельзя разобрать):

— Я не люблю работать и, тем более, служить в лавке. Я хочу ничего не делать и наряжаться.

Однако этого союза так и не состоялось.

Виноваты ли в этом многочисленные, хотя едва заметные пятна, которыми были покрыты нижние части щек мамзель Лансон и которые, как уверял позднее Дюваль своих друзей, всегда его несколько отталкивали; виновата ли неуступчивость девушки или, что всего вернее, подвернувшаяся на пути кавалера одна знатная особа (продувная графиня), связь с которой льстила его самолюбию, — но Дюваль потихоньку уехал, сообщив модистке о разрыве с нею.

Ведь графиня не говорила с кавалером с тем простодушием, как мамзель Лансон, и отнеслась к нему с меньшей строгостью: она отдалась ему. Расточительная любовь престарелой красавицы в достаточной мере вознаградила его за то, что он потерял у гризетки.

В результате кавалер получил от Лансон письмо, испещренное орфографическими ошибками. В ответе, однако, чувствовалась сила, и от него веяло здравым смыслом, доказывающим, насколько язык сердца превосходит напускное красноречие оратора.

Девушка писала:

"Ты хочешь хвастать своею великосветской победой? Не знаю, делаешь ли ты так, как тебе подсказывает сердце твое, — сомневаюсь в этом, ибо знаю, что любовь не делает таких различий: она делит женщин лишь на два разряда — красивых и некрасивых. Я знаю также, что шестнадцатилетняя девушка есть, была и будет

лучше толстой сорокалетней матушки, хотя бы и королевского происхождения. Подумай хорошенько: даю тебе двадцать четыре часа сроку. Помни, что второй раз случай уже не повторится. И не думай, что я огорчена".

Дюваль, отказавшись от счастья, которое он не сумел оценить, не придал особенного значения письму и окончательно потерял из виду мамзель Лансон. Их пути разошлись навсегда. Лишь два раза за всю жизнь довелось Дювалю увидеть девушку, которая едва не стала его любовницей. Первый раз это случилось в королевской часовне, но тогда мамзель Лансон носила уже титул графини Дюбари[1], жила во дворце и пользовалась всеми преимуществами королевской фаворитки. Заметив Дюваля, она опустила вуаль. В другой раз Дюваль, уже седоусый, увидел любовь своей юности на Гревской площади, в руках палача. И он услышал, как Жанна закричала:

— Господин палач, господин палач, только одну минуту, одну минуту еще… Прошу вас!»

* * *

На последних страничках рукописи, не сшитых с тетрадкой и, видимо, позднейших, — чернилами более темными написано:

«Эти выписки сделаны мною из книги сочинителя, фамилию коего я, за давностью лет, запамятовал. А дана мне была та книга на прочтение Тенгинского пехотного полка[2] поручиком Лермонтовым, позднее убитым на поединке, а ныне прославленным за его поэтический дар. Экстракты же из оной книги захотелось мне в свое время сделать потому, что и я в юности осчастливлен был

---

[1] *Дюбарри, Мари Жанна* — официальная фаворитка французского короля Людовика XV, в прошлом парижская куртизанка. Получила графский титул через фиктивное замужество. Казнена в разгар Великой французской революции по обвинению в государственной измене (на эшафоте она просила: «Еще минутку, месье палач, еще одну минуточку…»). Жизнь графини Дюбарри послужила материалом для романов К. Бельмонте-Грога «Графиня Дюбарри» (1915), В. Ангела «Возлюбленная» (1916), П. Фришгауера «Мемуары графини Дюбарри» (1924), В. Гейхена «Графиня Дюбарри» (1934) и др.

[2] *Тенгинский пехотный полк* — пехотный полк российской императорской армии в составе 20-й дивизии I Кавказского корпуса. После дуэли с сыном французского посланника де Барантом в апреле 1840 г. в Тенгинский полк был переведен поручик Лермонтов.

любовью некой юной прекрасной особы, которая хотя и не принадлежала к благородному сословию, однако же обладала душой чувствительной и разумом небесным. Но я, как и описанный выше кавалер, отвергший любовь женщины, составившей счастье монарху, — убоявшись осуждения света и гнева родителя, презрел любовь, отверг нежное, бескорыстное чувство. Впоследствии времени и очень скоро я забыл о предмете моей любви, женился, и пошли у меня дети, и далось мне в жизни все, что положено иметь человеку моего круга: почет, богатство и власть.

Но все прошло: вот я стар и стою одной ногой в могиле, чуть вижу небо и солнце.

Все я забыл теперь: и жену умершую, и детей, разлетевшихся, как птенцы из гнезда; ночь и тьма одолевают меня, и воздуха мне нет. И из тьмы этой, из удушья этого смертного вижу я лишь глаза той, которую отвергла и обрекла на муку слабость души моей; над бессонными ночами моей старости сияют звезды очей ее и смотрят на меня с ласковой укоризною. И не было бы на свете старца несчастнее меня, если бы я не веровал, что Бог за гробом простит меня и соединит навеки с той, кому я причинил страдания и смерть. В ее прощение верую, Господи, как в Твое благое милосердие».

За сим следует подпись, но опубликовать ее я не получил разрешения. Могу лишь сказать, что имя человека, подписавшего эти листы, несколько раз мелькает в посвящениях к стихотворениям Лермонтова. В молодости автор рукописи был гулякой-гусаром.

Опубл. и печ. по: Рупор. 1935. 17 марта. С. 3.

ЛЕТ 20 ТОМУ НАЗАД…

Одна из Пасх, которую вспомнил
Арсений Несмелов

I

Стаивал последний снег; по черной, жирной, пахучей земле, уже посылавшей из недр своих первые, ярко-зеленые, острые травинки, — шествовала весна 1916 года. Заглянула она и в офицерскую землянку пятнадцатой роты … полка.

Командир роты, поручик Кобельков, — конечно, солдаты называли его «наш кобель», — получил из Москвы посылку от невесты: пять плиток эйнемовского[1] шоколада «Золотой Ярлык» и много филипповских жаворонков[2], очерствевших за дорогу. Было, конечно, и письмо:

«Вадим, дорогой мой и любимый, если бы ты только знал, как ты мне необходим, как душа рвется к тебе! У нас такие солнечные дни, так тепло… Я хожу в весеннем, приколола фиалки. Так хочется взять твое лицо в свои ладони, глубоко заглянуть в твои глаза и целовать, целовать твои губы»…

И так на четырех страницах письма. Стон желания, томление, зов…

— Рррр! — прорычал Кобельков, комкая письмо. — Черррт!

— Чаво? — равнодушно спросил Кутькин, денщик, вятский парень.

— Уйди, ррразшибу! — проворчал Кобельков.

— Такой день, а лаетесь! — зевнул Кутькин. — Чай давать, что ли? Ишь каких птиц выпекают, — неодобрительно покачал он головой, рассматривая жаворонка. — Мне одно птичку разрешите взять, ваше благородие. Заместо кулича разговеюсь ей.

— Разрешите войти? — осведомился фельдфебель, входя в землянку. — Здравия желаю, ваше благородие. Из штаба полка звонили.

— Здорово, Кузьмич. Чего такое?

— Все относительно праздника, ваше благородие, сегодня же Страстная Суббота. Десять человек от роты приказано послать к заутрене в штаб полка. Обед привезут к 11 часам…

— Так…

— Еще приказано прислать приемщиков за куличами и за вином. Полведра на роту…

— Ну, пошлешь.

— Слушаюсь!

---

[1] Шоколад производства кондитерской фабрики «товарищества Эйнем» (с 1922 – «Красный Октябрь»).

[2] Продукция знаменитого хлебопекарного производства московских купцов Филипповых.

Фельдфебель чуть заметно скосил глаза на Кутькина, вдруг задергавшего плечом, оживившегося.

— Ты чего, как жеребец, не стоишь на месте? — спросил Кобельков.

— Ваше благородие! — мотнулся денщик к ротному. — Прикажите нам выдать хоть полчайника винишка. Мало ли!.. Оно от живота помогает…

Фельдфебель пошевелил левым усом. Вид его говорил: «Уж попадись ты ко мне в роту, я тебе дам полчайника»…

— Ать! — гаркнул Кобельков. — Цыц! Я тебе покажу винишка!..

— Я же для вас! — обиженно заворчал Кутькин. — Что я, калоголик, что ли? Вон я даже вашего одеколона не пью.

— Дай шинель!

Поднялись в ход сообщения из блиндажной землянки, зажмурились от яркого весеннего солнца. Вентилируя легкие, Кобельков глубоко забрал в себя свежий апрельский воздух и с шумом его выдохнул…

— День-то какой, Кузьмич, а? А тут воюй!..

— Когда-нибудь и войне будет конец, ваше благородие!

— Да, надо полагать…

По укоренившейся привычке — обязательно взглянуть на противника, выходя утром из землянки, — Кобельков подошел к тому месту хода сообщения, где можно было встать. Несколько воткнутых в землю веток маскировали головы. Фельдфебель встал рядом.

Привычные глаза Кобелькова сразу же отыскали впереди за линиями наших и австрийских проволочных заграждений желтоватые линии подсыхавших окопов противника. Те же бойницы, те же пулеметные гнезда…

— Как и вчера!..

— Тихо, ваше благородие!.. Ишь только где погромыхивает. Должно, и они чувствуют, какой у нас сегодня день. А пушки-то вон как далеко говорят…

— Да, — почему-то вздохнул Кобельков, вслушиваясь в отдаленный пушечный гул. — Где-то в гвардейском корпусе паляют…

Прошли в окопы и пошли ими. Часовые у бойниц, издали заметив начальника, вставали на стрелковые ступеньки и поворачивались лицами к бойницам: они должны были наблюдать за противником, но, так как наблюдать было не за чем, солдаты лодырничали. Перед ротным от солдата к солдату полз по окопам предостерегающий шепот:

— Кобель идет, Кобель идет!

— Как в землянках сегодня? — спросил поручик фельдфебеля.

— Одолевает вода, ваше благородие! Прямо измучились земляки, прямо страдальцы! Не зайдете ли?

— После зайду. Надо мне еще с батальонным поговорить.

Повернули назад, к землянке телефонистов.

Тут встретились с возвращающимся в роту субалтерном, прапорщиком Лавровым, рано утром по поручению Кобелькова отправившимся в штаб полка, вернее, в околодок[1]…

— Ну, как? — спросил Кобельков.

— Есть, ротный! — весело крикнул прапор. — Вот она, голубушка…

И он бережно похлопал по оттопыривающемуся карману шинели.

— Верите, — продолжал он, — когда по чистому месту перебегал, Бога молил, чтобы не обстреляли. С этакой сладостью да вдруг кокнут…

— Сколько же ваша милая нам прислала? — и Кобельков даже облизнул губы.

— Полную бутылку девяностоградусного…

— Вот это любовь! — с почтением сказал Кобельков. — Это я понимаю, это настоящая любовь. Это сестричка!.. Она, стало быть, нашему лекарю переслала, как обещала? Удивительно, как это доктор не выхлестал половину…

— Ну, у них своего достает… У них даже сырная пасха есть. И окорок. Право, сам видел!.. Вас завтра звали…

— Зайду, если все будет благополучно. Ну, вы идите, голуба, в землянку. Да осторожно идите, чтобы, чего доброго, вас не шандарахнули, не высовывайтесь. И вот что — чтобы мой вятский не

[1] *Околодок* (устар.) – врачебный пункт при воинской части.

наблудил: стерва парень, второй год хочу его прогнать и все не решаюсь — привык. Пойдем, Кузьмич, к телефонистам…

Разговор с батальонным был недолгий.

Капитан Агапов повторил лишь то, что доложил ему фельдфебель.

Кроме того, он сказал, что из штаба дивизии получено приказание быть в эту ночь особенно бдительным, так как есть, мол, опасения, что австрийцы произведут вылазку…

— Воспользуются нашим праздничным настроением, — закончил батальонный.

— Слушаюсь, господин капитан, — ответил Кобельков и, положив трубку, отошел от аппарата.

Приказание батальонного он сейчас же передал фельдфебелю.

— Не может этого быть, ваше благородие! — усмехнулся тот. — Чтобы в такую ночь и этакое! Ничего не будет… Ведь мы же в их Пасху их не беспокоили…

— Я тоже так думаю… Батальонный и сам-то, полагаю, не очень верит…

— Ведь христианский все же народ. Не турки!..

— Именно.

II

День пополз медленно.

Около полдня австрийцы бросили из тяжелой батареи несколько гранат по группе солдат, откапывавших от грязи вход в лисью нору, но разорвался только один снаряд, другие, подняв фонтан черной грязи, канули в мягкой, мокрой весенней земле.

Наша батарея ответно обстреляла козырьки окопов противника.

Шестнадцатилетний доброволец Изборин, уже унтер и георгиевский кавалер, выпер на самый пригорок собирать подснежники. По нему стали бить отдельные стрелки, хорошо выцеливая. Мальчишка кривлялся под пулями и, перебегая с места на место, поднимал полы шинели, показывая врагам штаны.

Кобельков орал из хода сообщения:

— Беги назад, сукин сын, морду искровеню!

И легонько потрепал его за ухо, когда мальчишка благополучно добрался до него.

— Твоя же мать, дурак, каждую неделю мне пишет, чтобы я тебя берег, а ты что?.. Ты что, ты что, сукин сын?!.

— Ничего, Вадим Николаевич, — дерзил любимец роты. — Это место у меня заколдованное…

И хлопал себя сзади по шинели.

С трех часов подул ветер с юга, и долину стало заволакивать туманом. Его голубое молоко сначала закрыло австрийские окопы, стеной встало над речушкой и вдруг потекло на нас волнами мглы и сырости. Солнце пожелтело, потускнело и вот превратилось в мутное, едва различимое пятно. Кобельков выслал секреты за проволоку. Из штаба полка пришло повторное предупреждение быть бдительными.

III

Вечер.

Бездыханная мгла тумана над окопами. Ни шороха, ни звука, ни звезды над ними. За проволокой — полевые караулы и секреты, часовые в окопах. Туман глушит звуки и путает их.

Чу, справа или слева — шаги, со стороны противника или от своих?..

— Стой!.. Кто там?

— Свои!..

— Что пропуск?

— Штык…

Подошла смена. Стала. Слушает удаляющиеся шаги сменных.

И опять тишина — бездыханная, безгласная, беззвездная. До противника двести сажень. Что делается у него? Может быть, австрийцы поднимаются, выходят за проволоку, растягиваются цепью и уже приближаются к нам?.. И сейчас — вот-вот — тишина ночи разорвется треском беглого огня, пулеметным рокотом, бабахающими взрывами ручных гранат…

— В такую-то ночь? Господи!..

— А вдруг?..

— Петька, ты слышишь чего-нибудь?..

— Будто чего-то бултыхнулось в речке.

— Слушай!..

— Тихо.

— Будто говорят.

— Это в моем брюхе колдобит. Не трусись!..

— О Господи!.. Ночь-то какая!

В одиннадцатом часу, громыхая колесами, прибыла кухня. Суп сегодня со свининой. Гремя ведрами, к кухне устремились взводные раздатчики. Не расплескать бы, мать честная, обеда в ходе сообщения!

— Куда прешь, рыло? На человека прешь!..

— А сам на кого прешь? На нечистого?

— Глаза возьми в руки!

— Я те возьму!

В офицерской землянке Кутькин накрывает «стол». Его необструганные доски застилаются простыней. На двух тарелках куски свинины. Сухая московская колбаса, нарезанная ломтиками. Банка с кильками открыта.

— Вычисти селедку, — приказывает Кобельков.

— А чего ее чистить? — не соглашается денщик. — Зачем доброму пропадать?

— Не рассуждать!..

— В этакую ночь, а лаетесь! Ну, вычищу, чего вы руками махаете? В этакую-то ночь!..

Денщик субалтерна Митька с завистью смотрит на Кутькина: «Этак, сукин сын, разговаривает с самим ротным! И ведь еще жалованье получает от него — пять рублей каждый месяц. Везет же людям!» Попробовал было Митька так же беседовать со своим барином — и угодил на два часа под винтовку. Нет уж, кому везет, тому везет!..

Обед роздан, кухня убралась.

Офицеры уходят в землянки поздравить солдат с праздником.

«Христос Воскресе!» — поет каждая землянка, и дивные эти слова глухо вылетают из-под тяжелых сводов.

«Христос Воскресе!» — поет в этот час вся извилистая тысячеверстная линия русских окопов.

Кобельков и младший офицер, похристосовавшись с солдатами первого взвода, выходят из землянки и идут во второй взвод. Темно, сыро, безлюдие мертвое…

И вдруг они слышат…

Со стороны австрийцев могучий мужской голос. Разрывая мягкую вату тумана:

— Русский, русский, Христос Воскрес!..

Тишина. И снова:

— Русский, русский секрет, Христос Воскрес!..

Тишина.

И звонкий юношеский голос отвечает из нашего полевого караула:

— Воистину воскрес!

— Слышите? — спрашивает субалтерн, поворачивая лицо к Кобелькову.

— Да. И голос узнаю. Это Изборин, паршивый мальчишка!

— Переговаривается с противником… Я бы его!..

— Пойдемте! — резко обрывает Кобельков. — Переговаривается, конечно, но… но… ведь мы же христиане…

— Да, но…

— Идемте!.. Ведь уже молчат… Он не переговаривался, а лишь на высший возглас христианина ответил как христианин… И оба уже замолчали… Забудем об этом, друг мой… А кстати, мы с вами еще не христосовались. Христос Воскресе!..

— Воистину!

IV

Фельдфебель и взводные пришли поздравить ротного.

Кутькин разливает в кружки разведенный спирт, стараясь наливать экономно.

Солдаты сидят неловко, на краешках походных офицерских коек. Крякают, утирают рты жесткими рукавами шинелей. Не хотят закусывать, надо настаивать, чтобы они взяли что-нибудь…

Разговор с офицерами поддерживает лишь доброволец Изборин. Он реалист пятого класса[1], сын известного русского художника.

Когда солдаты уходят, поблагодарив, Кобельков удерживает Изборина, смотрит ему в глаза, грозит пальцем и… дает плитку шоколада «Золотой Ярлык».

Опубл. и печ. по: Рупор. 1935. 28 апреля. С. 5.

ЗЛО

I

Станция называлась Няньдома, – на полпути между Вологдой и Архангельском. Кругом лес, дебри; деревня от деревни на десятки верст; не дороги – тропы, а весной да осенью и совсем без пути. А через няньдомский станционный поселок идет тракт от Петрозаводска на Каргополь, в котором при матушке Екатерине воеводствовал Державин.

Был на этом тракте такой случай. Ехал зимой мужик, – уж и не далеко оставалось до станции, – видит, играются на дороге два медвежонка. Остановил мужик лошадь, сгреб зверушек и – опять в путь. Вдруг позади рев, – медведица... Лошадка понесла, но не отстает зверь. Выбросил мужик одного медвежонка. Обнюхала его мать, лизнула и опять за санями. И опять догоняет. Что делать? Выбросил мужик и второго детеныша, – та же история: нюхнула, лизнула и вновь за санями. И гнала медведица мужика почитай до самого переезда через линию. Натерпелся мужик страху...

А то какой еще случай был, – летом... С места у дорожного мастера сошла стряпуха Аграфена, солдатка. Она толи мужа ждала на побывку, толи с женой мастера повздорила. Словом, собралась в деревню. Собрала вещички, хлебца захватила и с рассветом – в путь. Чтобы засветло домой прибыть, отмахать по лесу двадцать – тридцать верст.

Пошла бабенка и пропала, ни домой не пришла, ни назад не вернулась. Полагали, – баба с дороги сбилась. Посылали

[1] *Реалист пятого класса* – человек 17 лет от роду.

по паровозу в обе стороны от станции, чтобы они свистали и указывали бы своим свистом, в которой стороне линия, – обычное дело, если кто из станционных уйдет в лес и пропадет. Так нет, и на свист не вышла Аграфена. Лишь через неделю, по мертвому духу, нашли ее охотники: лежит в саженях двух от тропы, шея прокушена, рысь...

Такие вокруг Няньдомы леса, лиственница, ель да сосна. И еще клены, где гористо. А внизу – поросль, только с топором и прорубишься. Да ветром поваленные, век свой отжившие, лесные великаны гниют. Рябчика охотники подманивали на пищик около самой станции, а по зимам куропатки из пакгауза зерно собирали и лисы тут же за ними охотились.

За пять верст от станции уйдешь, – держи в стволе пулю на большого зверя, как раз на Мишку угодишь.

Самое же дикое в этом краю – лесные озера. Некоторые в каменистых отрогах, как в блюдечках лежат, – чисты, глубоки, прозрачны; другие затянуло болото, топь, лишь вдалеке синеет голубая полынья воды, круглым глазом смотрит в небо. Водяной птицы это – гибель, да трудное дело ее брать: качается трудная чаруса, вот-вот лопнет, а под нею и дна нет. В такой крайности имели охотники правило, – прямо на пузо ложиться, на ружье, и лежать, пока товарищи не помогут выбраться. В таких топях, бывало, трехфунтовых карасей откапывали, только в пищу они не годились, – воняли тиной, топьей гнилью.

А при станции казенный поселок да частный. Станция большая, – оборотное депо: три путейских инженера, один тяговой; доктор при больнице, фельдшер; священник, при школе учительница и прочий служащий народ. А молодежи – два кадета, братья докторши, на лето приехали погостить, да дочка священника Лидуся, гимназистка вологодской гимназии; в четвертый класс перешла.

В частном поселке один знаменитый человек, Иван Иванович Васятин, управляющий «Мерилизом», лавкой купца Балакшина, живущего постоянно в Вологде. А лавка и <есть> подлинный Мюр и Мерилиз: в ней и московские сласти, и порох, и красный товар. Но больше всего в ней – вонючих бочек с беломорской треской. В первый раз ее ешь, – с души воротит, а привыкнешь, – и нет вкуснее снеди.

Иван Иванович со своей трехстволкой и лаверачихой[1] Нюшкой все леса вокруг на пятьдесят верст исходил. Худой, рыжий, молчаливый, а глаз – зоркий, рысий. Строгий взгляд. Человек без лишних слов, только, если выпимши, песни любит петь. И пел песни старинные, грустные, олонецкие, – сам олочанин.

II

Жили на станции в это лето дружно. Получали из столиц газеты и журналы, читали их, знали, что в России все еще революция: бунтуют матросы на каких-то броненосцах, в Финляндии и Латвии чуть не война. Инженеры, люди молодые, сочувствовали разным партиям, – один эсер, другой эсдек, – доктор же, всегда страдавший желудком, объявил себя анархистом-индивидуалистом: всех переплюнул. Но когда станцию навещал из Архангельска, по делам своей службы, жандармский ротмистр Бобыль-Бобылевский, то этому в одинаковой мере все на станции рады, включая и доктора-анархиста: был ротмистр великий мастер рассказывать анекдоты и не дурак выпить.

По случаю приезда ротмистра обеды устраивались общие, – или у начальника участка инженера Рогова, или у доктора. И если, подпив, инженеры начинали уж очень сильно порицать власти, – то Бобыль-Бобылевский говорил кадетам:

– Вы, молодые люди, не слушайте этого тявканья, как я его не слушаю!

И кадеты, пряча под стол руки и вытягиваясь, разом, как два галчонка, раскрывали рты:

– Так точно, господин ротмистр!

Кадеты все дни были заняты охотой, – стреляли рябчиков около станции. Охотились вдвоем с одной дробовой берданкой, за шесть рублей купленной в магазине Ивана Ивановича. Стреляли по очереди, ссорились.

Лидуся бродила по станционному садику с книжкой, скучала. Кадеты дичились ею, не умели ухаживать, а старший ей нравился. Кадеты были непохожи на вологодских гимназистов, – то ли гордые, то ли глупые.

Наступил июль, полный оводов и мошкары. Белые ночи кончались.

---

[1] *Лаверачиха* (муж. лаверак) – порода охотничьих собак.

III

В России еще гремели пушки с мятежных кораблей; где-то подавлялись восстания, полевые суды выносили смертные приговоры. А вокруг Няньдомы безмятежно дышали вековечные леса, чавкали топи древней Руси. Не хотели знать эти места революции, как никогда не знали ни татарщины, ни крепостного права. И новых людей на станции не было, только вот приехали в депо из Вологды два новых слесаря, – молодые люди с твердыми скулами и дерзкими глазами. Но о них тотчас же забыли.

Пошли грибы и ягоды, – земляника, черника, по болотам – морошка.

Станционные дамы варили варенье, морошку к тому же еще мочили и засаливали. Леса по взгорьям стали краснеть от кленов. Северное лето кончилось.

Тогда собрались на озере Шожму, в восемнадцати верстах дот Няньдомы в сторону Архангельска два инженера да доктор с женой и кадетами, Иван Иванович да Лидочка со старшей сестрицей, невестой одного из инженеров. Захватив с собой закусок, пива да водочки, выехали в служебном вагоне. Вагон инженеры велели прицепить к балластному поезду. Около шожминской путевой казармы поезд остановился, и начальство сошло, а балластный ушел по своим делам, чтобы к вечеру вернуться и забрать оставленных.

Было жаркое июльское утро. Озеро лежало внизу, в багряно-красных от вспылавших кленов гористых берегах. И вода в нем была красная и голубая. Спокойная. Два острова, один совсем маленький, другой – побольше, поднимали над водой несколько стройных сосен. Озеро уходило вправо, и конца его не было видно.

Начальник казармы, дорожный мастер, называл инженеров и доктора так:

– Начальство, – и здоровался с ними за руку. Его жена сейчас же заговорила о самоваре.

Спустились к самому озеру и разместились на мшистой, плоской вершине скалы, в сажени высоты над небесно-голубой водой. Полюбовались красотой берегов, побросали в бороздивших воду белыми молниями рыбок камешками; решили купаться. Дамы пошли направо, где было песчано и мелко, мужчины – налево,

к скалистым обрывам. Иван Иванович уплыл далеко, к маленькому острову. Один из инженеров, – жених, – поплыл было за ним, но скоро вернулся. Вправо слышался женский визг, взлетали брызги, и вода отражала белые плечи купавшихся женщин.

Оделись и сошлись вместе. Напились чаю, молока, закусили. Дорожный мастер принес две удочки и червей в коробочке:

– Если начальство желает позабавится... Окуня хорошо берет.

Но рыбная ловля привлекла только старшего кадета и Лидусю. Ее сестра осталась с женихом. Иван Иванович с младшим кадетом и со вторым инженером отправились поискать глухарей. Кстати, охотник обещал показать поблизости озерцо, к которому шла лосиная тропа: весь берег, мол, истоптан животными, приходящими на рассвете и по вечерам сюда на водопой.

Лидуся прыгнула в лодку, – она была привязана там, где купались дамы, у маленького плотика. Спросила, сияя юностью:

– А вы умеете грести?

– Конечно! – баском ответил кадет. – Я... даже думаю в этом году перевестись в морской корпус.

Но он избегал встречаться глазами с девочкой, – ее глаза словно ослепляли его.

Принялся грести до того усердно, что через минуту покрылся испариной.

– Дайте я погребу!

Встали, чтобы поменяться местами, и лодочка закачалась. Старшие с берега закричали, замахали руками, и Лидуся, испугавшись, снова села на карму.

– Вечно всего боятся! – мрачно сказал кадет и снова взялся за весла.

Высадились на маленьком острове и, бессознательно, выбрали для уженья ту его сторону, с которой не были видны старшим. Кадету хотелось быть непринужденным и разговорчивым, но застенчивость связывала его язык и делала руки и ноги точно деревянными. Он напряженно молчал, страдал и не рад был, что поехал.

– Я не умею надевать червяков на крючок, – сказала Лидуся.

– Сейчас! – обрадовался кадет возможности что-то сказать.

– Я вам сейчас надену. Вот так, – смотрите..., впрочем, я все время буду вам надевать червей, чтобы вы не пачкали пальцев.

Его слова звучали так горячо, словно он хотел сказать, что, мол, если Лида захочет, то он и себя готов для нее нацепить на крючок.

– Какой вы милый, – сказала девочка и покраснела.

Покраснел и кадет.

А через четверть часа болтали совсем свободно. Кадет, подвирая, рассказывал о корпусе, о великом князе Константине Константиновиче, о корпусных балах. Лидуся говорила: «Да что вы!» – и рассказывала о своей гимназии.

IV

Кадет поймал двух окуньков. У Лидуси не клевало. Но вдруг поплавок мгновенно ушел под воду, девочка ахнула и схватилась за удилище. Но удилище согнулось и затрепетало, – на крючке билась большая рыба... Девочка испугалась. Кадет пришел ей на помощь, но он был плохим рыбаком, большого окуня он не сумел подтащить к берегу: рыба, показав большую голову и красные перья, ушла, оборвав леску.

Теперь стояли друг перед другом, растерянные, испуганные, сконфуженные. Вдруг Лидуся отбежала, обняла ствол сосны и, прижав лицо к шершавой коре, стала нервно хохотать. Кадет подошел и, задыхаясь от страха, сухими губами поцеловал девочку сзади в тоненькую шейку. Лидуся затихла, словно прислушиваясь, и шепотом сказала:

– Этого нельзя.

– Можно, – сказал кадет. И поцеловал в щеку, изловчившись, царапая лоб о кору сосны.

Потом сидели смирно. Молчание уже не тяготило. Ловили рыбу на одну удочку. А когда собрались домой, перед тем, как выйти к лодке, на другую сторону островка, открытую взорам старших, – поцеловались еще раз. В губы.

V

Подошедший балластный[1] долго свистел вверху, сзывая начальство.

Собирались не торопясь. Доктор спал, выпив лишнюю рюмку, инженер с невестой куда-то ушли. Кадеты и Лидуся шалили, собирая посуду, бутылки.

С высоты насыпи еще раз оглянули озеро.

Солнце опускалось над его дальним поворотом; золотокрасная полоса прорезала всю водную даль: темная синева опрокинулась в воду от потемневших гор. Закат был красен, как вино.

– К ветру, – сказал Иван Иванович. – А еще такой закат бывает к большой неприятности, – я это приметил...

В двадцать минут докатили до станции. А к нему уже подходил со стороны Вологды дальний товарно-пассажирский, от самого Ярославля. Никто с этого поезда в Няньдоме не сошел, но груз сняли: не очень тяжелый, но большой зеленый сундук с документами из Москвы. Сундук сняли и поставили в багажной конторе. Пассажир, видимо, отстал, или дубликат был послан почтой кому ни будь из местных...

А утром багажный конторщик сказал станционному жандарму:

– Кузьма Тимофеевич, а с сундучком-то неблагополучно: попахивает.

Длинноногий рыжеусый унтер каменными шагами проследовал в багажную. Звенели шпоры. Унтер осмотрел сундук, понюхал вытекавший из него сладковатый, тошнотный запах падали и, так же, ни слова не говоря, теми же каменными шагами прозвенел на телеграф, – подать депешу ротмистру в Архангельск.

Ответ пришел через четверть часа: вскрыть.

Сундук вскрыли. В нем оказался труп молодой рыжеволосой женщины, убитой ударом ножа в грудь. Труп был завернут в дорогое, нарядное пальто и поверх пальто обернут еще большой скатертью. Тело, чтобы втиснуть его в сундук, перегнули и связали веревкой.

---

[1] *Балластный поезд* – с песком, щебнем.

VI

На другой день прибыло в Няньдому из Архангельска разное начальство: ротмистр, следователь и еще много чужих, незнакомых людей.

Глухую, затонувшую в лесу станцию вдруг охватило дурное, нехорошее оживление. Все ее население перебывало около дверей и окон мертвецкой железнодорожной больницы, куда был перенесен труп, вынутый из сундука.

Труп лежал на столе, обнаженный, со вскрытой грудью и вскрытым животом. Доктор разрезал желудок и нюхал его содержимое. Пахло вином. Нюхал фельдшер, нюхал следователь: пахло вином.

К стеклам окна липли лица мужчин и женщин. Их приплюснутые носы были, как свиные пятачки. Больничный сторож гнал любопытных от окна, – они лезли к двери. Потом труп зашили, положили в казенный гроб и пришел священник, Лидусин папа. Сарай мертвецкой наполнился народом.

Смотрели в мертвое лицо, обрамленное рыжими прядями. Один глаз был приоткрыт, словно подсматривал. Щеки еще сохранили следы краски, и она пятнами проступала на желтизне кожи. Шептались, качали головами, гадали: хороша-ли была живой, молода-ли?

И вдруг словно ближе придвинулось к лесной станции то страшное, что еще делалось в России, – какие-то мятежи, восстания, расстрелы... Словно через сотни верст, через все леса и болота, метнула к станции чья-то черная рука сатанинский крепкий аркан, захлестнула им наглухо, насмерть, и теперь вот тащит к себе.

И ощущение того, что какой-то вихрь втягивает станцию в новую, страшную жизнь усилилось еще и оттого, что на станцию прибыл на другой день эшелон, сплошь составленный из арестантских вагонов. К стеклам окон, забранных решетками, прильнули лица людей с бледностью многих тюремных месяцев на щеках: это везли в Архангельск, в дисциплинарный батальон, матросов с мятежного крейсера.

И перед самым отходом этого поезда в дальнейшее следование – раздались вдруг крики и выстрелы: несколько арестантов, перепилив решетку и выбив стекла двух окон, – прыгали из вагона

на рельсы, бежали к лесу, который был рядом, в десяти саженях от путей. Троих конвойные убили, а двое добежали до леса и скрылись в нем.

В тот же день, вечером, один из прибывших из Вологды рабочих покушался на жизнь ротмистра, руководившего поисками убежавших. Рабочий выхватил из кармана браунинг, но, случайно оказавшийся рядом, Иван Иванович ударил террориста по руке, и пуля пролетела мимо. Но самого Ивана Ивановича в ту же ночь убили выстрелом через окно.

В тот день ротмистр не пошел обедать к станционным приятелям, – он обедал с приезжими военными в станционном буфете, и у дверей буфета стоял часовой. В домах рабочих шли обыски; по дебрям леса, застревая на каждом шагу, продвигалась солдатская цепь. Вечером впервые за всю свою жизнь в Няньдоме мужчины и женщины проверяли прочность оконных и дверных запоров, а утром инженеры пошли на службу, положив в карманы револьверы.

Лишь кадеты были рады суматохе. Им теперь так часто приходилось отдавать честь на этой глухой станции, и они щеголяли своим умением молодцевато козырять.

А через две недели их с Лидусей увозил со станции служебный вагон начальника участка. Лидуся ехала до Вологды, а кадеты до Ярославля, чтобы там сесть на пароход и следовать до Нижнего Новгорода.

Пахло гарью: горел лес. В одном месте поезд шел через пожарище. Оно догорало. Справа и слева дымились обгорелые, похожие на трупы деревья.

Служебный вагон был прицеплен к хвосту поезда. Стоя на площадке вагона, Лидуся и кадет смотрели на страшное опустошение, на уничтоженный огнем лес. Справа и слева еще трепетало пламя. Поезд уходил от огня, но мальчику и девочке казалось, что огонь бежит от него, от них, и грозный путь его – на тихую лесную станцию, которую они только что оставили.

Опубл. и печ. по: Рубеж. 1935. № 45. С. 1, 4-8.

ХРОМОЙ КНИГОПРОДАВЕЦ

I

Заселенная торговцами и чернью, промышляющей всяческим распутством, Тусская улица окончательно угомонилась только к четвертой страже. Смолкли песенки запоздалых ночных гуляк, затихли их нетвердые шаги, погас жидкий свет в щелях ставень подозрительных харчевен; воцарилась бездыханная предрассветная тишина, изредка нарушаемая лишь медленными шагами ночных дозоров, негромким разговором воинов между собою. И когда уже казалось, что остаток ночи пройдет спокойно, когда вигилы[1], плотнее кутаясь в плащи от предутренней мартовской свежести, уже безмятежно подремывали на порогах лавок, — из дома, построенного еще Марком Крассом[2], трехэтажного, углового, всего облепленного лавчонками, вдруг послышались возгласы и вопли человека, призывавшего на помощь.

Крики исходили из угловой таберны[3], из первоклассного — хоть в лучшую часть Рима — термополия[4] отпущенника Каллиста, славившегося, правда, не столько своими сладостями и подогретым, подслащенным вином, как юными ионянками и еврейскими девушками, приютившимися в задних комнатах этого заведения, имевшего, кстати сказать, особый выход в переулок, за углом дома. Кричал кто-то из заночевавших у Каллиста беспутных молодых людей, и ночной дозор от когорты[5], только что миновавший злополучный дом, бегом повернул на крик. По бугристой мостовой затопали тяжелые солдатские калиги[6]; зазвенело оружие.

---

[1] *Вигилы* — ночные сторожа. (Здесь и далее в повести примечания автора. Комментарии составителей даются в квадратных скобках.— *Сост.*).

[2] *М. Лициний Красс…* разбивший Спартака, член первого триумвирата, изрубленный парфянами в 53 (761) году. Прославился своим корыстолюбием и богатством. Построил в Риме много доходных домов, сдававшихся под квартиры.

[3] *Таберна* — всякая лавка, магазин, помещение продавцов книг, рабов, цирюльня и пр. Таберны часто пристраивались к домам, суживая улицу.

[4] *Термополий* — нечто вроде нашего кафэ: помимо закусок, торговал напитком, называвшимся кальда: подогретое вино, разбавленное водой, подслащенное, сдобренное пряностями.

[5] [*Когорта* (истор.) – тактическая единица древнеримского войска, промежуточная между центурией и легионом].

[6] *Калиги* — род римской обуви.

Но солдаты не успели еще добежать и до запертой двери термополии, как из калиточки в обиталище девушек уже выскользнули три человека в плащах с натянутыми на головы капюшонами. Солдаты услышали лишь шум шагов убегающих и бросились было за угол, но те уже успели исчезнуть в темноте, и лишь дверь в лупанарий[1], оставленная незакрытой, тускло и зловеще светила в глушь переулка своим красноватым ртом. Чиркая остриями шлемов о косяк, солдаты один за другим вошли в дом. Скоро они вышли обратно, крякая и утирая губы — их угостили вином. В кулаке старшего были зажаты новенькие динарии[2] с изображением императора Клавдия Нерона.

— Так-то лучше! — сказал старший. — Ни Каллисту с нами, ни нам с ним лучше не ссориться. Получай, Луций, свою долю. И ты, Умбрен.

Оба протянули руки. Звякнуло серебро.

— А хороша девчонка, из-за которой сцепились, — вздохнул Умбрен, принимая деньги. — Красоточка!

— Глазищи-то! — согласился Луций. — Так и жжет! Ей и шестнадцати лет нету. Я знаю ее имя, ее зовут Неволеей.

Мирно беседуя, солдаты уже порядочно удалились от дома, когда старший, которого все-таки беспокоила ответственность за судьбу оставленного у Каллиста окровавленного посетителя, сказал Умбрену:

— Вот что, товарищ… Ты, пожалуй, вернись и постой на углу: не возвратились бы те трое и не докончили бы его. Ступай-ка!..

И, взглянув на уже светлевшее на востоке небо, прибавил:

— Недолго поскучаешь, светает…

Умбрен без неохоты исполнил приказание. Его и самого влек назад тревожный запах женщин, которым набрались его ноздри в заведении Каллиста; полный же циат[3] желтого фалернского, на который тот не поскупился, чтобы замять скандал, горячил кровь молодого воина. И случай вторично свел его с Неволеей. Как

---

[1] [*Лупанарий* – публичный дом в Древнем Риме, размещённый в отдельном здании. Название происходит от латинского слова «волчица» (лат. lupa) – так в Риме называли проституток].

[2] *Динарий* — равнялся четырем сестерциям — 20 копейкам.

[3] *Циат* — 0,05 литра, мера жидкости.

раз когда Умбрен подходил к дому, она выбежала из-за его угла, завернутая в темную пэнулу[1], и принялась колотить кулачками в дверь таберны врача Поллиона, крича, что у Каллиста раненый, которому необходимо остановить кровь. К этому времени рассвело настолько, что уже можно было прочитать вывеску врача и разглядеть фаллический талисман над его дверью, похожий на сомкнутые ножницы, подвешенные остриями вниз.

Умбрен подошел и помог девушке разбудить раба врача. В благодарность за это Неволея наградила его улыбкой; из мглы капюшона глаза ее блеснули зовуще. Никогда еще Умбрен не приближался к такой красивой девушке, и, чувствуя, что его сердце начинает крепко стучать от желания, и в то же время робея, он сказал неуверенно:

— А что, малютка, если бы, освободившись, я пришел к тебе? Не отказала бы ты мне в любви?

— Зачем же? — улыбнулась она, кладя легкую голую руку на плечо солдату. — Охотно приму тебя, если ты щедр. Ты мне нравишься, молодой и здоровенный, как жеребец.

— А сколько же ты берешь за любовь?

— Я ничего не беру за нее. Берет Каллист — мой господин. Но не будь скупым, ночь со мной не обойдется тебе дороже двухсот сестерциев…

— Великие боги, — огорчился Умбрен. — Это цена, красавица, совсем не по солдатскому жалованию.

И хотя всякая надежда на обладание девушкой была теперь для Умбрена явно утрачена, он все же не удалялся, желая насладиться хотя бы исходящим от нее благоуханием, запахом ее тела, смешанным с ароматом возбуждающих лепешек, спрятанных в складках ее одеяний. Но вот дверь звякнула засовом, и из своей таберны, толстый, заспанный, вышел Поллион в шерстяной ночной тунике; за ним, отягощенный солидных размеров ящиком с медикаментами, следовал его раб и помощник Сирус. Сверху, с высоты трех ступенек, глянуло заспанное лицо супруги врача Пробы, затворившей дверь за мужем и рабом. Неволея удалилась, улыбнувшись солдату. Умбрен отошел от дома…

---

[1] *Пэнула* — простой длинный плащ без рукавов из толстой, грубой ткани, часто с капюшоном.

Свободный Рим еще спал, но уже поднимались рабы. В высоко подпоясанной тунике вышел на улицу критянин Дав, прислужник за столом знатного и богатого Гнея Вибрия. Дав осторожной своей походкой, которая так нравилась господину, подошел к герме[1], склонившись коснулся концами пальцев ее подножия и стал усердно молиться. Неподалеку прогрохотали по камням мостовой колеса первой телеги со строительным лесом; заскрипел ворот, поднимающий камни и балки на стены строящегося дома. Розовое небо вдруг вспыхнуло на востоке, точно подожженное факелами, — взошло солнце.

Захлопали двери и ставни открывающихся пекарен, запахло на улице печеным хлебом. Рысцой, попарно, к водометам побежали за питьевой водой рабы с амфорами. Старухи шли за хлебом и, встречаясь, останавливались и осведомлялись друг у друга, какие сны послала им богиня ночи; и тут же начинали сплетничать. Чей-то раб, рослый парень, прогнал на Велабров рынок двух быков. У одного к рогам был привязан кусок сена, и старухи юркнули в дверь пекарни: бодучий, сохрани боги! Из переулка на улицу высыпало десятка три рабов, скованных общей цепью. От них пахло потом и еще чем-то острым, — так пахнет из клеток диких зверей. Головы полубриты, у многих клейменые лбы. На некоторых колпаки из собачьей кожи.

Пропуская рабов, прохожие, еще редкие, останавливались, брезгливо отворачивались и зажимали носы. Другие же хозяйским глазом осматривали этот человеческий гурт.

— С Делоса[2] и то доставляют рабов в лучшем виде, — послышались голоса. — Не из тюрем ли их выпустили?

— Что ты, это рабы из пекарен. Посмотри, как дымом и паром изъедены у всех глаза. При печах самый сильный раб не выдерживает больше года…

— И эту рухлядь выбрасывают на рынок!

---

[1] [*Герма* – четырехгранный столб, завершающийся скульптурной головой или бюстом кого-либо (первоначально служивший межевым или дорожным знаком и изображавший бога Гермеса)].

[2] *Делос* — главный центр торговли рабами. Рабы содержались там в условиях, ужасавших даже современников.

— Не в этом дело. Ты подумай, ведь мы едим хлеб, приготовленный этими нечистыми руками! Богачи-то надевают на своих рабов намордники, чтобы они не оскверняли теста своим смрадным дыханием.

Рабы бегут рысцой, и цепь, соединяющая их, звенит переливчато. Сквозь дыры рубищ видно тело в кровоподтеках и рубцах.

— Живо, живо, живо! — покрикивает их вожак, вольноотпущенник в войлочной шапке. Он молод, вид у него озабоченный. В глазах ревность к хозяйскому добру — старательность. В правой руке кнут с увесистой свинчаткой на конце, и парень внушительно им помахивает. — Живо, живо, живо!..

II

Следуя поговорке: «в хозяйстве асс[1] ищет асс», Поллионова Проба сама по утрам отправлялась на рынок, так что бронзовый эгинский бык на Велабруме был ей хорошо знаком. Хоть и не очень прилично почтенной сорокалетней римлянке самой тащить веревочную сетку с закупленными продуктами, но что поделать, если Сирус, их единственный раб, больше занят при муже по медицинской части? Да и нерадив Сирус до домашней работы, лечебные же взвары делает хорошо и снадобья составляет прилежно. Против этого ничего не скажешь.

Двадцать лет назад восьмилетним смуглым мальчиком куплен Сирус. Тогда он, сириец родом, и по-римски плохо еще говорил и был ласковым, нежным, часто плакал. И Проба любила брать его к себе в постель. Ей нравилась его прохладная гладкая кожа и детские поцелуи. Но вскоре у Пробы родилась Туллиола, и мальчишка отошел в сторону.

А теперь Сирусу двадцать девятый год; он молчалив, угрюм и часто дерзок, ибо знает, что необходим в доме. Конечно, можно было бы и постращать раба, отодрать например, но как пошлешь его к палачу, если раб-то один? Изувечит палач Сируса, и кто тогда будет возиться с банками и ступками. Тем более Поллион стар и хотя считается одним из лучших врачей на Тусской улице, но сам себя от одышки вылечить не может. Помрет он — и придется тогда дать Сирусу вольную, чтобы кормил вдову с дочерью своего благодетеля, научившего его тайнам врачевания.

---

[1] *Асс* — медная монета, равная ¼ сестерция, равна нашим 4—5 копейкам.

Сегодня же Пробе еще и потому надо самой на базар, что ей поручено мужем купить павлинье яйцо с петушиным желтком, который понадобился врачу для приготовления черной мази, помогающей гнойно-глазным, которых так много в Риме. Угадать яйцо с петушиным желтком не так-то легко. Бестолковый в хозяйственных делах Сирус купит еще гнилое, яйцо же павлинье стоит пять динариев — сумма!

Сборы Пробы недолги. Облачилась в паллу[1], несчетно раз побывавшую в чистке у валяльщиков[2] и из ярко-желтой ставшую грязно-серою, перекинула через руку веревочный мешок для хлеба и овощей, взяла простой кампанский горшок для масла и со второго этажа, где находились ее с мужем и дочерняя спальни, зашлепала по лестнице в таберну. Не без удовольствия заметив, что приемная уже полна больных, Проба, не задерживаясь, прошла к двери, на ходу сказав Сирусу, чтобы он не забыл выменять у старьевщиков Иродиона битую стеклянную аптекарскую посуду на серные фитили, запас которых в доме иссякал.

Спускаясь к Тибру, дама думала о том, что неплохо было бы пройти мимо тех мест, где продают рабов, присмотреть бы для дома девчонку лет десяти. В хозяйстве такая девчонка вот как пригодится — и постряпать, и пошить, и прибрать! За дочерью-то, за Туллиолой, сколько теперь работы, взрослая ведь девушка, а она, Проба, все одна да одна. Конечно, что говорить, чем больше рабов, тем больше врагов, но ведь и без прислуги тоже невозможно. Объест ли девчонка. Тем более что года через три ее с барышом можно будет продать хотя бы тому же Каллисту.

Так рассуждая и поминутно вздыхая от хозяйственных забот, женщина пробиралась в толпе, уже запрудившей бойкую улицу. Вот Пробу обогнал вихрастый школьник в претексте[3], перевесивший сумку с книгами и счетную доску через левое плечо. Серебряная цепочка от нагрудной детской буллы[4] обвила его тонкую шею.

---

[1] *Палла* — одеяние, набрасываемое при выходе из дому; собственно нарядное платье, которое могло быть накинуто и на голову.

[2] Платье у древних не стиралось, а отдавалось в чистку валяльщикам.

[3] *Претекста* — тога подростка-римлянина, окаймленная пурпурной полосой. (Сын отпущенника не имел права ее носить).

[4] *Булла* — плоская сумочка в виде нашего медальона или ладонки, носимая на груди. Она снималась вместе с претекстой, когда юноша надевал тогу мужчины.

Мальчишка замедлил шаг и, заговорщицки улыбнувшись кому-то, идущему позади Пробы, — должно быть, сверстнику, такому же шалуну, как и он, — быстро приколол мочальный хвост к тоге важно шествовавшего перед ним толстого, лысого римлянина.

И сейчас же исчез.

Толстяк продолжал идти так же важно, не чувствуя прицепки. Проба не удержалась, фыркнула. Засмеялись и еще несколько человек. Толстяк, слыша хохот за собой, удивленно оглянулся и, видя позади себя смеющиеся лица, но не догадываясь о причине веселости, надменно и медленно продолжал свой путь.

Тогда хохот усилился. Кто-то крикнул наконец, захлебываясь смехом: «Достопочтенный Фумидий, какой-то негодяй прицепил мочальный хвост к твоей тоге!» Яростно сверкая глазами, бранясь и призывая все силы Аида на голову шутника, римлянин, повернувшись задом к стене дома, стал правой рукой шарить у себя позади, стараясь поймать ускользающее от его руки подвижное мочальное украшение, что при его толщине было нелегко. Когда он изгибался вправо, то хвост уходил влево, и наоборот; разоблачаться же при всем честном народе Фумидию, видимо, не хотелось, — тога лежала на нем такими красивыми складками…

Толпа хохотала, потешаясь, и не скоро нашелся добрый человек, пожелавший оказать помощь несчастному. Наконец хвост был оторван и с презрением брошен на мостовую. Толпа потекла снова. Тот же мальчуган, лишь только Фумидий проследовал дальше, вынырнул откуда-то и, подняв свою мочальную забаву, снова скрылся в толпе.

Вспоминая эту сцену, Проба долго булькала смехом, как булькает кальдарий[1] горячим вином, когда его трубу доверху засыплют раскаленными углями. У самого рынка дама перешла на другую сторону улицы, тяжело прыгая по овальным камням, положенным для удобства перехода в дождливое, грязное время. Отсюда начинались лавки и лари Велабрума, над которыми внушительно поблескивал в весеннем солнце огромный бронзовый Эгинский бык.

---

[1] *Кальдарий* — прототип нашего самовара. В нем приготовлялся кальда [теплый, вероятно, подслащенный напиток, состоявший из вина и теплой воды].

У таберн работорговцев дама влилась в толпу и покатилась вместе с нею, задерживаясь у тех катаст[1], где происходили аукционы. Торговля шла бойко; то там, то тут голосистые крикуны расхваливали свой товар.

— Этот замечательный муж, — кричал один из них, грек по выговору, — этот умнейший муж с юных лет был любимцем своего господина, и тот дал ему прекрасное образование. — И, ткнув кулаком в дощечку-аттестат, висевшую на груди лысеющего сорокалетнего бородатого мужчины с грустными и умными глазами, продолжал азартно: — Вы смотрите сюда, вы прочтите!.. Каждый может убедиться, что он знает наизусть всего Гомера и девять лириков…

— Расписывай! — крикнули из толпы. — Ты любого писца, знающего два стиха из поэта, выдашь за философа!..

— Чудак, — спокойно возразил продавец. — Если ты понимаешь что-нибудь в поэзии, так ты испытай раба, прежде чем лаяться, как собака, которая боится, что ее ударят.

В другом месте кричали:

— Не покупайте осла, не покупайте вола. Не нужно вам ни лошади, ни сторожевого пса.

— А что же надо покупать? Не волшебную ли палочку?

— Купите себе раба! Он заменит вам осла под тяжестью и лошадь при жернове, вола на полевых работах и сторожевую собаку при двери. Обратите внимание на моих варваров из Германии! Это же силачи, хоть сразу на арену! Но если они не удовлетворяют вас, хотя сам Геркулес не может требовать лучших, — у меня есть и нечто небывалое. Пройдите вглубь катасты и взгляните за решетку клетки… Да, да, загляните, говорю вам! Ведь я не возьму с вас за это и четверти асса.

Продавцу не пришлось повторять приглашения, — клетку сейчас же облепили любопытные. В числе их была и Проба. Косые лучи еще невысокого солнца достаточно ярко освещали внутренность этого помещения, откладывая на грязном полу черную теневую сеть от деревянных брусьев и железных перекладин стенки. Тени, ломаясь, прыгали на белое, с волосатой грудью, тело звероподобного гиганта, сидевшего на корточках.

---

[1] *Катаста* — помост, на котором выставлялись на рынках рабы, предназначенные для продажи.

— Это обезьяна из лесов у истоков Нила! — крикнул кто-то.

— Не чудовище ли это из Тартара[1]? — воскликнула девушка и ахнула, когда пленник, изменив положение ног, показал свою мужественность.

Раздались восхищенные восклицания. Молодой франтоватый римлянин, благоухающий ароматическими лепешками, сказал, оборачиваясь к продавцу, зорко наблюдавшему за толпой:

— Некоторые наши матроны заплатят тебе, о Крисп, огромные деньги за этого зверя. И, уверяю тебя, если они и посадят его на цепь, то не у двери дома, а у своего ложа.

— Но можно ли его держать на свободе? — деловито осведомился пожилой римлянин с золотым кольцом всадника на пальце. — Не свиреп ли он?

— О, благородный господин, — залопотал грек, почуяв настоящего покупателя, — клянусь тебе, он кроток, как ягненок. Ведь он же скиф, а скифы, как всякий знает, очень покорны. Более преданных рабов не бывает. Ведь, как тебе известно не хуже, чем мне, в Афинах, моем родном городе, даже городская стража была некогда из скифов. Я выведу его сейчас из клетки, если ты действительно предполагаешь купить этого превосходного варвара.

Робкие и недоверчивые отступили. Грек отпер дверь клетки и крикнул при смехе зрителей:

— Ну, выходи, моя малютка, выходи, букашечка!

Пленник выполз из клетки, с явным наслаждением выпрямил мощный стан и потянулся. Он поднял руки над головой и потом согнул их в локтях, напрягая каменные шары мускулов. Он сказал что-то на своем языке, и голос его оказался неожиданно приятен. Пленник добродушно улыбался, и маленький плешивый грек казался рядом с ним, большим и добродушным, мерзкой старой собачонкой…

— Сколько ты хочешь за него? — сразу раздалось несколько жадных голосов.

Глаза грека забегали. Присутствие богатого римлянина, содержавшего, как он знал, школу гладиаторов, и исключительный

[1] [*Тартар* – глубочайшая бездна; место муки в подземном мире. У Гомера Тартаром называется место заключения титанов, отличное от ада. Позднее Тартар употреблялся для обозначения подземного мира вообще].

успех, который имел его товар у окружающих, заставил его назначить сумму больше, чем он раньше предполагал выручить за этого скифа.

— Тридцать тысяч сестерций! — крикнул он злобно.

В толпе ахнули. «Такие деньги за простого, необученного раба, которого надо еще дрессировать». Среди вознегодовавших была и Проба, искренно возмущенная названной цифрой.

— И неужели кто-нибудь купит? — кричала она. — Вот мотовство-то! Тут у порядочных людей нету даже пятисот сестерциев[1], чтобы купить девчонку для дома, а другие тысячами швыряются для потехи! Последние времена приходят. Не на хорошей дороге Рим!

Все-таки по пути на овощной рынок Проба кое-где приценялась к тому, что ей хотелось купить. Но продавцы, полагая, что девочка нужна матроне для любовных утех, выводили ей все каких-то накрашенных подростков и даже пытались раздевать их перед нею. Такой девицы Пробе не требовалось, да и дорого запрашивали купцы. Те же девчонки, что были дешевле, оказывались или хромыми, или слепыми на один глаз, или же — в чем душа держится. И Проба, переругиваясь с продавцами, все больше греками, острыми на язык, — проследовала за покупками.

III

Туллиола проснулась вскоре после ухода матери. Кубикул[2] был освещен золотисто: солнечный луч проник в спаленку сквозь щели оконного заслона, опущенного с вечера из-за свежести весенней ночи. В косой полоске луча копошились мириады светящихся пылинок.

Туллиола медленно открыла большие темные глаза. Как всегда, с противоположной стены на нее глянул обнаженный Гермафродит[3], намалеванный рядом с презрительно отвернувшимся от не-

---

[1] *500 сестерциев* — 20—25 рублей.

[2] *Кубикул* — спальная комната.

[3] [*Гермафродит* – персонаж древнегреческой мифологии, сын Гермеса и Афродиты, брат Абдера, Автолика, Еврита и Пана, юноша необычайной красоты, чьим именем стали называть двуполые тела. Гермафродитов считали либо богами, которые время от времени появляются среди людей, либо чудовищами].

го фавном[1]. Девушка зевнула и потянулась на матрасике, положенном, поверх коврика, прямо на пол. Понюхав воздух, ощутила запах ладана, шедший из комнаты родителей.

«Мать уже помолилась и ушла на базар, — подумала Туллия. — Возлияния Изиде и Озирису совершены. Отец внизу, в таберне, — потому так и тихо».

Она не прочь была бы еще поваляться, но к сладкому запаху ладана, который она любила, примешивался еще и противный душок горелого масла; с вечера Туллия читала повесть Петрония Арбитра о современных нравах. Сочинение это со всегдашней своей усмешкой ей принес ее обожатель Дор, книгопродавец. Повесть оказалась интересной, и девушка плохо следила за фитилем люцерны — она накоптила.

Приподнявшись, Туллиола сердитым толчком отодвинула дальше от изголовья простой канделябр с желтой глиняной лампочкой, с рельефным изображением человека, державшего цветок, и с закапанной маслом надписью: «Да будет счастлив и благополучен для тебя новый год».

«Я буду вонять весь день, как жареный горох!» — с раздражением подумала девушка и, вскочив на ноги, потянулась к ставне. Встав на цыпочки, с руками, поднятыми вверх, почти голая — ночная туника соскользнула с плеч, — она в золотистом озарении комнаты стала похожа на статую из необыкновенного золото-розового мрамора.

Ставня со стуком упала. Свежесть раннего утра ворвалась в комнату, солнце ярко осветило ее. Девушка несколько раз глубоко, с наслаждением вдохнула оживляющий воздух. Минутного раздражения как не бывало. Туллиола улыбнулась. Не одеваясь и не прибирая постели, она присела на корточки, чтобы в самые глаза поймать сияющий лик Гелиоса и сладко зажмуриться от его поцелуя. Затем понадобилось достать из ящичка, в котором хранились немногочисленные драгоценности, круглое серебряное зеркальце, и оно сказало Туллиоле, что в это утро она так же хороша, как всегда. Совсем развеселившись, улыбаясь и напевая, она сунула ноги в старые, с дырками на носках, кальцеолы[2] и, отбросив занавеску,

---

[1] [*Фавн* – одно из древнейших национальных божеств Италии, часто отождествляемый с греческим Паном].

[2] *Кальцеолы* — туфли.

закрывавшую вход в ее спальню, по трем ступенькам сбежала в комнату родителей. Здесь она занялась туалетом. Она носилась по скрипучему полу, едва прикрытая ночной туникой, легкая, голенастая. Громыхала тазами, пробуя воду, не слишком ли горяча. В то же время она прислушивалась к голосам, доносившимся снизу, и даже не постеснялась подойти к лестничному люку и заглянуть в таберну. Снизу на ее ноги уставилось несколько пар глаз; девушка отскочила от люка.

Чей-то медленный, скучный голос — Туллии представился лысый старик с отвисшим животом — рассказывал внизу, покашливая:

— После смерти сына, кхе-кхе, жена, понимаешь ли, перестала принимать пищу, а по ночам не спит, выходит в атрий[1], все смотрит на звезды. Я уже обращался к одному врачу, греку Дорифору, и тот велел мне поить жену настоем антикарской чемерицы. Дорифор говорит, что вся болезнь у моей жены от черной желчи, желчь же от дурной погоды… Правда, в то время мы были под знаком Водолея. Однако времени прошло уже много, и настой не помог. Жена моя стала как тень, только кожа и кости остались от нее.

— Этот Дорифор старый дурак, знаю я его! — услышал Туллия голос отца, нетерпеливо прервавшего словоохотливого посетителя. — Черная желчь! Всем, кроме него, известно, от чего бывает черная желчь: нельзя мешать жареное с вареным и дрозда с кальмаром, вот и все. Если этого не остеречься, тогда действительно может образоваться черная желчь, и тягучая слизь вызовет боль в кишках. У твоей же жены, основываясь на твоих словах, я нахожу другое. У ней отяжеление крови, которое вызвано сокрушением и печалью. И я вылечу ее. За десять динариев я дам тебе настоящее средство. Против такой болезни у меня имеются пилюли, приготовленные из смолы Асфальтового озера, которое также называется Мертвым морем. Эта смола столь легка, что сама всплывает со дна, хотя бог озера и пытается удержать ее там. И она сделает кровь твоей жены более жидкой…

---

[1] *Атрий* — комната в римском доме, служившая залом или приемной. Имела четырехугольное отверстие в потолке, под которым находился бассейн.

— Так, так… Кхе, кхе! — нерешительно покашливал муж больной женщины. — Я тоже слышал об этой смоле… Но почему ты так дорого ценишь ее?

— Потому что дело не в одной только смоле, — важно пояснил Поллион. — Если ты заставишь свою жену проглотить кусок смолы в чистом виде, то смола, прилипнув к стенкам желудка, принесет больной лишь вред. Смола известным образом смешивается со многими другими, весьма дорогими снадобьями, лишь после этого приобретает целебные свойства. Но и это еще не все. Ее особым способом растирают вместе с месячной кровью девственницы, что совсем отнимает у нее липкость и позволяет ей свободно проходить по самым тонким жилам. Разве ты не слышал, что моряки, собирая эту смолу в лодки, потом отделяют ее от днищ лишь с помощью месячной крови женщин или их урины?

— Так, так!..

Услышав плесканье и звон тазов в комнатах господ, Сирус заспешил покончить с порученным ему приготовлением потребовавшегося лекарства. Он любил прислуживать молодой госпоже. С томной мукой в теле склонялся он к ногам девушки, чтобы завязать шнурки ее сандалий. Но, увы, Туллиола давно уже не позволяла ему делать это так, как он это делал раньше, — медленно, наслаждаясь прикосновением к ее тонким щиколоткам, поднимая снизу к ней лицо. Что такое случилось с ней, почему она переменилась?..

И продолжая толочь серу в ступке, Сирус прислушивался к каждому звуку наверху.

— Сирус, дай каламистры[1]! — негромко крикнула Туллиола, покончив с умыванием и утираясь не очень чистым — одно на всю семью — полотенцем перед овальным медным стенным зеркалом.

— Несу, госпожа!

Щипцы для завивки волос давно уже грелись на жаровне. Сирус положил их к огню, лишь заслышав первые звуки пробуждения девушки. Дуя на перегревшиеся каламистры, он вихрем взлетел по лестнице, к госпоже. Туллия приняла щипцы, не взглянув на раба. Послюнявив палец и попробовав, не слишком ли они горячи, она подняла руки, чтобы подвить прядки на лбу и на висках.

Сирус увидел черные пучки волос у нее под мышками, его ноздрей коснулся запах ее пота.

---

[1] *Каламистры* — щипцы для завивки волос.

— Позволь мне быть твоей алипилой[1], — тихо и хрипло попросил он. — У меня есть маленькие ножницы, которыми перестригают жилы… Они не хуже золотых. Ты будешь стоять, положив руки на голову.

Туллия усмехнулась. «Он все еще надеется получить от меня наслаждение, как в те годы, когда я была десятилетней», — подумала она злобно. Темно-красные губы сжались жестокой складкой. Горячие каламистры опустились на голое плечо раба; тот отпрянул…

— Поди прочь! — процедила девушка. — Тоже нашлась вонючая косметa[2].

С побледневшим лицом Сирус спустился в таберну.

Красная полоса ожога жгла не только плечо, но и сердце: мстительная ревнивая злоба. Что случилось с Туллией? Ведь совсем еще недавно она позволяла ему ласкать устами ее ноги, и ее пальцы не раз касались его тела. Почему же теперь ему недоступно все это и его отталкивают, как собаку ногой? Разве он не молод, разве он менее красив, чем прежде? Ах, все это Дор, этот хромой демон с тихой язвительной речью. Но даже если Туллиола и влюблена в этого подозрительного человека, зачем же к нему, Сирусу, относиться с таким омерзением. Или она мстит ему за то, что он, когда она была еще ребенком, он сумел приучить ее к некоторой близости с ним? Но ведь он так любит ее… Какая злая девушка!..

И Сирус с таким негодованием принялся толочь серы в мраморной ступке, что Поллион строго взглянул на него, зашевелив косматыми бровями. А сверху слышалось негромкое пение, — Туллиола вертелась перед зеркалом, оправляя складки своего девичьего одеяния. Она тоже думала о Доре, небогатом книгопродавце с Аргилета.

— Он, конечно, хром, — говорила она себе, поворачиваясь к зеркалу то тем, то другим плечом. — Он, как ни верти, немного калеченый, и к тому же от него всегда пахнет кедровым маслом. Но, — девушка приподняла левое плечо, чтобы взглянуть, как легла на нем голубая ткань столы, — но запах этот вовсе не противный, это даже благородный запах, говорящий о том, что Дор имеет дело

---

[1] *Алипила* — рабыня, выдергивающая волосы из подмышек.

[2] *Косметa* — рабыня, заведовавшая туалетом госпожи.

с книгами, а следовательно, и с учеными людьми. Кроме того, у Дора красивое лицо, и он меня любит. Правда, он небогат, но бережлив, сообразителен и скоро сумеет разбогатеть. А самое главное, — плутовски подмигнула она своему отражению, — самое главное, моя милая мордашка, у тебя сейчас нет ничего лучшего на примете. Ведь подумать только, — мне уже шестнадцатый год, скоро три года как я совершеннолетняя! И до чего мне все опротивело дома, — брезгливо сморщилась она от запаха какого-то едкого лекарственного взвара, вдруг пахнувшего снизу и наполнившего всю квартиру. — Да, надоело! Вонь, этот Сирус и бедность, — даже вот покрывало рваное… Пойду без него.

Покончив с туалетом и быстро позавтракав — яйцо всмятку, немного салата, хлеба и молока, — Туллиола, боясь возвращения матери, которая могла засадить ее за какую-нибудь скучную домашнюю работу, когда ей так хотелось на улицу, в толпу, под весеннее солнце, — быстро застучала вниз по лестнице своими нарядными греческими башмачками, только что начинавшими входить в моду в Риме.

Внизу в ноздри девушки крепче пахнуло лекарственной вонью. Со стен глядели Гигия[1] и Эскулап[2]; Эпидаврский змей наклонял голову над чашей. Заслышав шаги дочери, Поллион поднял голову и попридержал ланцет, готовый уже вонзиться в чью-то распухшую от нарыва ладонь, вывернутую перед ним. Руку больного держал Сирус, не поднявший глаз не девушку.

— Куда? — спросил отец.

— Купить иголку, — быстро ответила Туллия и, не дожидаясь, что скажет отец, выскользнула из аптеки.

Римлянин, уже получивший пилюли для своей больной жены и из любопытства еще задержавшийся в приемной, спросил, проводив Туллиолу взглядом:

— А не от этой ли девушки, достопочтенный Поллион, ты брал кровь для моих пилюль?

— Да, — ответил врач. — Это моя дочь, она девственница.

---

[1] [*Гигия (Гигиея*) – в греческой мифологии богиня здоровья, дочь Асклепия и Эпионы либо Афины. По орфикам, Гигиея – супруга Асклепия].

[2] [*Эскулап* – древнеримский бог врачебного искусства].

IV

Улица шумела, гоготала, неслась, белая от тог. Пахло чесноком, жареной кровяной колбасой. Мальчишки у жаровен пронзительными голосами восхваляли ее качество. «Дорогу, дорогу!» — кричали скороходы, очищая путь для рабов в красных плащах, колыхавших на своих плечах носильное кресло с белолицым пожилым римлянином. Важный барин внимательно посмотрел на Туллиолу. Туллиола опустила глаза.

Сбегая со ступенек крылечка, она слышала, как следом за нею кто-то еще вышел из таберны, но не поинтересовалась, кто. Девушка торопилась, боясь встречи с матерью.

А это выбежал Сирус, ибо нарыв на ладони больного был уже вскрыт, и Поллион ловкими пальцами своими сам выдавливал гной. Сирус выскочил якобы за нуждой, но по дороге за угол, в безлюдье переулка, он остановился у прилавка Каллиста и кинул ему, чернобородому, яркогубому, несколько тихих слов, показав рукой в ту сторону, где скрылась в толпе Туллиола. И не успела та удалиться от дома и на сто шагов, как из двери термополия вышел молодой римлянин в белоснежной тоге и, бесцеремонно расталкивая прохожих, устремился следом за девушкой. Провожавший его до двери Каллист сказал ему вслед: «Желаю тебе удачи, трибун».

Туллиола направлялась за Форум, к старым табернам, а то и в Субурн, — как погуляется. Может быть, по пути она заглянет и на Сандаларскую улицу, к Дору, — ведь покупка иглы была только предлогом. Как истинная плебейка, Туллия любила римскую уличную толпу. Ее не тревожили шуточки и двусмысленные комплименты молодых ловеласов, не смущали пристальные взгляды пожилых господ, хотя она прекрасно понимала значение этих взглядов, внимание уличной толпы лишь льстило ей, говоря о том, что она хороша и возбуждает желание, и это прибавляло в ней уверенности в себе. Но Туллиола не отвечала ни на шутки, ни на жадные взоры, зная, что скромность невинности — самое действительное средство для возбуждения любопытства и похоти. Не скромна ли на вид сама Поппея, а что про нее рассказывают?

Пробивалась в толпе Туллия и не подозревала о преследователе, скоро догнавшем ее и теперь неотступном, как тень. Миновав Средний Янус, где даже скопцы отметили ее появление аппетит-

ным причмокиванием, девушка повернула к старым лавкам. Там она выбрала самый большой и богатый магазин, куда она, конечно, не решилась бы зайти за своею нищенскою покупкою, не знай она, что ее появление всюду и всегда доставляет радость мужским глазам. Конечно, Туллиола могла купить иголку где угодно, но ей захотелось полюбоваться на чудные дорогие вещи, выставленные в лавке ювелира.

Девушка смело переступила порог. В лавке было прохладно, темновато и пахло коринфской бронзой[1]. В месте, наилучше освещаемом окном, сидел за прилавком хозяин, раздутый полнотой, как тыква. «Иголку?» — удивленно переспросил он, отрываясь от счетной доски. Лицо у него было круглое, старое, с двойным подбородком. И оно сейчас же расплылось улыбкой, лишь только он разглядел молодость и миловидность покупательницы.

— Ну да, иголку, — повторила девушка, блуждая взглядом по полкам и столам, сверкающим драгоценностями. — Иголку за два асса, не очень толстую…

«Тут дело не в иголке! — подумал купец, почесывая жирную, отвисшую мочку правого уха. — Но девчонка хороша!»

И, чуть присюсюкивая, не совсем чисто по-римски, сказал девушке:

— У меня не мелочная лавка, дурочка, я иголками не торгую. Но если ты умеешь ласкаться, я смогу сделать тебе хороший подарок.

И, опустив руку в один из маленьких ящичков, стоявших около него, он достал оттуда золотые серьги: каждая сережка представляла собою маленькие весы изящной работы; вместо чашек были подвешены жемчужины.

— Какая прелесть! — восторженно воскликнула девушка, протягивая руки к драгоценности. — Сколько они стоят?

— Тебе ничего, если ты пройдешь со мной на полчаса вон в эту дверь. Причем если ты девственница, ты выйдешь оттуда ею же. Я люблю только нежные ласки… Эй, Нарцисс! — крикнул купец рабу, поднимаясь, уже уверенный в том, что его предложение принято. — Садись, Нарцисс, на мое место.

---

[1] Коринфская бронза издавала специфический запах.

Девушка подняла глаза на ювелира. В ее глаза была насмешка: такие и подобные этому предложения ей приходилось слышать нередко.

— Ты — старый дурак! — засмеялась она, бросая серьги на прилавок. — Неужели ты думаешь, что моя нежность стоит так дешево?

— Но, голубка, я ведь не знаю еще, чего она стоит! — без всякой обиды ответил купец, жирно похохатывая.

— И никогда не узнаешь! — презрительно ответила юная плебейка, вновь протягивая руку к безделушке. — Но какая прелесть, как красиво!

Она поднесла одну сережку к правому ушку и повернулась, ища зеркала. Ювелир, улыбаясь, любовался девушкой, соображая, как бы заставить ее чаще появляться в его лавке. Не подарить ли ей какой-нибудь пустячок, чтобы привязать ее к себе? Вдруг его лицо приняло серьезное, деловое выражение, — у входа в лавку кто-то стоял, наблюдая за происходящим. И ювелир приподнялся за прилавком, узнав в римлянине молодого, делающего карьеру при дворе Нерона преторианского трибуна Сведия Клемента. Ювелир успел только сделать пригласительный жест рукою, как трибун решительным шагом военного уже вошел в магазин.

Кокетничая перед большим овальным серебряным зеркалом, с сережкой, поднятой к розовому ушку, Туллиола взглянула на вошедшего косым взглядом. Этого молодого человека она несколько раз уже встречал на Тусской улице и знала его имя; по правде сказать, он ей больше нравился в коротком военном сагуме и шлеме с золотым острием на макушке, чем в тоге. Женским чутьем она поняла, что сейчас должно произойти нечто, и, всего вероятнее, приятное для нее. «Уж не шел ли он за мной от нашего дома?» — подумала она и подошла к прилавку, чтобы возвратить серьги.

— Юная красавица! — обратился к Туллии трибун, останавливаясь между нею и прилавком. — Сама Венера внушила мне мысль последовать за тобой сюда и теперь приказывает мне служить твоим желаниям.

Туллиола молчала, опустив глаза. В протянутой к прилавку руке блестели серьги. Поза была легкая, настороженная, — словно синичка опустилась на землю, готовая вспорхнуть при малейшем

шорохе. Трибун почувствовал это и потому, хотя и приготовился говорить длинно и высокопарно, — сократил непривычное для него ораторское выступление, сразу же перейдя к сущности дела…

— Позволь мне купить для тебя эту безделушку! — решительно произнес он, прижимая к сердцу левую руку с перекинутым через нее синусом тоги.

Но храбрая с простонародьем, сама плебейка, Туллиола здоровым инстинктом самосохранения остерегалась волокит из знати, которые, как с детских лет предостерегала ее мать и как она теперь и сама понимала, ничего не могли дать ей, кроме позора и даже гибели. Поэтому, не отвечая воину ни слова, девушка, бросив серьги на прилавок, скользнула к двери и мгновенно исчезла за нею. Трибун так и остался стоять с открытым ртом и трагически прижатой к груди левой рукой. Поза была достаточно глупа, и в умных глазах купца блеснул и погас огонек насмешки. Сведий Клемент, к счастью для ювелира, не заметил ее.

— Я покупаю эти дурацкие серьги! — строго сказал он.

И стал бешено торговаться, хотя ювелир, из уважения к преторианцу, которого городские сплетни прочили на должность второго префекта, и не запрашивал дорого. И когда трибун ушел, захватив с собой покупку, купец сказал приказчику:

— Думаю, малый, что тут дело не в любви. Никакая страсть не заставит Клемента раскошелиться на такую сумму, как тысяча восемьсот сестерциев. Именно над ним смеялись его друзья, говоря, что он так жаден, что, когда цирюльник подстригает ему ногти, он собирает и уносит обрезки…

И закончил, вздохнув:

— И не так-то легко, думается мне, я получу с него эти деньги!

V

Через три часа после описанного происшествия в ювелирной лавке Каллист, поблескивая голубыми белками всегда печальных глаз, шептал Сирусу, отведя его в угол зала, теперь почти пустого, ибо полдень уже миновал и посетители термополия, позавтракав, возвратились к своим дневным делам:

— Она убежала, лишь Сведий к ней приблизился, — шептал он, поглаживая блестящую черную бороду и не спуская глаз с мигающих ресниц раба. — Она не глупа, эта девчонка, да! Но трибун

в бешенстве. Несмотря на свою скупость, он заплатил вот за это, — Каллист разжал левую ладонь и показал Сирусу маленькую коробочку, — как говорит, три тысячи сестерциев. Трибун, конечно, преувеличивает, — подумав, сказал он, — эти сережки не стоят более двух тысяч. Сведию же, конечно, их уступили дешевле. Ты возьмешь их и положишь в спальню Туллиолы, так, чтобы она их заметила, понимаешь?..

— Да, — тихо ответил раб.

— Если же, — печальным голосом продолжал Каллист, — ты украдешь их, то городской префект по слову трибуна арестует тебя. Тебе на голову приляпают припарку из смолы и потом сдерут ее вместе с волосами. Что?

— Ничего. Будь покоен, я не украду, — и с завистью: — Он дарит Туллиоле такие дорогие вещи, — как он любит ее!

— Тише! — Каллист внимательно заглянул в глаза рабу: — Девушка очень упряма! — продолжал он. — И это мешает нам с тобой иметь скорый барыш с этого распаленного страстью солдата. Как ты думаешь, нет ли у девушки особой причины отталкивать ухаживания Клемента?

— Есть, — быстро ответил Сирус, и лицо его стало злым. — Дор, книжник с Аргилета.

— Отпущенник?

— Свободнорожденный. Он лавочник, но и сам сочиняет. Его знают многие важные римляне.

— Теперь знаю, — делая губы трубочкой и задумчиво покачивая головой, соображал Каллист. — Хромой. По вечерам он часто сидит с Туллией у двери таберны Поллиона. Не приходилось ли тебе слышать, добрый мой Сирус, чтобы этот Дор когда-нибудь непочтительно отзывался о кесаре?

— Это не годится, — понял раб: — я сам не раз думал об этом, ибо с радостью бы убил его. Не поднимай так, пожалуйста, своих бровей, — не нужно иметь проницательность Асклепия, чтобы угадать недуг моего сердца! Да, я думал об этом, но отверг. Господа покажут, что я лгу. Мне придется погибнуть на кресте, тебе же не будет от этого никакой пользы.

— Гм, ты не глуп! — согласился Каллист. — Возьми же эту коробочку и ступай. В ней есть и записочка. — И, похлопав раба по

плечу, сказал поощрительно: — Иди, иди!.. Помни, что иметь дела с Каллистом и пользоваться его расположением — всегда выгодно. Уже немало я вашего брата вывел в люди…

Сирус вышел. Каллист подошел к мраморному прилавку с вделанными в него серебряными, подогреваемыми снизу сосудами для кальды. На мраморе сохли красные круглые подтеки от стаканов с вином. «Надо велеть протереть мокрой губкой», — подумал Каллист и кликнул раба. Светло-желтая губка в руках последнего напомнила ему о волосах Неволеи. «Она сможет указать мне подходящего человека, — решил трактирщик. — В нее всегда влюбляются солдаты, палачи да могильщики».

В этот же день, уже под вечер, возвращаясь из бань, Неволея повстречалась с Умбреном и, ласково улыбнувшись, сказала ему:

— Знаешь, дружочек, я, кажется, влюбилась в тебя. С утра ты не выходишь из моей головы. Приходи — эта ночь твоя!..

— Но я и последнее, что имел, проиграл сегодня в кости! — огорченно развел руками солдат.

— Ничего. Один раз в месяц я отдаюсь по любви. И ты мой избранник, юный Геркулес.

VI

— Ты, всеобщая мать природы, ты, владычица всех стихий, перворождение веков, высшее из божеств, царица теней усопших!..

Голос то повышался до вскрика, то затихал, переходя в неясный бормоток, — Поллион молился Изиде.

Позевывая, еще по-настоящему не проснувшись, Туллиола слушала слова знакомой молитвы.

— Повелительница духов небесных, единообразное явление всех богов и богинь, власть которой — на небе и на море… Тебе подчиняется подземный мир… Единое существо твое в различных видах, с различными обычаями и под различными именами почитает весь земной шар!

Покончив с перечислением всех титулов египетской богини, которую он чтил превыше капитолийского Юпитера, — Поллион обратился к ней с просьбой о даровании ему новых успехов во врачевании, о ниспослании большого числа больных, особенно богатых, и о многом другом, без чего сам врач и его семья не могли чувствовать себя счастливыми.

Собственно, о сущих пустяках просил скромный врач египетскую богиню и ее божественного супруга: был бы сыт с домашними, было бы из чего платить домохозяйке, оставался бы грош про черный день. Уже торопливо, ибо услышал снизу голос первого пациента, попросил он о том же и прочих богов и отошел от ларария.

Туллиола зло усмехнулась: «Плохо помогают нам боги, и египетские не лучше Асклепия с Юпитером!»

Мало было Туллиоле того, о чем просил богов отец. Единственная богиня, которой, по ее мнению, следовало бы, пожалуй, молиться — была Фортуна, но и та не только слепа, но, вероятно, и глуха и все делает лишь по прихоти. За что, например, наделила она противную Фабию Сабину вот этим домом с такой прекрасной хозяйской квартирой в первом этаже, — с роскошным атрием, с залами, с уютными спальнями, в которых эта безобразная старуха развратничает с рабами и рабынями? Все дается в жизни случаем, а если и не только им, так хитростью, предательством, лестью, преступлениями. И почему бы не быть плохой, если и плохим и хорошим — один конец: урна в колумбарии[1] с кусочками обгорелых костей. Боги? Но недаром Дор говорит о них с ехидной усмешкой. И совсем уж не так важно, что будет после смерти, такой, — может быть, к тому времени и она, Туллия, так же будет уповать на благость Изиды и так же поклоняться ей, как и старый, бедный отец. Теперь важнее другое: чтобы не спать в этой отвратительной конуре, где по вечерам чадит скверным маслом дрянная люцерна. Ведь другие девушки, дочери знатных римлян или их любовницы, живут же в роскоши, купаются в мраморных бассейнах, и даже ночные горшки у них из серебра. А как приятно плавно качаться в лектике[2] на плечах рослых рабов и слышать завистливый шепот женщин и восторженный мужчин, встречать пламенные взгляды юношей и улыбаться в ответ надменно и лениво… Дор? Но что ж Дор? Она бы покровительствовала ему и не отказывала бы иногда в ласках…

---

[1] [*Колумбарий* (лат. columbarium, первоначальное значение – голубятня, от columba – голубь) – хранилище урн с прахом после кремации. В Древнем Риме для колумбариев сооружались специальные здания с рядами полукруглых ниш].

[2] [*Лектика* – носилки, употреблявшиеся в Греции, Риме и Азии и состоявшие из деревянного станка, на который клались матрац и подушка].

Мечтательный взор девушки остановился на круглом пятнышке на белом животе намалеванного на стене Гермафродита. Пятнышко медленно передвигалось:

— Еще клоп!.. Мало я чесалась ночью?

В глазах Туллии сверкнула злоба. Вскочив, она схватила с пола сандалию и звонко ударила ею по стене, окровавив Гермафродита.

— Какая тоска, милосердные боги!

Бросила сандалию на пол, заломила руки, потягиваясь; открыла окно. Но и день не порадовал, — утро пасмурное, серое. Вздрогнув от ворвавшегося в окно холодного ветра, девушка снова притворила оконный заслон, оставив лишь небольшую щель. Единственное, что могло исправить настроение, это серьги с жемчужинами, все же оказавшиеся у нее в комнате в вечер того дня, когда она ходила по старым табернам. И она достала их из дактелеотики[1]. Но сегодня, в бессолнечный день, даже золото желтело тускло и в жемчужинах не было блеска…

— Ах, если бы много, много таких вещей! — шептала девушка, играя сережками. Боясь вопросов матери, она еще не решалась украшаться ими. — Золота, янтарей, рубинов. За это можно было бы все отдать! Дор? Какие пустяки! — даже с озлоблением отмахнулась она сейчас же. — Зачем у него пальцы вечно в чернилах?.. Скряга, садится за переписку книг вместе с рабами! И потом этот противный запах кедрового масла, — не римлянин, а какая-то калечная книжная моль.

Лестница заскрипела. По звуку шагов, по скрипу Туллиола угадала, что это поднимается наверх Сирус. Во взгляде девушки появилась настороженность; она положила серьги в ящичек и снова легла на ложе, посматривая на дверной занавес. Сирус гремел в комнате, что-то делая. Потом затихло, и вслед за этим край занавеса шевельнулся.

Глаза Туллиолы гневно расширились. Стиснув зубы, она наклонилась, поднимая сандалий. Но в щель между дверным косяком и занавеской показалась просовываемая небольшая ваза. Туфля выпала из рук девушки…

---

[1] [*Дактелеотика* – первоначально, у древн. римлян, коробка или шкатулка, в которую прятались кольца, когда их не носили. Впоследствии это название перешло к собраниям драгоценных каменьев и гемм].

Ваза была очень красива. Она имела форму амфоры с ручками по обеим сторонам, похожими на шнур, ссученный из множества ниток. Художник вырезал на стекле барельефом сложный, прекрасный рисунок: две маски, мужскую и женскую, перевитые виноградною лозой с листьями и ягодами. Сверх того, над ручками сосуда, — Туллиола подалась вправо и влево, чтобы все разглядеть, — в небольших овалах изображалось занятие виноделов: мальчик с вакхическим жезлом и чашею в руках выдавливает ногами сок из винограда, второй наливает в чашу готовое вино, а двое остальных играют на двойной флейте.

Туллиола протянула руку к свободному ушку вазы. Как только раб почувствовал, что вещь держат, пальцы его осторожно разжались, и ваза перешла в руки Туллиолы, с детским восторгом прижавшей ее к обнаженной груди. Долго девушка не могла налюбоваться подарком, наконец как бы в изнеможении она откинулась на подушку. В этом падении навзничь был знак женской покорности. Ах, она готова отдаться тому, кто любил ее так, что не жалел тратить на ее радость такие большие деньги! Девушка лежала, закрыв глаза, прижимая к телу красивую и дорогу вещь.

Снова заскрипела лестница, поднимался Сирус; выждав сколько нужно и поняв, что и этот подарок влюбленного трибуна принят, — раб решился войти в спальню. И Туллиола не прогнала его, — ведь она же обязана благодарностью рабу, с риском для себя передававшему ей эти прекрасные вещи, в какой-то мере и он имеет теперь право на ее красоту и молодость!

— Что я должен сказать господину? — шепотом спросил раб.

Туллиола молчала. Раб опустился на колени и припал губами к ее ногам.

— Возьми меня с собою, когда уйдешь из дому, — шептал он, поднимая глаза к ее лицу. — Я умею делать любовные напитки, я готовлю яды не хуже Локусты. Я всегда пригожусь тебе, любимая моя!..

И, застонав от горечи утраты чего-то бесценно дорогого и от острой ненависти к рабу, — девушка ударила его ногой в лицо.

VII

В этот день дул Африкус, резкий юго-западный ветер, и Тибр был желт, в суетливых волнах. По небу тащили сизые животы низкие, тяжелые тучи, и, опасаясь дождя, римляне, покидая дома, одевали пэнулы. К полдню ветер усилился, засвистал в портиках, понес, крутя, пыль по улицам, и вдруг из коричневой басисто-громыхнувшей тучи с белесыми космами по краям — хлынул проливной дождь. Возбужденно крича, — выделялись испуганные женские и веселые детские голоса, — толпа побежала, растекаясь по домам, лавкам и харчевням. Улицы опустели.

В книжной лавке Дора, где все предметы были пропитаны запахом кедрового масла, истекавшим от ларцов и полок, хранивших свитки, в этой темноватой и тесной комнате ненастье задержало покупателя-иностранца, молодого человека, прибывшего в Рим из Иерусалима. Иностранца привел в лавку актер Алитур, человек тоже еврейского происхождения, находящийся в большой милости у кесаря. Актер скоро ушел, иностранец же углубился в просматривание греческих рукописей.

Потом хлынул дождь, загрохотал гром, и посетитель сказал:

— Прости меня, что я отнял у тебя столько времени, купив так мало, но идет дождь, и я вынужден еще остаться у тебя.

— Считай себя хозяином этой лавки и делай в ней что хочешь, — ответил Дор. — Оставайся, пожалуйста, — повторил он, пододвигая скамью.

Простота и приветливость слов Дора понравились чужестранцу; он понял, что причина любезности не в том только, что он явился в лавку с любимцем властелина, — видимо, и сам он нравился. К последнему, правда, чужестранец привык, — двадцатипятилетний, учтивый, с красивым лицом, обрамленный небольшой золотистой бородой. И Дор нравился иностранцу: его привлекало тонкое, умное, лишенное римской надменности лицо молодого книгопродавца. Посетитель по достоинству оценил большое спокойствие в его внимательных, чуть насмешливых глазах.

Все-таки иудей счел нужным начать с комплимента:

— Достойна удивления мудрость римлян! — сказал он, опускаясь на скамью. — Да, поистине, все обширное ваше государство

приобретено вами лишь благодаря вашим способностям, а не получено как дар счастливой случайности.

И умолк, ожидая, как будут приняты его слова.

— Если в моем лице ты хочешь польстить римскому народу, то ты выбрал для этого неподходящего человека, — усмехнулся Дор. — Я всего лишь сын отпущенника, правда, ученого человека.

— О, нет, я не хочу льстить! — подняв руку, словно отстраняя от себя недостойное, ответил еврей. — Только что сказанными словами я выразил суждение, к которому меня привело наблюдение всего, что я увидел в вашей стране… Я в Италии впервые. И вот что больше всего меня здесь поразило… Видишь ли, у себя на родине, как и во всех других странах, которые мне приходилось посещать, — большое число людей только тогда начинает знакомиться с оружием, когда война уже наступает. До тех пор, пока неприятели не подошли к границам или даже перешли через них, — никогда не увидишь на улицах такого числа солдат, как я вижу в городах вашей страны. Ни в одной из стран не упражняются столько в искусстве владеть мечом, луком или копьем… Римляне не выжидают подходящего случая для изучения ратного дела, как это делают все остальные народы, — они обучаются ему и в мирное время. Поэтому-то они с такой легкостью и выигрывают битвы, и вот — владеют миром…

— При таких твоих словах, чужестранец, патриций принял бы надутый вид, — тихо засмеялся Дор. — Ты бы подбавил ему еще спеси, которой и без того у него немало. Я же скажу, — мир слишком велик, чтобы им владел один народ. Да и военное счастье переменчиво, эти слова сказал лучший из полководцев.

Иностранец внимательно посмотрел на Дора.

— Не хочешь ли ты сказать, что уж завелся червь, который точит сердцевину дерева? Ты можешь говорить откровенно, я не из болтливых и не из тех, кто ищет успеха в жизни доносами.

— Я это вижу, — ответил Дор, — но я и не собираюсь поведать тебе какую-нибудь тайну о Риме. То, что я скажу тебе, лежит тяжелым камнем на сердцах многих римлян, и говорят об этом многие. Уже идет страшная битва…

Оглушительный удар грома прервал речь Дора: словно каменная громада обрушилась с неба на черепичную кровлю, —

так вздрогнул дом. Дребезжащими раскатами звук покатился дальше. Иностранец вскочил, побледнев, шепча молитву на своем языке. Дор остался спокоен. Оба молчали, прислушиваясь, не зажгла ли небесная стрела дома поблизости. Но ничего не слышалось, кроме хлеста дождя и шума бури. И посетитель спросил:

— Ты сказал о битве… Где же она?

— Там! — поднял Дор руку, и иностранец возвел взор вверх по направлению указывающего перста Дора. — Разве ты не слышал? Новые боги, сражаясь, оспаривают Рим между собою. Египетская Изида с Озирисом воюют с Юпитером и Герою и изгоняют последних из лараријев[1]. Ваш безликий Иудейский бог идет вслед за ними. Горе государству, из-за которого борются боги… Горе, горе!..

Иностранец молчал, что-то обдумывая и в то же время вслушиваясь в ослабевающий шум дождя, в удаляющийся рокот грома. Когда он поднял глаза на Дора, в них была власть и страстность.

— Неужели жалкая участь твоих богов может заставить тебя рыдать? — с презрением спросил он. — Ты жалеешь истуканов, которых жадные до славы и золота ваятели высекают из камня каждый по своему усмотрению? Ваши поэты и философы выдумывают богов, производя их друг от друга, различая их, как различают животных, по их местопребыванию, предоставляя одним землю, а другим море, самых же древних из богов заключая в Тартар. И ты подумай только, — с возрастающей страстностью продолжал иностранец, поднимаясь со скамьи, — ты подумай о том, что представляет собой сам отец богов Зевс… Это тиран и деспот! Недаром жена его, брат и та из дочерей, что вышла из головы его, я говорю об Афине Палладе, вынуждены были устраивать заговор против него! Не они ли собирались схватить владыку неба и посадить под замок, то есть поступить с ним так же, как он сам поступил с родным отцом своим? И разве не смешно, что одних богов вы представляете себе безбородыми, а других старыми и бородатыми. Боги воюют с людьми, играют на кифарах, забавляются стрельбой из лука; между собой же они ссорятся. Кроме того, они распутничают с людьми, и сам отец богов не отстает в пакостях от остальных сочленов семьи…

---

[1] [*Ларарий* – в римском доме культовое помещение или место поклонения домашним богам – ларам, пенатам].

Дор молчал, внимательно слушая. Иностранец продолжал с издевающимся презрением:

— Может быть, тебе этого еще мало? Так я напомню тебе о Гефесте, о том, как он при помощи остроумного приспособления захватил супругу свою Афродиту в объятиях Аресса и призвал всех богов полюбоваться этим. Тьфу! — с искренним отвращением плюнул он. — Разве ты глупец или по разуму такой же ребенок, как и остальные, чтобы печалиться о гибели таких богов?

Дор засмеялся негромко. Иностранец вскинул на него удивленные глаза.

— Чему ты смеешься? — обиженно спросил он. — Разве забавно, а не печально то, что я сказал?

— Видишь ли, почтенный человек, — все еще улыбаясь, ответил Дор. — Я засмеялся не над твоими словами, которые справедливы и мудры, меня рассмешил тот жар, с которым ты их произносил. Сразу видно, что ты провинциал. Ты полагаешь, что мы сами не знаем всего этого и не видим. Ты считаешь, что ты первый, кто так говорит в Риме. А между тем сколько уже раз и от скольких людей слышал я все это! Любой образованный египтянин, индус или, вот как ты, еврей считает своим долгом говорить то же самое своим друзьям, римлянам. И знаешь, чем все они заканчивают свои проповеди? Тем же, друг, чем и ты, вероятно, предполагал закончить свою: ты бы рекомендовал мне, — уже не скрывая насмешки, закончил Дор, — своего Иерусалимского бога, свою субботу, свои обычаи. Да, мой друг, я прав, чужие боги посылают в Рим своих вербовщиков, боги спорят из-за столицы мира!

«Этот язычник разумен, — подумал иностранец. — Но чем все же дышит его душа? Любопытно узнать это».

И он сказал:

— Ты прав, умный человек, — боги спорят из-за Рима. Но — победит истинный Бог!

— Почему он не побеждал до сих пор? — улыбнулся Дор. — Не повторение ли это борьбы Зевса с титанами. Боги рождаются и умирают, потому что рождаются и умирают поколения людей, создающих их.

— Ты хуже, чем язычник! — запальчиво воскликнул иудей. — Ты безбожник!

— Юпитер сердится, когда бывает неправ, — засмеялся Дор. — Знаешь что, иностранец, — я дам тебе хороший совет. Если ты из числа тех, кто заинтересован, чтобы среди римлян увеличивалось число поклонников субботы, если ты хочешь у них иметь успех, говори, проповедуя свою веру, что сама Помпея чтит иудейского бога, а при ее помощи при дворе можно добиться многого!..

В глазах иудея сверкнул гнев.

— Ты хочешь обидеть гостя, — сказал он сквозь зубы. — Я сожалею, что воспользовался твоим гостеприимством… Но дождь прошел, и я ухожу… Благодарю тебя!

Дор не ответил ни слова. Отражение большой тоски легло на его лицо. Иностранец почувствовал жалость к этому безбожнику. «Каких только уродов не порождает Рим!» — подумал он и спросил с порога:

— Какого же бога ты ищешь все-таки?

— Ах! — с подлинной сердечной болью вырвалось у Дора. — В том-то и горе мое, чужестранец, что я даже не смогу точно выразить мою мечту!

— Не безумен ли ты? Ты сам не знаешь, что тебе нужно.

— Нет, это не так! — горько усмехнулся Дор. — Я знаю, что нужно моей душе.

— Так говори.

— Я знаю, что единственное благо в мире — жизнь. И я хочу жить вечно, не болеть, не стариться, не хромать вот так, как хромаю, не знать принуждения над собой. Я хочу, чтобы воскрес мой отец, который был таким хорошим, добрым и так страдал всю жизнь. Есть ли Бог, который в силах сделать это? Только такой Бог истинный, ибо он бессмертен и благ. Ответь, чужестранец, ты видел много стран и народов, — есть ли такой бог?

— Ты слуга Распятого? — иудей удивленно поднял брови. — В Риме? Кто тебе рассказал о нем?

— О ком ты говоришь? — в свою очередь удивился Дор. — Пожалуйста, объясни мне!

— Я даже не хочу говорить о людях, называющих Его Богом, — холодно и отчужденно ответил иудей, подбирая выше колен свою белоснежную палестинскую аббу, чтобы шагнуть за порог в грязь улицы. — Я даже не хочу осквернять свой язык рассказом о Безумце, распятом в Иерусалиме много лет тому назад. Прощай. И знай, — ты плохо кончишь!

Развязав ремни и сбросив сандалии, Дор сунул ноги в туфли и вышел на улицу, чтобы на колонках перед лавкой развесить снятые перед грозой дощечки с объявлениями о вышедших и выходящих книгах. Мокрые стены домов ярко блестели, шумели ручьи, уносившие с омытой мостовой последний мусор. Щебеча, как воробьи, ребятишки уже пускали в лужах свои кораблики. Улица наполнялась народом.

Развесив объявления, Дор возвращался в лавку, когда его окликнул затибириец-старьевщик, весь еще мокрый и блестевший от влаги, с промокшим, туго набитым мешком за спиной. Старьевщик был немолод, бородат.

— Хозяин! — обратился он к Дору, приближаясь. — А нет ли у тебя какого старья-ветоши? Старую книгу, рваную тунику, треснувшую бутылку — все покупаю.

— Я не издаю книг для мелочных лавочек, — улыбнулся Дор. — Мои свитки не идут для заворачивания перцу. А битой посуды у меня нет, у меня, почтенный, не харчевня и не винная лавка…

— Так ты тот Дор, который мне нужен?

— А зачем я нужен тебе?

— Видишь ли, — и старьевщик возвысил голос. — Видишь ли, какое дело… Я спускался сегодня утром по одному из переулков к Тусской улице. И на углу я увидел Неволею, непотребную женщину, разговаривающую с пьяным солдатом из городской когорты. Неволея говорила солдату о книгопродавце Доре… Это ты?

— Да, это я.

— Не жди добра, когда плохая женщина шепчет пьяному солдату имя другого мужчины…

— Но я не знаю ни их, ни тебя.

— А я знаю и тебя, и их! — улыбнулся старик. — Слушай…

И старьевщик с ласковой властностью взглянул в глаза Дору.

— Слушай! — продолжал он. — Тебе, быть может, станет кое-что понятно, если я сообщу тебе, что солдат сказал, уходя: «Пусть только повстречается со мной ночью этот хромой писец!» Неволея же побежала от солдата в термополий Каллиста, — этого ты знаешь, вероятно, — а затем Каллист послал своего слугу за рабом врача Поллиона Сирусом, а Сируса ты уж не можешь не знать. Каллист с Сирусом долго шептался о чем-то, вот и все.

— Так, — сказал Дор. — Благодарю тебя. Сказанное тобой, несомненно, имеет значение для меня, хотя, видят боги, я не понимаю, почему эти люди заинтересованы в моей гибели. Сирус, странно! — вслух подумал он и спросил: — Ты, конечно, хочешь получить вознаграждение за свое сообщение?

— Да, — ответил старьевщик.

— Сколько же дать тебе?

— Мне не надо денег. Я лишь попрошу тебя на два дня освободить от работы писца Тихика, твоего раба…

— Хорошо, — согласился Дор. — Он прилежный работник. Пусть отдохнет.

— Благодарю тебя. Я знал, что ты не откажешь. Но Тихик берется не для праздности или отдыха, а для труда.

— Я ни о чем не спрашиваю.

— И не надо. Скоро твоему сердцу и без вопросов откроется многое.

И, прочертив рукою в воздухе две перекрещивающиеся линии, старик сказал с ласковой властностью:

— Иди с миром!

И Дор подчинился, вернулся в лавку, но там с удивлением и даже с тревогой стал думать, почему этот бедняк вдруг заговорил с ним с такою властностью и, самое главное, почему эта властность вдруг нашла в сердце Дора великую готовность к подчинению? Уж не чародей ли этот старик? Не один ли это из тех чужеземных богов, что бродят теперь по Риму, ища верующих? И не имеет ли эта встреча какой-нибудь связи с его разговором с ученым иностранцем из Палестины? Но ни на один из этих вопросов ответа не было. Лишь все настойчивее вспоминалось удивительное несоответствие между нищенским обличием старика-старьевщика и спокойно-сияющим, уверенным взглядом его глаз. «Таких глаз нет и у кесаря! — подумал Дор. — Но какое же счастье он носит в душе, что может так смотреть? Надо будет с ним еще раз встретиться и поговорить».

Тут в лавку вошли двое покупателей, и Дор отвлекся от своих мыслей.

VIII

Еще не успели стечь дождевые потоки, а уже весь Рим снова был на улицах.

— Ежи живые, морские ежи! — загорланили мальчишки.

— Медовые лепешки! — кричали торговки. — Колбаски, жареные кровяные колбаски…

Из бутылей, прикованных на цепочки к ларям, торговки предлагали и вино, по два асса за кубок. Неподалеку слышался бубен и неистовые выкрикивания бродячего жреца Кибеллы, потешавшего зевак.

Вознаграждая себя за час вынужденного сиденья под крышами, по узким тротуарам и по мокрому плитнику мостовой поплелись даже те, кому решительно никуда не нужно было идти. Давка и теснота раздражала тех, кто, задержанный ливнем, торопился возвратиться к делам, и они, проклиная праздных людей, загораживающих им дорогу, вспоминали слова одного умного человека прошлого поколения, так сказавшего о римлянах:

«Эти люди ничего не делают и всегда заняты; выбиваются из сил из-за пустяков, находятся в постоянном движении и никогда ничего не достигают; вечно суетятся и в результате — только надоедают».

Но воздух, очищенный грозой и дождем, был так живителен, а ласковое весеннее солнце так нежаще приятно, что не только черни в их лачугах, но и богачам не хотелось оставаться дома, — всех влекло в заражающее оживление столичной уличной толпы. Волны человеческих толп, белые от тог, вскипали и падали, растекаясь; ими плескало на Форум[1], их катало к гермам, заставляло бурлить и пениться на рынках и широко расплескивало по Марсову полю.

---

[1] [*Форум* – площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими зданиями. Первоначально на нем размещался рынок, позже он включил в себя комиций (место народных собраний), курию (место заседаний Сената) и приобрел также политические функции. Эта площадь служила центром общественной жизни, и из повседневного общения людей эволюционировало тематическое общение, носящее все признаки того, что мы сегодня называем форумом].

Многое в этот день волновало римлян, то сливая каждого с несущейся толпой, то вырывая из нее, чтобы спаять с кучкой приятелей у гермы на перекрестке или у входа в цирюльню. Но, пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что внимание бездельников больше всего привлекали сегодня три сплетни, из мраморных дворцов на Палатине вынесенные на улицу рабами и вольноотпущенниками… И вот чернь, довольствующаяся в собственном обиходе вареным горохом да жареной колбасой с уличных жаровен, с огромным интересом слушает и обсуждает сообщения о том, что кесарь отведал вчера за обедом молодых аистов, доставленных к его столу из Египта, и тем как бы снова ввел в моду блюдо, когда-то, еще при Августе, рекомендованное знатоком-гастрономом, Семпронием Руфом. Но раз уже заговорили о Нероне, то как же не рассказать о том, какой остроумной шуткой встретил гордый и смелый Паконий Агриппин известие о своем изгнании…

И пекарь в войлочной шапчонке, прикрывающей вечно зябнущую плешь, шепчет приятелю, выставив пузо из низкой двери своей лавки:

— Он только что сел завтракать… Раб поставил на стол салат и яйца… Вдруг гонец от городского префекта: высылка! Что же Паконий? Встает и говорит рабу: «Значит, малый, придется уж мне завтракать в Арриции!» Каково?

В восторге от бесстрашного остроумия знатного римлянина, слушатель шлепает себя ладонями по ляжкам и даже приседает. Вдоволь насмеявшись, он, чтобы не остаться в долгу у приятеля, считает своим долгом рассказать ему об одной знатной матроне[1], купившей себе раба-философа за сто тысяч сестерциев и возложившей на него всего лишь одну обязанность — подсказывать ей во время пиров подходящие случаю стихи.

— Матрона, видишь ли, пожелала прослыть образованной и вот завела себе говорящую машину. Вместе с любимой собачкой она берет его с собой даже в лектику…

— Сто тысяч за философа! — оскорбляется пекарь. — За эти деньги можно было купить десять сундуков с книгами…

[1] [*Матрона* (римская матрона) – представительница древнеримского общества].

— Но ведь книги-то надо читать, а у нее не хватает времени даже на писание любовных записочек…

И оба разражаются хохотом.

О многом в этот день шумела римская толпа. И если то, что ее волновало, не было сплетнями с задворков дворцов, оно являлось вестями с Форума, цирковыми новостями или сухими и точными сведениями из банкирских контор и меняльных лавок под Средним Янусом. Но как между сплетнями, среди деловых новостей, так и в правительственной информации на выбеленных гипсом досках в базилике Юлия — нигде, конечно, не упоминалось о том, что несколько дней назад в Италию прибыл некий центурион Юлий, посланный в Рим из Кесарии распоряжением прокуратора Порция Феста с партией подследственных арестантов и уже считавшийся погибшим в море. Прибытие в Путеолы этого незнатного и нечиновного офицера не могло быть событием ни для кого в столице, и сообщи об этом acta diorna — римляне удивленно пожали бы плечами, укоря казенных осведомителей в пустословии. И не с тем ли презрением отвернулись бы римляне от глупца, который с украшенной корабельными клювами ростры решился бы крикнуть, что день, когда один из узников Юлия вступил на Италийскую землю, — невидимыми, но крепчайшими нитями связан с тем грядущим, которое погасит огнь на жертвеннике Весты и превратит блестящий римский Форум в Коровью площадь, где варвары-крестьяне будут оставлять свой скот, приводимый в Рим для продажи. Даже не рассердились бы римляне, даже не вознегодовали бы, — разве можно сердиться на безумного. И шутники смеялись бы: «Об этом послушаем тебя в другой раз!»

И все-таки нашлись в Риме люди, чьи сердца радостно вздрогнули от доставленного им с нарочным известия, что Юлий уже оставил Путеолы и приближается к Риму. Но эти люди не блистали белоснежностью тог, и их не было видно в нарядной римской толпе. Они были париями Рима и жили в грязных, узких улицах, сбегающих к пристаням. Среди пакгаузов и амбаров для ссыпки зерна, в лачугах, приютивших мелочные лавочки выходцев из Иудеи, среди дубилен, в сжимающих горло испарениях гноильных чанов, — были их обиталища. Здесь жили сирийцы-носильщики, здесь скры-

вались беглые рабы, сюда перекочевывали проститутки, изгнанные за безобразную старость и болезни из публичных домов города.

Среди этих отбросов столицы можно было насчитать несколько десятков людей, таких же бедных и, по-видимому, таких же несчастных, как и все остальные обитатели этих трущоб, и в то <же> время как бы чем-то обрадованных и скрывающих, но не могущих до конца, совершенно скрыть свою радость. Эти люди были работящи, кротки, мужественны. Радость общей веры спаяла их общину в одну дружную, крепкую семью. Говорили о них еще немного, но разное. Будто бы на собраниях своих они предаются распутству и чтут за бога ослиную голову. Другие, напротив, утверждали, что никакой ослиной головы у этих людей нет, но что они поклоняются какому-то повешенному, а вождем их является некий беглый раб по имени Хрестус, — распространенное рабское имя. Словом, ничего определенного об этих людях еще не знали.

И вчера они вдруг проявили странное, несвойственное им возбуждение. С утра были особенно радостно и оживлены, и, встречаясь, таинственно шептались друг с другом, а в полдень мужчины одели дорожные плащи и двинулись по направлению к Капенским воротам. В руках у них были посохи и узелки с пищей, — видимо, путь им предстоял неблизкий.

Сейчас многие из этих людей были уже далеко от Рима — подходили к селению, называемому Тремя Гостиницами. Дождь задержал их в пути; нечего было и думать достичь засветло конечного пункта их следования — Форума Аппия. Часть путников, обессилев и продрогнув в мокрых одеждах, остановилась на ночлег в Трех Гостиницах, более же сильные и отважные, превозмогая усталость и не убоявшись ночной темноты, решили продолжать путь дальше. Среди них были Тихик и Иродион, сделавшие, догоняя вышедших раньше товарищей, значительную часть пути в наемной повозке.

Завечерело. Медно-красный щит солнца уже наполовину погрузился за горизонт. Над болотистыми пространствами справа и влево от дороги поползли сизые полосы тумана. Потемнела осока и камыши, и лишь водяные озерца между ними сияли стеклянно, золотисто, отражая в себе бледно-желтое чистое небо. Аппиев путь был пустынен; уже не громыхали по его лавовому настилу колеса

убогих крестьянских телег и роскошных экипажей богачей, — все, кто мог, укрылись под крыши гостиниц от зловредной ночной сырости Помптинских болот. Пустовали скамьи, часто попадавшиеся на пути, не слышалось говора пешеходов. Лишь по сторонам дороги крякали утки в тростниках да пронзительно кричали ночные птицы, уже начавшие чертить небо своими острыми крылами…

В благостной тишине вечера с мерной твердостью звучали шаги двенадцати путников. Неторопливые, но и не замедляемые шаги людей, которые знают, что путь должен быть пройден и что он пройден будет. Взмахивали посохи, иногда раздавался вздох, выправляющий дыхание. И опять: раз-два, раз-два, раз-два. Впереди Иродион, такой легкий, словно летящий, за ним молодой высокий Тихик и остальные…

В это время дневная жизнь в Риме уже заканчивалась. Скрипели двери закрываемых лавок, зажигались люцерны в домах, выходили на посты солдаты первой стражи. Те, что были богаты и любили веселье, готовились к пиру; флейтщицы и танцовщицы наряжались и красились, повара покрикивали на прислужников, носильщики в красных плащах тащили в лектиках своих господ туда, куда они были званы; ученый человек, придвинув к своему ложу канделябр с несколькими люцернами, погружался в чтение свитка. Легкомысленные дамы, чьи мужья были вне Рима, ждали любовников, которых должны были провести в их спальни доверенные рабыни…

IX

В великой тишине, сошедшей на Помптинские болота, по воде канала, еще багряного, как тога триумфатора, от Таррацины к Форуму Аппия медленно следовал караван более чем из десяти широких, грубо сколоченных барок. Строения Таррацин уже потонули в тумане, задымившем над устьем Уфента, и только Анксур, древний вышгород вольсков, еще различался вдали на своей розовой в лучах заката известковой скале. Погонщики покрикивали на мулов, тащивших суда на лямках; животные по бабки вязли в размытой дождем тропе. Повсюду слышался лягушечий рокот.

Центурион Юлий стоял на корме головной барки, рядом с лодочником-оском, вихрастым парнем, старательно орудовавшим

кормовым веслом. Офицер бранился грубо и едко, как умеют браниться только военные; он поминал богов преисподней и фурий, и загорелые лица солдат, наполнявших барки, улыбались сквернословному мастерству начальника, боязливый же оск при каждом проклятии испуганно собирал в складки кожу на лбу, обезображенном кампанской болезнью; казалось, сквернословия воина падали на его голову с тяжестью увесистой палки.

Как Юлию было не торопить погонщиков, жалевших хлестать своих мулов хворостинами? Ведь он, уже считаемый друзьями и родственниками погибшим и, действительно, лишь чудом спасшийся, — все-таки приближается к Риму, где ждали его награды, красивые женщины, цирк, театры, вино, — легкая жизнь бравого военного. И предвкушение всего этого разжигало простую душу Юлия, как глоток божественной смеси фалернского с хиоским — давно уже не пробованное лакомство.

Освобождая руку из-под сагума[1], потрясая ею над шлемом, очищенным денщиком в Путеолах от следов морской соли, он гремел снова и снова:

— Торопи, торопи свою скотину, или я велю утопить тебя в этих болотах! — и, оборачиваясь к отстающим баркам, во всю мощь своей богатырской глотки: — Не отставать, черепахи, не отстава-а-ать!..

— Ги, ги! — тонко, как чибисы, вскрикивали погонщики, и мулы уторапливали чавканье копыт в черной и липкой грязи.

Вот скрылись позади и розовые очертания высот Анксура: словно поднялись в небо, вспыхнули еще раз и растаяли. Посинела, потяжелела вода, — триумф вечера окончен, в траурной тоге сходит на землю ночь. С кормы головной лодки, встав рядом с Юлием, протрубил трубач, высоко вскидывая медный хобот трубы. Старшие в лодках стали выкликать имена часовых первой смены, и очередные, бряцая оружием, прошли на кормы и стали там рядом с лодочниками. Засветились первые звезды. Ночь подходила вплотную.

---

[1] [*Сагум* – плащ римских солдат. Обыкновенно сагум закреплялся на плече, но бывали исключения. Он изготовлялся из шерсти. Сагум носили все римские граждане, кроме консулов; также сагумом называлась накидка бедных людей].

— Слава богам, день прошел благополучно! — вздохнул медной грудью немолодой солдат в барке, следовавшей за головной. — Богиня возвращающихся, благостная Ареояна, покровительствует нам!..

— Не очень-то! — ответили ему. — Или ты уже забыл дождь, промочивший нас? Мой сагум хоть выжми!

— Ну, это дождь не тот, что сек нас под Милитом. Пожалуй, ребята, нас все же спас Бог старика, — и солдат головой показал на нос барки. — Иногда я думаю так, да…

Солдату никто не ответил, и он умолк. Те воины, кто, несмотря на усталость, еще проявляли интерес к окружающему, следили за игрой в кости четырех товарищей, устроившихся между скамьями. Игроки зажгли фонарь и поставили его на дно лодки, около игральной доски. Над их головами сияло как был золотое облачко света, привлекавшее ночных насекомых. Лица воинов казались бронзовыми от отсветов. Кости, сотрясаемые в кампанском бокальчике, стучали звонко, металлически и с четки стуком падали на абакус. Охваченные азартом игроки разом наклонялись над доской, иногда с проклятиями сшибаясь головами.

Счастливец, бросивший кости так, что все они показывали различные цифры, кричал: «Венера!» — и забирал деньги. Выбросивший «собаку» — четыре единицы, — ворчал и готов был на драку. И именно один из неудачливых игроков ударил в живот тяжелой своей калигой скованного с ним арестанта, крича, что это он, потащив к себе цепь, помешал ему бросить кости надлежащим образом. Удар был силен, и побитый охнул, схватившись за живот свободной левой рукой. Но он побоялся стонать, чтобы еще более не раздражить солдата, и лишь все ниже приседал, кусая губы и поднимая правую руку, чтобы цепь, соединившая ее с левой рукой воина, не поползла бы опять с колен последнего и не помешала бы возобновившейся игре.

Скоро, однако, игроки прекратили игру, переругавшись, и тоже стали устраиваться на ночь. Скованный с солдатом узник с ужасом думал о пытке предстоящей ночи, — нужно было сидеть, боясь задремать и пошевелиться, чтобы не побеспокоить проигравшегося и поэтому злого воина. Ночь не даст отдыха, а только новую муку!

Один из погонщиков гнусавым голосом затянул песню о девушке очень красивой и ласковой, другой подтянул ему. В черном небе сияли звезды. Журчала и звенела вода, поглаживая борта барки.

На носу лодки негромко разговаривали. Воин по имени Статор — хорошее имя для солдата — рассказывал о своей семье греку Лукану, врачу, сопровождавшему отряд от самой Кесарии. С этим Луканом, как и с другим человеком по имени Аристарх, — была целая история, не совсем ясная не только для Статора, но даже и для самого начальника отряда Юлия. И Лукан, и Аристарх, оба свободные, добровольно последовали за человеком, носившим иудейское имя Савл и латинское Павел; Павел был направлен из Кесарии в Рим на суд кесаря; Лука и Аристарх последовали за ним и служили ему в пути, как служат старшему другу или наставнику, оберегая его и заботясь о нем. Как Павел, с которым Статор был скован на эти сутки, так и спутники его — были хорошими людьми, всегда готовыми на доброе дело, на помощь, на сочувствие любому солдату и любому из узников; и едва ли не уму Павла и силе его духа, а быть может, как думали некоторые, и действительно — божественности его, отряд был обязан своим спасением у берегов маленького Милита. Но это было уже давно, и солдатская память, твердая лишь в запоминании рассказов о ратных подвигах, все реже возвращалась к страшным дням и ночам в волнах, когда буря рвала якорные канаты и гибель, казалось, была уже неминуема. Но если солдаты все же вспоминали о той поре, — им как-то даже не верилось, что этот всегда молчаливый, большеголовый человек в бедных одеждах и цепях вдруг обратился к ним, потерявшимся, плачущим, как дети, с твердостью приказа в голосе и вернул их к борьбе за жизнь словами:

— Убеждаю вас ободриться! Ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Потому что мне должно предстать пред кесаря, и Бог даровал мне всех вас, плывущих со мной. Ободритесь же, воины!

Да, с удивительной силой были сказаны тогда эти слова. Не только Юлий, чей голос совершенно потерялся в раскатах грома и реве бури, но даже и сам легат, начальник легиона, не мог бы вложить большей власти в эти слова. И как странно это вспомнить, — настали часы, когда отрядом повелевал не центурион, а узник.

Потом, когда миновала опасность, это забылось, и было похоже на то, что сам Павел постарался изгладить из памяти солдат впечатление власти, которую он в то время получил над ними. Он стал прежним, тихим, молчаливым, больным, и лишь взора силы его не мог погасить. И каждый, начиная с Юлия и кончая последним солдатом, встречаясь с этим взором, — с какой-то неловкостью опускал ресницы, вспоминая о власти, которую имели над ними эти глаза, этот голос. Было странно думать, что человек такой силы несет на себе оковы. Не добровольно ли он принял их на себя? Не падут ли они в одно из мгновений, когда узник этого захочет или этому исполнится срок. Не бог ли он?

Сейчас Павел дремал, закрыв глаза.

— Я свободнорожденный, — говорил солдат Лукану. — Отец же мой отпущенник, а род наш из Сирии. Отец мой считался хорошим струнником в Риме. Он и из меня хотел сделать струнника, но я с детства возненавидел бараньи кишки, из которых струны приготовляются… Ты бывал в Риме?

— Нет, — ответил Лукан.

— О, это город! Он, наверное, раз в десять больше твоей Антиохии.

— Должно быть, это так и есть, — согласился Лукан равнодушно. — Не напрасно же говорят, что все дороги ведут в Рим.

Но Лукан плохо слушал болтовню солдата, он посматривал на Павла, сидевшего между ним и воином. Глаза у Павла были закрыты, и Лукан жалостливо думал о том, как должны были страдать эти больные глаза от блеска воды, мучившего их целый день. Ах, какое горе, что у дрянных путеольских врачей не нашлось ни унции чудодейственной черной мази, столь полезной гнойноглазым.

Сидевший у ног Павла Аристарх счел нужным из вежливости поддержать разговор с воином; это делалось для Павла, конечно.

— Если ты, Статор, затибириец, ибо ведь там, как я слышал, живут струнники, не встречался ли ты в той стороне с людьми, исповедующими, как и мы, воскресшего Христа…

Аристарх плохо говорил по-римски, подучился несколько лишь за время путешествия, и фраза получилась тяжелой. Солдат, не сразу поняв, что спрашивают у него, переспросил:

— Хрестус? Да, это имя я слышал. Одни говорят, что он беглый раб и полиция даже пыталась раз поймать его. Другие, как и вы, говорят, что он Бог, который был распят и потом воскрес. Легковерные рабы, падкие на сказки, очень любят слушать рассказы о нем… И знаешь что, — он повернулся к Аристарху, и цепь, соединяющая его с Павлом, зловеще заскрежетала. — Знаешь, что еще рассказывают люди, верящие в Хрестуса? Вот, слушай. В порту есть харчевня грузчиков, и в огороде за ней скала… Так из скалы будто бы день и ночь льется струей масло. И те, кто верят по-вашему, утверждают, что это чудо явилось как раз в тот день, когда в Палестине родился ваш Бог… Да, так говорят. Однако мало ли что говорят, сам же я этого не видал. Пора спать, поздно…

Статор встал, чтобы плотнее завернуться в сагум, еще мокрый и тяжелый от впитанной влаги, и устроиться на лавке удобнее. Собранная кольцами на скамье цепь соскользнула вниз и загремела о днище барки. Лукан испуганно и умоляюще протянул руку к солдату и взглянул на Павла. Павел не открыл глаз.

— Пусть он устраивается, как ему лучше! — добродушно сказал солдат. — Цепь достаточно длинна, и он человек спокойный. И он, и ты, врач, немало сделали нам добра, храни, храни вас за это наши боги и ваш Бог. Лишь бы хранили хорошо! — усмехнулся он. — И да избавит вас Геката от дурных снов.

Статор умолк и скоро захрапел. Уснул и Аристарх, укрыв ноги Павла краем своей грубой палестинской аббы. Обождав еще некоторое время, Лукан тихо сказал Павлу по-арамейски:

— Обопрись о плечо мое, друг мой и брат. Завтра начнется долгий пеший путь, и ты должен иметь тело крепким, я же спал днем.

— Благодарю тебя, Лука, — ответил Павел, открыв глаза: из глубин их в любящие, сострадающие глаза верного спутника глянуло величайшее спокойствие. — Не сон укрепит меня, — продолжал Павел, — укрепит меня радость, что обет мой выполняется, — буду скоро проповедовать в Риме Господа нашего Иисуса Христа.

Лука благоговейно наклонил голову.

Дремный и монотонный раздавался повсюду лягушиный рокот. Чуть звенела вода, и сочно чавкали копыта мулов по грязи тропы. Лодочник скрипел рулем, отклоняя от берега нос ладьи.

Шлем на часовом, стоявшем рядом с ним на корме, чуть отсвечивал. Мерно дышали уснувшие.

Павел положил руку на захолодевшую руку Луки и едва заметно пожал ее. Это означало: «Благодарю за любовь и верность. Не тревожься, ведь мы вместе!» И еще: «Сейчас я хочу остаться наедине с собой».

Павел широко открыл глаза, и в них глянули звезды. Одни переливались, искрились, другие сияли неподвижно, спокойные в своей светоносной силе. И взгляд последних был похож на взгляд Павловых глаз. Заветное осуществлялось, оно уже в его руке: апостол язычников у преддверия гнезда язычества. Какая битва предстоит! Какая битва и победа! «Победа, ибо, — думает Павел, — дух дышит где хочет, и нет ничего сильнее его. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибнем».

«К кесарю взываешь, к кесарю и пойдешь!» — сказал в Кесарии гордый римлянин, но его бритыми, надменными губами двигал Дух, коему служит Павел.

Павел смотрел на небо, на яркие звезды. Нет, он смотрит не на них, и не он смотрит, а Дух, избравший своим сосудом его слабое тело, созерцает их, как свое достояние, как светильники, возженные его же рукой. А за звездами Он, и Он смотрит в душу Павла, и душа становится Им. «Зачем гонишь Меня, Савл?» — Затем, чтобы возлюбить по смерть твою, возлюбить огненною, горы движущею любовью.

Лодка ли движется, звезды ли плывут. Вода ли, звеня, бежит навстречу, он ли, апостол язычников, несется над потоками черного времени, бесконечность в бесконечности, до конца растворившиеся друг в друге и в то же время неслиянные.

Барка дышит. Окованные панцирями груди мерно забирают сырой воздух и с шумом выбрасывают его из легких, — жизнь. Павел вне этой жизни: каждый вздох его равен столетию, каждый удар сердца перековывает лицо мира оглушительнее землетрясения. Солдат переворачивается на другой бок и тащит за собою цепь. Звякая и скрежеща, звенья ее падают на дно лодки. Но едва эти звуки касаются сознания Павла, как цепь тысячепудово тяжелеет и становится неподвижной, а солдат стонет и затихает, может быть, умирает.

Спит барка. Лишь чуть слышно стонет побитый, прижимая к животу левую руку. Он просит смерти у богов, он готов вынуть меч из ножен воина и поразить им себя. И Павел встает на этот стон; распалась цепь, не проснутся люди, ничего не увидит часовой на корме. Павел идет к страдающему, взывающему о смерти рабу по телам и головам спящих. Он наклоняется, он касается рукой содрогающегося тела. Испуганные глаза встречаются со взором вечности. И нет боли, есть только счастье. И звучат слова: «Мы как сор для мира, как прах, ногами попираемый; мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибнем».

И снова все как прежде. Часовой на корме оперся на копье, и звездный свет на металлическом острие. Стряхивая минутную дрему, часовой сплевывает в воду. Снова скрипит руль в руках лодочника. Погонщик снова понукает лошачиху.

— Плоха, парень, твоя животина! — обращается от скуки часовой к оску. Солдат говорит негромко, но в тишине ночи слова его слышны на всех лодках.

— Что ты говоришь? — спрашивает часовой с головной барки.

— Я так, этому дурню, оску. Скоро ли вторая стража?

— Еще постоим.

Закрывший глаза при первых звуках человеческой речи, Павел слышит, как проснувшийся Аристарх снова тщательно укутывает ему ноги, не понимая, почему они оказались обнажены. Лука вздыхает глубоко и тяжко. Он вспоминает Эгейское море, Милет, встречу, оказанную им братьями, прибывшим в Милет из Ефеса. И огненными буквами чертит память страшные слова Павла:

— И ныне, вот уже знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие.

— Да не будет так! — как заклятие шепчет Лука и поднимает глаза на лицо Павла.

X

Дор диктовал трем писцам сатиры Горация, на которые читатель вновь предъявил спрос. В просторной комнате над книжной лавкой воздух был нагрет и тяжел от двенадцати пылающих светилен шести билихнисов. Пахло масляной гарью и чесноком от дыхания писцов, уже поужинавших. Их черные длинноволосые головы

низко склонялись над лентами медленно ползущего папируса; руки то и дело поднимались и опускались, погружая зачиненные тростинки в глиняные чернильницы. Место Тихика пустовало.

Дор диктовал хорошо — неторопливо, ясно, иногда сам подсказывая Тироновы сокращения. Но вот писцы чаще стали встряхивать головами, — затуманилось зрение, устали. «Начнут ошибаться, если продолжать, — подумал Дор, — и книга утратит качество». И, закончив пятую сатиру, сказал:

— На сегодня довольно. Гасите лишний свет и отдыхайте.

Писцы выпрямились и положили тростинки. Каждый из них с приветливой улыбкой взглянул в лицо Дору. Хозяин был добрый и справедливый. Он не приставал с мелочами, требовал лишь послушания и порядка в работе. Никогда не посягал он и на личные их сбережения, на их рабский пекулиум; писцы чувствовали себя у Дора как бы вольнонаемными, отпущенниками. Трех из них, самых молодых, купленных еще мальчиками, хозяин сам научил и искусству письма.

Дор встал и велел старшему из писцов, исполнявшему и обязанности домоправителя, принести ему плащ.

— Вечер свеж для моей бедной ноги.

Заботливый раб принес не только плащ, но и шерстяные обмотки для голеней.

— Они помогут плащу сохранить тепло в твоем теле, господин.

— Но теперь не зима, — отказался Дор; он направлялся к Поллиону, чтобы повидаться с Туллией, и ему не хотелось появиться перед ней с добавлением к костюму, которым, да и то лишь в зимнюю пору, пользовались лишь больные да старики.

— Когда возвратится господин, и выйти ли ему навстречу?

— К концу первой стражи я буду дома. Встречать не надо. Пусть лишь один не спит и ждет моего стука.

Сопутствуемый светившим ему домоправителем, Дор спустился в лавку и оттуда вышел на улицу. Темная и узкая, застроенная высокими домами, она была еще оживлена и многолюдна. У открытых, освещенных дверей жилищ группами стояли и сидели на приступках беседующие женщины. Поодаль девушки любезничали с молодыми людьми. Еще торговали харчевни и мелочные ла-

вочки. Их окна были озарены изнутри красноватым светом люцерн. На фоне этого озарения чернели головы и плечи покупателей и закусывающих. Пахло вином, слышался смех женщин…

— Удивительно, удивительно! — много раз повторил Дор, ковыляя по направлению к Тусской улице. Его волновала и тревожила мысль, каким образом к его отношениям к Туллии, отношениям чистым, почти жениха и невесты, — почти, ибо последних слов еще не было сказано, — припутываются подозрительные лица, о которых сообщил ему старьевщик. Собственно, эта тревога и заставила его закончить рабочий день ранее обыкновенного, — ведь уставшим рабам можно было бы дать отдохнуть и потом снова возобновить диктант.

«Вероятнее всего, — думал Дор, — налицо чье-то, враждебное мне, ревнивое внимание к девушке. И это опасно, если влюбленный имеет средства нанять убийцу… Напрасный расход! — усмехнулся он не без горечи. — Туллия не любит меня. На брак же со мной согласится лишь по расчету, ибо никто из более состоятельных людей не сделал ей еще предложения. Ей хочется замуж, ей надоело дома, — вот и все».

Но именно поэтому-то Дор и не торопился с предложением: он был горд и самолюбив. Да и сам он, Дор, любит ли девушку? Пожалуй, больше чем любит, хочет, чтобы она его любила. Конечно, кто откажется от ласк такой красавицы, как Туллия, но, — странное дело, — чем ближе подходил он к ней, тем ощутимее нарастало в его душе чувство отталкивания. И удивительнее всего, что то же самое случалось с ним и при ухаживании за другими девушками. Это странное чувство, часто вызывавшее в душе Дора страдание, как сознание некоего своего уродства, — было похоже на боязнь отдать за бесценок что-то чрезвычайно дорогое, чем владеешь и что навсегда потеряешь. И Дор уходил от девушек, вызывая в них насмешки и упреки в том, что он только напрасно отнимал у них золотое время юности.

Дор шел к Туллии и, собственно, не знал, зачем он идет. В этот вечер он в одинаковой степени готов был и предложить ей стать его женой, и повести себя с ней так, что и его поведение будет означать разрыв. Но во всяком случае он поставит ее в известность насчет всего, что сказал ему старый еврей-мешочник. Тот, кто намеревает-

ся шагнуть к ней через его труп, — и глуп и подл; и едва ли он не хочет зла и ей, ибо порядочный человек смело входит в дом родителей понравившейся девушки. Честный человек не ищет помощи у проститутки и содержателя притона.

И, хромая, Дор продолжал свой путь, почти уже не думая о Туллии, — он даже с какой-то внутренней досадой отстранил от себя мысли о ней. Пожалуй, он упрекал себя, что позволил девушке занять даже маленькое местечко в своем сердце. Нет, он не любил ее. Как и раньше, при прежних увлечениях, недолгое притяжение сменилось бесповоротным отталкиванием…

Мысли хромого книгопродавца опять возвратились к двум встречам этого дня. Первая почти не взволновала его. Разговор с нарядным и, вероятно, в своей стране знатным иудеем ничего не дал его уму: лишь выкристаллизовались, точнее оформились те мысли, что уже давно теснились в голове Дора. Да, римские боги умерли, как умирают люди, и боги других стран спорят между собой из-за обладания городом. Но и у этих богов если и имеются, то лишь самые незначительные преимущества перед родными божествами страны… А жить без богов нельзя. Душа человека гибнет без них, тускнеет, как жемчужина, брошенная в уксус. И что же остается тогда, кроме кратковременных радостей тела, столь же свойственных и животному, да смерти, которая, собственно, и является истинным и единственным властителем мира.

Но вот другая встреча — этот старьевщик с такими удивительными глазами… Чем наполнена душа нищего, что она излучает такое сияние? Наивностью варвара или величайшей мудростью? Как жаль, что он, Дор, не успел поговорить с Тихиком, расспросить его. И это странное движение руки, как бы начертавшей в воздухе крест, орудие мучительной смерти рабов и преступников, эти краткие, но полные скрытого значения слова. И самое главное, что Дор внутренно вдруг как бы подчинился этому старику, и подчинился с готовностью, с которой шел только навстречу велениям покойного отца.

— Удивительно, удивительно! — вслух повторял Дор, сворачивая в населенные беднотой переулки, примыкающие к Тусской улице. Здесь мостовая была буграста, а тротуаров не имелось. Дор ковылял. И по неровному звуку его шагов издали было слышно, что

идет хромой. Но Дор не слышал своих шагов и не ощущал своей больной ноги: его душа была смущена и взволнована уверенностью, что где-то совсем близко около него сегодня простроилась огромная и животворная сила. И веяние ее было как-то связано с появлением бедного старьевщика с Авентина. Но понять этой связи Дор не мог.

Сирус встретил Дора исподлобным взглядом и отвел взор, лишь только книгопродавец взглянул на него. В обращении Пробы чувствовалась неприязнь, впрочем, давняя. Поллион же, как всегда, был приветлив и разговорчив. Конечно, по обыкновению он говорил только о своих врачебных делах.

Поллион словоохотливо сообщил, что некоему Гаю Флору, его пациенту, страдающему падучей, эдилы после долгих хлопот разрешили, наконец, испить крови из ран умирающего гладиатора, что столь полезно при этом недуге.

— Я давно советовал бедняге испробовать это средство, — говорил врач, ковыряя в зубах зубочисткой; он только что поужинал. — Оно самое действительное. Но знаешь, как трудно теперь бедному человеку чего-нибудь добиться. Ланисты просили за это пятьсот сестерций, — ты только подумай!.. Как будто бы кровь умирающего не выпивает бесплатно песок арены.

Поллион захохотал, и смех всколыхнул его раздутый живот.

— Но ведь есть и другое средство против падучей, — заметил Дор. — Я слышал, что жемчуг, разведенный в вине, помогает хорошо…

— Он помогает только богатым! — продолжал шутить хозяин. — Надо пропить целое ожерелье, чтобы получился толк. Моим пациентам я и не заикаюсь о жемчуге, — не у многих из них и на вино-то есть деньги.

И, вспомнив о вине, потянулся к циату с дешевым ватиканским.

— Не хочешь ли? — Дор отказался, и Поллион не настаивал; налив себе вина, уже разбавленного водой, и отпив, он продолжал. — Но если Флору не поможет и горячая человеческая кровь — парень пропал! Пусть обернет голову тогой и бросается в Тибр с любого из мостов. Я сделал все, что мог!

Дор не стал поддерживать разговор. Поллион на профессиональные темы мог говорить бесконечно. Сейчас, конечно, он станет

похваляться своей честностью и бранить других враче, которые, мол, скрывая свое бессилие помочь больному, все же всякими шарлатанскими уловками продолжают тянуть с него деньги… Дор молчал, поглядывая на Туллиолу. Она сидела тут же, справа от отца, занятая шитьем. Легкая, почти прозрачная, голубая косская ткань нежным облаком лежала у нее на коленях. Так как висячая лампа давала недостаточно света, девушка поставила на край стола еще лампочку из своей спальни и прилежно шила, низко склонив темноволосую головку. За все это время Туллия не сказала с гостем и десяти слов, да и на его приветствие ответила холодно, даже как-то высокомерно. Дор заметил, что даже когда, перекусив нитку, девушка поднимала голову, она избегала встречаться с ним глазами.

Скоро Дор поднялся и стал прощаться. Его не удерживали. Туллиола не отложила работу и не встала, чтобы его проводить, как она делала обыкновенно.

— Не выйдешь ли ты со мной на улицу на короткое время? — обратился к ней Дор.

— Ах, право, мне так хочется спать! — девушка даже зевнула и потянулась.

— Я тебя не задержу долго.

Впервые за весь вечер Туллия взглянула в глаза Дору, и взгляд ее был сердит. В самом деле, что ему, наконец, нужно? В то время, когда она была готова стать его женой — он тянул, медлил, говорил о чем угодно, только не о том, что она хотела бы от него услышать, — словно увиливал. А теперь, когда у нее зародились иные планы и появились совершенно другие, лучшие возможности в смысле устройства своего будущего, — он начинает ей просто мешать и надоедать.

Проба сказала:

— Посмотри, Дор, какие красивые сережки у Туллии. Вчера вечером она нашла их на улице, почти у нашей двери… Фортуна покровительствует девочке!

Мать сказала это, чтобы подразнить не слишком заискивающего у ней ухаживателя за ее дочерью, будучи уверена, что и он, как и она, тоже не поверит, что серьги найдены. И, конечно, взволнуется, заподозрив наличие богатого и щедрого поклонника. Докторша не любила Дора, — он ей не нравился, какой-то всегда чужой, пожалуй, гордец, человек со странностями, да вдобавок еще

и колченогий. И хоть бы действительно богатый, а то так только, немного почище, чем они сами.

Но Проба, верившая, что Дор любит Туллию, — как можно не любить такую красавицу? — теперь была не прочь помучить его, уколоть. Тем более что хороший подарок, полученный дочерью, указывал на то, что та наконец взялась за ум и влюбила в себя действительно состоятельного, порядочного человека. Вот и пусть теперь Дор подосадует, проворонив девочку, — все равно был не ко двору!

Но тот, до этого и не заметивший серьги на Туллии, совсем равнодушно похвалил их.

«Экий дурак! — с досадой подумала Проба. — Ничего не понимает!»

Рассердилась и Туллия; даже враждебная Дору, она все же хотела, чтобы тот оказался более догадливым и проявил бы огорчение.

— Ну, идем! — нетерпеливо сказала она. — Надо же тебе помочь сойти, а то своей короткой ногой ты еще загремишь с лестницы.

Она решила быть злой и грубой, — если уж рвать больной зуб, так надо дергать его одним махом, сразу. Дор понял.

— Не будь такой! — почти жалобно попросил он. — То, что я хочу сказать, не вызовет в тебе досады… И может оказаться тебе полезным.

— Опять наставления? Ты бы отпустил себе бороду старика и нанялся в дядьки к подростку.

Они спускались в таберну. Дор придерживался за перила. «Он идет — словно ныряет или…» И Туллиоле вспомнилась собачонка, которую она видела недавно: мальчишки камнем подбили ей переднюю лапу и, визжа, неслись за нею, ковыляющей от них на трех ногах. Тулии стало жалко и противно.

Сируса внизу не было. Он оказался за дверью, — стоя на каменной приступке, разговаривал с каким-то человеком в темной пэнуле, сейчас же удалившимся. Туллиола вздрогнула от свежести ночного ветра, она была только в тунике. «Холодно!» — сказала она и взглянула на небо, сиявшее звездами. Где-то поблизости резко бренчал самбук. Сильный женский голос пел:

Пусть отнимут и руки и ноги,
Изуродуют спину мою,
Сокрушат мои ребра и зубы,
Но сознанье оставят лишь мне, —
Я веселым и сча́стливым буду,
Лишь бы жизнь не отняли мою…[1]

— Это у Каллиста, — сказала Туллиола. — Какие-нибудь солдаты или бродяги, а как веселятся!.. Любят жизнь, умеют жить.

В последних словах был укор и вызов Дору, но Дор промолчал. Они удалялись от двери. Тротуар был узок и неровен. Дор видел, что девушка искоса наблюдает за его хромающей поступью. Проводив гостя до угла дома, она остановилась.

— Дальше я не иду. Ну?

— Видишь ли, какие-то люди хотят меня убить, думая, что я преграждаю дорогу к твоему сердцу тому человеку, что подарил тебе серьги.

— Подарил серьги? — возмутилась Туллия. Из сказанного Дором последние слова в первую очередь достигли ее сознания. — Как ты смеешь говорить это? Ты жалкий лгун! Впрочем, если бы мне их и вправду подарили, тебе-то какое до этого дело? Тебя хотят убить? Тебя?.. За то, что ты преграждаешь дорогу к сердцу девушки? Ты просто трус, испугавшийся собственной тени или напуганный чьей-нибудь шуткой. Ну, подумай, кто поверит, что ты можешь преградить кому-нибудь дорогу к любви, ты, не умеющий любить!

Туллия говорила возмущенно, взволнованно, искренно.

— Но ведь и ты меня не любишь!

— Я?.. Девушка всегда сначала только отвечает на любовь.

— Может быть, ты и права, — голос Дора был тих и глух.

---

[1]Меценат. [Гай Ци́льний Мецена́т (лат. *Gāius Cilnius Maecēnās*, около 70 до н. э. — 8 до н. э.) – древнеримский государственный деятель и покровитель искусств. Личный друг Октавиана Августа и своего рода министр культуры при нём. Имя Мецената как поклонника изящных искусств и покровителя поэтов сделалось нарицательным].

— Без всякого «может быть»… И знаешь что, — ты мне противен, вечно задумчивый, размышляющий, хромой, отвечающий невпопад. Ты словно тот дурень, что ищет то, чего не положил…

— Но почему ты сердишься?

— Он еще спрашивает!.. Потому что я видела, что все эти месяцы ты ждал, что я влюблюсь в тебя, как влюбляются нимфы в вечно юного Аполлона. И ты, жалкий человек, ждал этого как должного, как следующего тебе по праву!.. Колдовство твое, что ли, но я иногда чуть-чуть даже подчинялась тебе. И ты даже искру эту не сумел заметить и раздуть в пламя. Ты даже пустяковым подарком не побаловал меня, скупердяй! Да что уж подарки, ты и сласти-то мне покупал лишь когда я прямо говорила тебе об этом. И ты душу из меня вымотал своими разглагольствованиями и рассуждениями!.. Кончено! Сам ты меня вызвал на этот разговор, сам виноват. Убирайся прочь, хромой писец, и чтобы ноги твоей не было бы в нашем доме!..

Она почти кричала. Дор умоляюще протянул к ней руки. Прохожий, идущий другой стороной улицы, приостановился, слушая. Опомнившись, Туллиола резко оттолкнула руки Дора и побежала домой.

XII

Растерявшийся и обиженный, Дор остался один. Он не успел сказать Туллии главного: опасность, быть может, нависала не только над ним, но и над нею. Если охотятся за ним, ошибочно переоценивая его значение, значит, ведется охота и за нею. Жених открыто входит в дом родителей понравившейся девушки. Рим велик и страшен, богачи безжалостны, они не остановятся ни перед чем… Берегись, Туллия!..

Но девушка убежала, в данную минуту вернуть ее невозможно.

И все же, не в силах двинуться, Дор некоторое время простоял на углу, прежде чем, справившись с волнением, направился домой. В сердце его была обида. Он шел морщась и постанывая, как от зубной боли. И самое горькое в нанесенной ему обиде было то, что в какой-то доле обвинения Туллии были справедливы, в них была частица правды. Да, это так, — Дор не мог отрицать этого. Ес-

ли забыть грубость речей Туллиолы, то легко отыскать в них и зерно истины. Конечно, он, Дор, всегда втайне мечтал о том, что некая прекрасная женщина, почти богиня, полюбит его больше жизни и с радостью отдаст ему всю себя, не требуя взамен ничего. Да, да, что греха таить, это есть в нем, если покопаться в душе! Но сам он никогда и ни одну женщину не любил. И даже боялся полюбить, — а вдруг продешевит себя, полюбив неравноценную ему. Он всегда был похож на того скупца, что, жалея разменять золотой, — умирает от голода. Да, он берег свое сердце, как этот глупец берег золотую монету. И это, конечно, происходило оттого, что бессознательно (совсем ли бессознательно?) он считает себя выше, умнее, благороднее и вообще лучше всех людей, и, следовательно, достойным всяческого поклонения, чуть ли не обожествления. И первоисточник всего этого безумия — не мысль ли, что если нет богов, то и он, Дор, может быть богом.

Да, все это так. И первый человек, заметивший его безумие, — Туллия. Конечно, она и окружающие принимают сумасшествие его за чванство, и оно раздражает их. Что он такое, — красавец? признанный, прославленный мудрец? или даже просто богач, знатный человек? Ничего из этого! Книжный лавочник, да еще калека. Ах, отравили душу книги, чужая мудрость, к которой он неосторожно приблизился; она опалила его.

Любовь! Любовь рождается только любовью, а чем ему родить ее в себе, если он сух для чувства, как пустой колодец в пустыне? Да, девушка угадала в нем то, чего до этого никто не сумел разгадать. Что за зоркость? Уж не любит ли она его в самом деле? Не вернуться ли к ней, как возвращается к любимой, провинившись, любящий: коленопреклоненно. Может быть, он сейчас теряет то, чего никогда больше не найдет к себе в других сердцах…

И Дор в нерешительности остановился.

Сейчас же к нему приблизилась уличная женщина из тех, что называют копеечными — квадрантариями, и предложила ему наслаждение за ларем закрытой молочной лавки. Погруженный в свои мысли, Дор не сразу понял, что ей нужно. Она же, соблазняя, совала ему в руки свои груди и дышала в лицо едкой вонью чеснока. Дор поспешно заковылял дальше, и женщина выругала его вслед хромым дьяволом.

Дор шел, вздыхая. Начались глухие улицы, узкие и извилистые. Пешеходы попадались все реже. К бедным, невзрачным домам ниже спустилось небо и широко сияло звездами. Свернув в переулок, который ему следовало пройти, Дор увидел свет; окруженное бурыми клубами дыма, в ветре металось пламя факела, озаряя несколько человеческих фигур, что-то делавших у двери одной из лачуг. Слышались частые звуки ударов тяжелым по камню.

Дор испугался: «Не грабители ли?» — и остановился. Но, всмотревшись, понял младенческий смысл происходящего: в доме была роженица, и люди отгоняли Сильвана, злого бога лесов, чтобы он не усилил мук деторождения. Стуча топорищем по порогу, любящий супруг отпугивал бога, другой человек непрерывно обметал порог метлой, третий светил.

И снова тоска сдавила сердце Дора. Ведь и он давно бы мог быть супругом и отцом, быть любящим и любимым и жить жизнью, нужной другим людям, удовлетворенной, наполненной. Почему же он всегда задумчив, озабочен, всегда чего-то ищет и не находит? И людям он неприятен, потому что чужд. Ах, как права Туллиола, эта девушка, навсегда потерянная им.

— Пусть Диана, покровительница рожающих и кормилица юности, поможет вашей женщине! — сказал Дор, проходя мимо.

Двое, не прерывая работы, ответили:

— Благодарим тебя, добрый человек.

— Все не может разродиться! — сказал третий, осветив лицо Дора факелом. — А, ты с Аргилета!.. Я покупал у тебя букварь для сына. Иди с миром, купец!

И снова мрак вокруг, и только звезды высоко. Неровно стучат башмаки Дора, каждому издалека понятно: идет хромой. Дор коварыляет, полный отвращения к себе. «Люди добры и ласковы, — думает он, — если подходит к ним с приветом на устах и с добром в сердце. Жизнь проста, и ясны ее законы, но злоба и себялюбие уродуют все вокруг!» И он, Дор, тоже себялюбец. Он не только урод физический, колченогий, но и урод духовный, отщепенец, рукой враждебной силы изъятый из жизни и поставленный за ее высокие стены. Жизнь настоящая — позади; впереди — пустыня. И она, чтобы существовать в ней, требует от человека трудов, силы, мужества, а он слаб и хром, и его никто не любит и не полюбит никогда!

И не потому ли это так, что он изменил богам города, не верит в них, не почитает их и вместе с чужестранцем смеется над ними? И вот на нем, обессиленном, — их мщение.

И Дору захотелось умереть. Желание уничтожения было таким полным, что даже двигаться дальше не стало ни сил, ни желания. И Дор остановился, подняв лицо к звездному небу. Над крышами домов всходила луна. Она была криворожей, ущербной. Впереди — близко — раздали шаги. Подбитые гвоздями, звонко стучали по камням солдатские калиги. «Вигил или дозорный», — равнодушно подумал Дор и двинулся навстречу приближавшемуся. Поравнялись. Короткий клинок пугиона блеснул, как синяя молния. Дор упал, огласив улицу коротким воплем.

XIII

После смерти Дора прошло шесть дней. Тело хромого книгопродавца с соответствующими почестями было сожжено его рабами, по завещанию, оказавшемуся у покойного, получившими свободу и наследовавшими все, чем тот владел при жизни. По Аппиевой дороге, там, где теснятся дешевые памятники на могилах городских ремесленников и мелких торговцев, появился и мавзолей, приютивший урну с окропленным молоком и вином пеплом убиенного. Поставленные рядом с урной маленькие стеклянные слезницы были в день погребения наполнены не слезами наемных плакальщиц, а тех, кто действительно горевал по утрате.

Рабы-писцы остригли волосы и покрыли головы шляпами отпущенников. Много людей в Риме завидовало судьбе рабов Дора и прославляло погибшего за доброту и справедливость. Но, конечно, нашлись и такие, что осуждали его за его завещание. Среди последних были и Проба с мужем. Матрона считала, что одинокий Дор поступил бы благороднее, завещав свое имущество не освобожденным им рабам, а их семье.

— Ведь пил и ел у нас чуть ли не каждый день! — сильно преувеличивая, сетовала она соседкам. — Чего уж говорить, — дневал и ночевал! А сколько Поллион по своей глупой доброте возился с его паршивой ногой и брал только за лекарства… Что уж говорить-то…

Туллиола поплакала несколько. В день погребальной церемонии губы у ней дрожали по-детски, — жалко опускались их уголки.

Она жалела хромого книгопродавца и бранила себя за горячность в роковой вечер. Было в сердце царапающее чувство, что какая-то доля вины в гибели Дора есть и на ней. Не она ли насмеялась над ним, сообщившим ей об угрожающей ему опасности, — можно было ведь заставить его остаться ночевать у них или дать ему в провожатые Сируса. Все-таки Дор всегда был к ней внимательным и добрым, был ласков и вежлив — порядочен, и она могла бы к словам его отнестись иначе. И слезы текли по ее чуть подрумяненным щекам.

Но уже через несколько дней Туллия вспоминала о Доре равнодушно. В жизни девушки назревали большие события. Фортуна, пославшая ей серьги и красивую вазу, обещала теперь большие щедроты: богатство, поклонение, легкую, красивую жизнь. Даже с Сирусом стала Туллия ласкова…

В один из этих дней, перед самым полднем, из тех ворот преторианских казарм, которые вели к управлению городского префекта, вышел Умбрен с узником, прикованным цепью к его левой руке. Солдат был в отличном расположении духа. Его уже не огорчало даже, что за убийство Дора он получил от Каллиста наличными деньгами значительно меньше, чем тот обещал. Конечно, это обстоятельство несколько портило все эти дни солдату, — но теперь досада улеглась. Ведь кабатчик так восторгался смелостью и ловкостью Умбрена в выполнении порученного ему, так превозносил его, что солдат, польщенный и гордый, смягчился и согласился на уплату оставшегося вином и визитами к Неволее. «Теперь уж, — довольно думал Умбрен, — неизвестно даже, кто кому должен и кто кого надул… С нами, солдатами, тоже шутить не следует!» В арифметике, искусстве купцов и лавочников, солдат был слаб.

Но Умбрену продолжало везти. Вот, с сегодняшнего дня начальство поручило ему прибыльное, выгодное дело — окарауливать вот этого большеголового, слабого телом иудея, что, собрав на локте правой руки излишек тонкой, длинной цепи, следовал сейчас за ним. Конечно, быть скованным с каким-то бродягой — скучновато, но зато это всегда увеличивает доходы. Во-первых, узник обязан кормить свою живую тюрьму, и, следовательно, получается экономия на харчах. Квесторские писцы оплатят звонкими сестерциями

несъеденный хлеб и невыпитое вино. Но это еще что!.. Трудно ли солдату заставить человека, скованного с ним, быть щедрым и свыше установленной нормы — раскошеливаться на подарки и угощения. Взять хотя бы этого иудея… Он хоть и бедно одет, но у него в городе есть друзья, и он для них, как уже пронюхал Умбрен, является чем-то вроде наставника или даже начальника. Велико ли дело заставить их всех развязать нагрудные кожаные мешочки и каждому вынуть хотя бы по десяти сестерциев? Стоит Умбрену, например, увеличить шаг, и жалкий старик, не поспевая за ним, побежит, начнет задыхаться, хвататься рукой за грудь, за горло, и тот вон друг его, грек, врач, который уже спешит им навстречу, полезет рукой под тунику, где на груди, в марсупии, звенит серебро. Да мало ли способов сделать жизнь человека, с которым скован цепью, совершенно непереносимой?..

И Умбрен говорит, останавливаясь:

— Вот что, Павел… У солдат, которых сковывают с подследственными, есть такой обычай: выходя из караульни, они идут в харчевню, чтобы там, за стаканом вина, поболтать со своим неразлучным… Надо же, сам понимаешь, познакомиться!..

Говоря так, он лукаво посматривал то на Павла, то на подошедшего к ним Лукана.

— Мой друг, — по-арамейски обратился последний к Павлу, — надо исполнить желание солдата.

— Да, — ответил Павел.

— Пойдем, воин, куда ты хочешь, — ответил Лукан солдату и, чтобы облегчить Павла, принял на свою руку излишек залязгавшей цепи.

Идти пришлось недолго. Умбрен привел своих спутников к харчевне, излюбленной солдатами, — она находилась неподалеку от казарм. В просторной комнате было прохладно и темновато, — дневной свет проникал в нее лишь через дверь и широкое, но низкое окно с мраморным, в винных пятнах, подоконником-прилавком для торговли прямо на улицу. Запахи кухни насыщали воздух. Толсторожий молодой раб с еще не совсем зажившим рубцом клейма на лбу приблизился к вошедшим, вытирая руки о подол грязной туники. Сели за стол, тоже грязный и липкий. Пустая до этого, харчевня быстро наполнялась, — наступал полдень.

Умбрен оживился, — его, частого и нескупого гостя, здесь знали многие, и он многих знал. Отвечая на приветствия и сам приветствуя входящих, он вел себя за столом как хозяин и, заказывая дорогие блюда, еще и еще требуя вина, даже из приличия не осведомился о желаниях тех, с кем он явился сюда и кто должен был за все это платить. Мало того, он подзывал к столу приятелей и угощал их вином.

Скоро Умбрен стал хмелеть. И, как всегда во хмелю, — придирчив. Его уже раздражало, что эти двое даже приличным намеком не возражают против его швыряния их деньгами. И это, как он чувствовал, происходило вовсе не от робости их, — нет, они не только не робели перед ним, но даже просто не обращали на него никакого внимания — вели себя так, что если бы не цепь, соединявшая его с одним из них, можно было бы подумать, что они не имеют никакого к нему отношения и лишь случайно оказались за одним столом. Они и не ели почти ничего, — Павел попросил лишь салату, а вином только подкрасил воду в кубке. Они тихо разговаривали друг с другом на языке, которого Умбрен не понимал.

И солдат начал злиться. Он чувствовал в поведении этих людей недостаточное уважение к своей особе. Уж не презирают ли его эти двое, его, полицейского солдата! Если так, хорошо же… Если так, он покажет им, кто он для них и какова его власть, а кстати уж и друзей потешит. Да, он заставит этого скованного с ним лысого голована пить допьяна, а потом пусть он пляшет, как пляшет медведь на цепи по приказанию вожака…

Но что это на него так пристально смотрит молодой отпущенник, только что вошедший в харчевню и занявший место за столом напротив? Чего он выпялился? Не гордится ли он своими широкими плечами, своей молодой силой? Вообще, все вокруг Умбрену не нравится. Не хватить ли кулаком по столу так, чтобы подпрыгнули оловянные циаты с вином, — пусть знают все, что он за человек!

— Твое имя Умбрен, не так ли? — спрашивает парень.

— Да, это мое имя, — надменно отвечает солдат. — А ты кто такой?

— Меня зовут Тихик. Я отпущенник Дора, убитого шесть дней тому назад.

— Чего тебе надо? — голос еще надменнее, но взор солдата дрогнул и хочет скрыться от голубых, спокойных глаз отпущенника.

— Скажи мне, не напали ли на след убийцы?

— Насколько мне известно, нет, — голос солдата утратил вызывающие ноты, желание шуметь, буянить — исчезло.

Взгляды скрещиваются, и солдат отводит глаза. Он чувствует: разговор неспроста.

— Послушай, — говорит парень и легким движением касается руки Умбрена; тот испуганно отдергивает руку. — Я могу дать руководящую нить для розыска преступника. В ту проклятую ночь три римлянина видели Дора, возвращавшегося домой. Потом они услышали крик, и затем с той стороны, куда Дор прошел и где на рассвете нашли его труп, — быстро прошел человек в пэнуле с наброшенным на голову куколем.

— Ну и что же? — Умбрен нашел в себе силу взглянуть Тихику прямо в глаза. — Мало ли беспутного народа шатается ночью по улицам Рима, пряча лицо от встречных…

— Конечно, — охотно согласился отпущенник. — Но те трое говорят еще, что этот человек был в солдатских калигах. Его башмаки стучали гвоздями по мостовой.

— Не улика! — злобно засмеялся солдат следственной наивности молодого человека. — Подкованные башмаки!.. Солдат, друг, в Риме не одна тысяча. Ищи ветра в поле.

— И опять ты прав! — Тихик впился в глаза Умбрена взглядом холодным и жестким. — Но слушай дальше. А что если один из этих римлян пошел следом за человеком в пэнуле и калигах?

«Не может этого быть! — чуть не вскрикнул солдат. — Никто за мной не шел!» — и бледнеет от страха, что едва не выдал себя. А тот продолжал, не отводя взгляда от глаз Умбрена:

— Да, пошел за ним, крадучись. И он проследил, что убийца Дора добежал до Тусской улицы и скрылся там в заведении непотребных женщин, которое содержит Каллист, отпущенник. Что скажешь ты, друг, если все это именно так?

Умбрен молчит, — ему нечего сказать. В облике этого красивого молодого человека перед ним — смерть. Спасения нет. Умбрен слишком беден, чтобы откупиться; у этого парня нет никаких при-

чин щадить его, убийцу. И совсем не важно, прослежен ли был он, Умбрен, или улики против него собраны другим путем, — результат один: смерть. Конечно, можно отпираться, но это поведет только к пыткам.

И Умбрену вспомнилось, как раз он с товарищем отводил для пыток в Туллианскую тюрьму бродягу, подозреваемого в убийстве. Несчастного спустили на веревках в дыру корнифицины[1]. Вслед, на веревках же, спустили туда палача с помощниками. Ах, какие вопли раздались вскоре из круглой дыры в полу, как свистал бич. Потом пытаемого подняли наверх, и он был весь залит кровью. Кожа, разрубленная свинчатками бича, висела клочьями. Несчастный был без памяти и, пачкая кровью каменный пол, лежал на нем, как труп. Но тюремщик смазал раны бальзамом, и человек застонал, открыл глаза.

Умбрен отрезвел. Низко опустив голову, он сидит, соображая. Что же ему остается? Бегство? Но успеет ли он убежать, и куда бежать ему, обленившемуся полицейскому солдату? Самоубийство? Но он не хочет умирать. И вдруг снова легкое прикосновение пальцев к его руке. И солдат уж не отдергивает руку, потому что в этом касании — самое нужное для его изуродованного страхом сердца: жалость, прощение, следовательно, обещание помощи. Не враг и не доносчик, а — неужели, неужели? — друг и защитник. Не может этого быть. Робко, недоверчиво Умбрен поднимает глаза на Тихика.

— Удлини цепь и отсядь в сторону, — говорит тот. — Я хочу сесть рядом с твоим узником.

Умбрен поспешно исполняет просьбу. Тихик встает, обходит стол и, подойдя к Павлу, говорит:

— Павел, Иродион велел мне быть около тебя.

XIV

Огибая со спутниками Авентинский холм, Павел поднял голову и над бегущими вверх домами увидел тяжелые массивы храмов Дианы, Луны и Юноны Царицы, венчавшие вершину возвышенности. «Капища», — подумал он и отвел взор. На секунду в нем про-

[1] [*Корнифицина* – пыточная].

снулся иудей, ученик фарисеев: «не оскверняй себя созерцанием богопротивного». Но борец за новую отрыгнул иудея, — Павел вновь возвел глаза и глянул на храмы взглядом полководца, изучающего прочность вражеских твердынь. И взор сверкнул силою!

Подходили к великолепному зданию общественных бань. Обгоняя друг друга, к их группе подбежало несколько юных алипил, и каждая кричала, что волосы под мышками она выщипывает совершенно безболезненно. Одна из девушек была красива. Солдат вздохнул: ах, все приятное, для чего, собственно, и стоило жить, — все это, кажется, кончено для него.

Разглядев, что один из мужчин скован с солдатом, щипальщицы стали смеяться: с пары — скидка. Им никто не ответил, и они отошли.

Уже близок был Тибр. Подошли к дровяным и лесным складам, окружившим Эмилиев портик, возвышающийся над ними. Уже невеликий путь остался до лачуги Иродиона, где со стражем своим должен был жить Павел, ожидая суда кесаря. Повернули и вышли на небольшую, неровно замощенную площадь перед портиком и тут увидели возбужденную толпу, тесно окружившую нечто. Женский голос из средины ее выл протяжно, безумно, как над близким сердцу покойником. Гудела и толпа негодующе. Римляне, выбившиеся из ее гущи, отходили, покачивая головами.

— Совсем еще молоденькая, — опережая Павла и его людей, говорила одна женщина другой. — А на шее так и оттиснулись пальцы.

— Красавица! — сказала другая. — Изнасиловали, верно, и задушили.

— Ее в лектике ночью принесли и подкинули. На рассвете еще.

Умбрену хотелось протискаться через толпу и тоже взглянуть на труп. Но сделать это, будучи скованным с другим человеком, да еще стариком, — не представлялось легким. Кроме того, после разговора в харчевне он и не решался тащить за собой Павла: тюремщик превращался в узника.

Навстречу попались двое молодых людей, тоже говоривших об убийстве.

— Нет, Амплий, это дело богачей, а не грабителей! — возбужденно кричал один из них. — Те не таскают в лектиках трупов своих жертв…

Другой равнодушно спросил:

— А кто это там так воет?

— Мать ее. Час тому назад девушку опознали. Она дочь врача черни Поллиона с Тусской улицы.

Услышав это, Умбрен отпрянул, как от острия направленного на него меча. Видят боги, он не виноват в смерти этой девушки, он ничего не знает о ней и даже под пыткой ничего не сможет объяснить. Да, он убил Дора, который за Туллией ухаживал. Он, Умбрен, мужчина и убил мужчину, но никогда бы не поднял руку на девушку, — он не жалкий негодяй, насилующий подростков в темных переулках Рима. Ему, красавцу и силачу, девушки отдаются и добровольно. И все-таки страшно. Эта вторая смерть усилит интерес властей и к первой, и протянутся нити от трупа Туллии к могиле Дора, а оттуда и к нему, живому, любящему жизнь. И мертвецы потянут его за собой в Аид. Гибель гонится за ним по пятам!

И предчувствие Умбрена не было ошибочным.

Трибун Сведий Клемент, невыспавшийся после вчерашней ночной оргии, рано утром вызвал к себе Каллиста и, позевывая, страдая похмельем, попросил его помощи в секретном деле.

— Он ее задушил, — рассказывал трибун. — Да, собственноручно, в припадке страсти. Они удалились в мой кубикул, когда подали сласти. Потом оттуда раздались ее крики. Мы смеялись, наши подружки говорили: «Бессовестные, в первый раз это доставляет только боль и ни капли наслаждения!» Потом крики прекратились. Вскоре кесарь возвратился к нам, он был как безумный. «Кажется, я ее задушил, — сказала он. — Но, клянусь Венерой, ее содрогания доставили мне непередаваемое наслаждение!»

— Стало быть, это только случайность, — успокоительно сказал Каллист. — Божественный не хотел ее гибели. Тем более она ведь добровольно отправилась с ним в кубикул?

— Не совсем! — поморщился трибун: вопрос был неуместен. — В кубикул ее увела одна из танцовщиц, а потом туда отправился кесарь…

— Не вздумала ли она противиться желаниям владыки? — возмущенно поднял руки Каллист. — Тварь! И хотя бы была девственницей…

И черные блестящие глаза его испытующе взглянули на Сведия.

— Чудак! — усмехнулся тот. — Конечно, я сберег ее для Нерона. Раз он удостоил мой пир своим присутствием, должен же я был сделать ему подарок, полакомить его? Я небогат, я не могу угощать его рыбой, стоящей три тысячи сестерциев…

— Конечно, конечно! — сейчас же поддержал Сведия Каллист. — Зачем же быть мотом? Недаром говорится, что горе тому городу, где рыба стоит дороже быка. Но чего ты хочешь от меня, благородный трибун?..

— Видишь ли… Нас вчера было на пиру девять человек. Значит, об этом несчастном случае с Туллией, видят боги, что я не хотел ей ничего, кроме добра, я просто думал вывести в люди эту девчонку… Да, об этом прискорбном происшествии сегодня к вечеру будет говорить уже весь Рим. Так… Мои рабы глубокой ночью вынесли в лектике ее труп и бросили где-то у дровяных складов… Надо будет сплетникам заткнуть рот, необходим человек, который ее изнасиловал и задушил…

— Нелегкое дело! — почесал в затылке Каллист, в уме которого, однако, уже мелькнуло имя Умбрена: убил жениха Туллии, будучи в нее влюблен, потом и ее изнасиловал и убил. Пьяный признался Неволее в первом преступлении. Преступник может умереть в корнифицине, не перенеся пытки. Римская газета все распишет так, как это нужно Нерону.

Все-таки, разводя руками, Каллист притворно взмолился:

— Сведий Клемент, сам подумай, ну как это сделать?..

— Этого хочет божественный, — стукнул трибун кулаком по столику из палисандрового дерева. — Слышишь, сам кесарь! И он наградит…

— Тогда другое дело, сделаю и невозможное. Подумаю и все сообщу тебе в полдень.

И, низко кланяясь, стал пятиться к двери. А Клемент крикнул рабу, чтобы подавал завтрак.

XV

Павел заметил тяжесть тоски и страдания на вдруг осунувшемся лице солдата; и в первый раз за все эти часы он внимательно посмотрел на него.

— О чем ты горюешь, воин? — ласково спросил он. — То был весел, а теперь стал как туча. Ты знал эту девушку?

Задавая этот вопрос, Павел ведал больше, чем мог услышать в ответ. Один молниеподобный взгляд в глаза спутника раскрыл ему всю исковерканную душу идущего рядом человека. Он хотел облегчить ему душевную муку, помогая высказаться.

— Я несчастен! — хрипло ответил солдат.

— Все мы несчастны, потому что грешники перед Богом, — сказал Павел, кладя руку на медное надплечье Умбрена. — Но и никто не свят, как только Бог. Не ты ли убил эту девушку?

— Нет, нет! — отчаянно вскрикнул тот. — Минуту назад я ничего не знал об этой смерти. Но на мне кара и за эту смерть.

Павел остановился. Его взгляд ослепил глаза Умбрена, — солдат потупился. И голос нечеловеческой мощи, — словно само небо сказало, — приказал над его головой:

— Веруй! Веруй в Господа нашего Иисуса Христа и спасешься. Как тот разбойник, что умер рядом с Ним на кресте.

Опубл. и печ.по : Феникс. 1935. № 2. С. 1 – 4; № 3. С. 6 – 10, 12; № 4. С. 5 – 9; № 5. С. 10 – 12, 16, 17, 20; № 6. С. 5 – 10; № 7. С. 8, 10 – 13.

СОДЕРЖАНИЕ

Прозаическая Арсениана: Забытый архив русской жизни 3

Маленькая станция.....12
Таинственная незнакомка.....14
Кондуктор Федчук.....17
Почему этого не случилось.....19
Над Вислой.....23
Агония одного полка.....27
Шпион.....30
Дети.....32
Номер второй.....33
Денщики.....35
Подпоручик Маратов.....37
Будни.....40
Сторожевка.....45
В земле.....49
В резерве.....53
Атака.....58
В офицерской палате.....60
У переправы.....63
Ночью.....67
Вблизи.....70
На переезде.....74
Капитан С.....77
Случай.....80
Без ног.....83
На ночевке.....86
Шпион.....90
Бомбардировка.....93
Сумасшедшая принцесса.....97
В заставе.....104
Орленок.....106
Встреча.....109
Сказка юности.....111
Мертвый городок.....114

Кабан 117
Чудище 121
Ночь в плену 124
Сказка любви 128
Друзья 131
Собака 133
Стрептококк 136
Особый батальон 143
Жестокий день 149
Крыса 155
В прикрытии 160
Игра на мясо 166
Домик над бухтой 171
Безумие 175
Истерика 180
Барышни 184
Под звездами 189
Клеенчатая тетрадь 193
Ледяная гибель 197
Золото 229
Два поцелуя 240
Болезнь Нины Павловны 249
Рукопись прадеда 261
Лет 20 тому назад… 267
Зло… 275
Хромой книгопродавец 284

Содержание 347

В художественном мире харбинских писателей. Арсений Несмелов: Материалы к творческой биографии: В 3-х томах. Т. 1. Проза: В 2-х частях. Ч. 1 / Сост. А.А. Забияко, В.А. Резвый, Г.В. Эфендиева.

Подписано к печати 27.01.15. Дизайн – *В.А. Долгов*.
Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 15. Тираж 500. Заказ 575.
Отпечатано в типографии АмГУ.